ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

V

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА · 1956

СОДЕРЖАНИЕ

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов (Москва). О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии 3
Зд. Штибер (Варшава). Роль отдельных диалектов в формировании польского литературного языка 25

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Фр. Травничек (Брно). Заметки о «категории состояния» 46

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. С. Чикобава (Тбилиси). Несколько соображений о построении курсов по общелингвистическим дисциплинам 54
Итоги обсуждения курса «Современный русский язык» 70

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. П. Дульзон (Томск). К вопросу о связи языка и мышления 79
Н. Г. Корлэтяну (Кишинев). Конверсия в современном молдавском языке 84
В. А. Аврорин (Ленинград). Предикативно-притяжательные формы в нанайском и других тунгусо-маньчжурских языках 93

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Э. В. Севортян (Москва). Н. К. Дмитриев и советская тюркология . . . 101
Ю. Д. Дешериев (Москва). Значение научного наследия П. К. Услара для советского кавказоведения 107

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. С. Маслов (Ленинград). *A. Dostál.* Studie o vidovém systému v staroslověnštině 116
М. А. Бородина (Ленинград). О новом лингвистическом атласе Франции (сравнительно с атласом Жильерона) 124
В. А. Кочергина (Москва). W. *Ruben.* Einführung in die Indienkunde . . 131
А. Н. Кононов (Ленинград). *Э. В. Севортян.* Фонетика турецкого литературного языка 134
В. И. Лыткин (Москва). *E. Itkonen.* Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen 138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. К. Сухов (Москва). Международная работа в области научно-технической терминологии 145
Н. И. Фельдман (Москва). О работе Государственного исследовательского института родного языка в Токио 152

Новая советская литература по вопросам языкознания 156

Редколлегия:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. А. Кондрашов, И. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-05022 Подписано к печати 22 V 1956 г. Тираж 12100 экз. Заказ 238

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 5. Печ. л. 13,7. Уч-изд. л. 17,1

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1956

О. С. АХМАНОВА, В. В. ВИНОГРАДОВ, В. В. ИВАНОВ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ ОПИСАТЕЛЬНОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

1

В решениях XX съезда Коммунистической партии Советского Союза намечены пути дальнейшего развития советской науки. В выступлениях на съезде были раскрыты многие недостатки, характерные для наших общественных наук в целом. Преодоление этих недостатков, успешная и углубленная разработка важнейших проблем отдельных отраслей гуманитарных знаний, в том числе и языкознания, требуют от советских научных работников методологической принципиальности, творческой смелости, глубокой осведомленности в достижениях отечественной и зарубежной науки.

В современном языкознании — при всем разнообразии его течений и направлений, обусловленных различиями в методологии и идеологии,— наблюдаются некоторые общие слабые места и некоторые общие тенденции развития. Из языковых единиц наибольший интерес со стороны исследователей продолжают вызывать фонемы (звуки) и морфемы как основные структурные элементы языка. Они считаются наиболее определенными и ясно очерченными в структуре языков разных семей и разных типов. Их изучение является главной базой применения и развития сравнительно-исторического метода в языкознании. Большинство законов, открытых сравнительно-историческим индоевропейским языкознанием при исследовании развития индоевропейских языков (закон Я. Гримма, закон Вернера, закон Фортунатова — Соссюра, закон Шахматова и др.), относятся к области фонетики. Вопросы структуры древнейших основ-корней, широко и разносторонне изучаемые применительно к индоевропейским, тюркским, картвельским и иным языкам, связаны с исследованием законов развития морфологического строя языков. Даже в том случае, когда в основу структурного анализа системы языка кладутся самые общие лингвистические понятия, например, в американских структуральных концепциях так называемые «непосредственно составляющие» (immediate constituents), все же как основные «отрезки речевого потока» или «единицы языка» рассматриваются фонема и морфема (иногда в составе «синтагмы»).

Слову во многих современных концепциях или вовсе не отводится места, или уделяется очень мало внимания. Согласно распространенной в зарубежном языкознании точке зрения, система языка слагается из ряда «подсистем». Центральными из этих подсистем признаются три: грамматическая, включающая в себя запас морфем и все возможные правила их

сочетаемости в соответствующем языке, фонологическая, состоящая из фонем и возможных форм или приемов их сочетаемости в данном языке, и морфонематическая, соединяющая две первые. Периферическими же подсистемами объявляются: семантическая, которая «ассоциирует различные морфемы и их соединения с определенными предметами или явлениями, или видами предметов и явлений, в мире вокруг нас», и фонетическая, которая представляет собой своеобразный код для преобразования непрерывного потока фонем в звуковые волны[1].

Лингвисты первой половины XX в. стремились к тому, чтобы языкознание, полностью отделившись от филологии, психологии и логики, оформилось в качестве самостоятельной дисциплины. Однако в результате этого вполне правомерного стремления наиболее широкое признание на Западе получили теоретические взгляды тех представителей структуральной лингвистики, которые пришли к отказу от изучения связи языка и мышления и к изоляции языковедческих исследований от анализа законов общественного развития, потребовав рассмотрения языка как «в самом себе покоящегося», «самодостаточного» и безразличного ко всему, кроме соотношений внутри данной «семиологической системы».

Современный западноевропейский структурализм, основываясь на идеях де Соссюра о «различиях без положительных моментов», о «бестелесности обозначающего», существующего лишь как «место в системе», стремится к разработке таких методов и приемов исследования, которые давали бы возможность создания схем, пригодных для описания очень широких классов и разновидностей явлений на основе установления однотипности отношений между ними (так называемого «изоморфизма»). Как известно, до сих пор методы структуралистического описания получали применение лишь в фонетике и отчасти в морфологии (особенно «морфонологии»). Что же касается применения этих методов к лексикологическому исследованию, то дело пока ограничивается изложением предварительных соображений и обсуждением общих принципов[2]: еще ни для одного языка не сделано целостного структуралистического описания лексической системы.

Исключение слова из числа основных единиц языковой системы в некоторых языковедческих концепциях вызвано тем, что в них «план содержания» (семантическая сторона речи) не получает надлежащего объяснения и признания. Кроме того, отдельные направления зарубежного языкознания допускают или утверждают отсутствие принципиальных различий между словом и частью слова, между словом и словосочетанием. Как известно, по мнению так называемых «функционалистов», единицы языка не воплощают, не несут в себе мысли, не могут выражать и передавать ее, а лишь вызывают при помощи соответствующих «языковых сигналов» определенную реакцию в определенной ситуации. В многочисленных работах советских языковедов развивается положение о том, что слова не только выражают и передают значения, но и участвуют в их возникновении и формировании. Советские лингвисты в своих работах обосновывают

---

[1] См., например, Ch. F. Hockett, A manual of phonology, Baltimore, 1955 («International journal of american linguistics», vol. 21, № 4, Oct. 1955), стр. 14.

[2] В исключительно яркой и ясной форме эти принципы изложены в статье Е. Р. Куриловича «Заметки о значении слова» (ВЯ, 1955, № 3); ср. работу С. Карцевского (S. Karcevskÿ, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, «Travaux du cercle linguistique de Prague», 1, 1929). Заслуживают внимания также имеющиеся теперь попытки пересмотра классических «противопоставлений» в духе Трубецкого с позиций современной символической логики (см., например, J. Cantineau, Le classement logique des oppositions, «Word», t. 11, № 1, 1955).

точку зрения, согласно которой языку принадлежит не только звучание, но и значение воспроизводимых в речи единиц[1].

Вот почему в советском языкознании, в отличие от некоторых структуралистских концепций, растворяющих лексикологию в грамматике, а иногда даже противопоставляющих лингвистический анализ семантическому, придается очень большое значение развитию лексикологии как особой, отличной от грамматики, хотя и тесно связанной с ней области лингвистического знания и исследования. Основной задачей лексикологии является планомерное научное описание словарного состава языка и выяснение исторических закономерностей его развития. Выполнение этой задачи связано с большими трудностями. В словарном составе любого языка насчитываются многие тысячи слов и устойчивых словосочетаний, каждое из которых представляет собой смысловую единицу — в той или иной степени индивидуальную и неповторимую и потому заслуживающую отдельного рассмотрения. Эта особенность словарного состава языка и является причиной того, что до сих пор словари продолжают оставаться наиболее ценными и серьезными лексикологическими трудами, основой для планомерного описания и обобщающего исследования лексики языка.

Однако было бы неправильно отсюда сделать вывод, что попыток планомерного научного описания словарного состава языка вообще не делается[2]. Но в большинстве случаев они сводятся к тому, что разнообразные процессы и явления в области лексики известным образом группируются, объясняются или освещаются, и из многотысячного лексического состава языка к ним подбирается большее или меньшее число иллюстраций. Создается известная общая схема, в которой заранее предусматривается, чтобы более или менее существенные и типичные явления не оказались за ее пределами и чтобы отобранным или выбранным категориям (группам) лексических фактов нашлось в ней определенное место.

Важнейшим недостатком такого описания лексики является то, что схема построения, основанная на выделении тех или других лексикологических проблем и на соответствующей классификации и группировке лексико-семантических явлений, обычно почти не отражает специфических особенностей лексической структуры данного языка в целом.

И все же работы такого рода важны и ценны, так как в лексических системах, например, разных европейских языков действительно имеется много общего; даже в самых разнообразных языках наблюдаются однородные лексические явления, более или менее сходным образом связанные между собой и ставящие перед исследователем в общем одни и те же проблемы. Однако это не значит, что можно ограничиться таким анализом характерных для данного языка явлений, при котором эти явления служат только материалом для иллюстрации общих положений. Ведь при таком подходе вместо изучения специфических особенностей данного языка получается описание различных явлений в «лексике вообще», лишь иллюстрированное, смотря по потребностям, материалом английского, русского, французского или какого-либо еще языка. При таком положении дела лексика данного языка как целое, обладающее известными характерными чертами, в сущности еще не делается предметом исследования.

---

[1] См.: В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, №5 (особенно стр. 4); Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953, стр. 19; А. И. Смирницкий, Значение слова, ВЯ, 1955, № 2; Е. М. Галкина-Федорук, Основные вопросы языкознания в трудах В. И. Ленина, «Ин. яз. в шк.», 1951, № 1, стр. 8; и др.

[2] См. G. Matoré, La méthode en lexicologie, Paris, 1953. Ср. также попытку применения статистических принципов к изучению словарного состава языка вообще и лексики писателей, в частности, в книге: P. Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire, Essai de méthodologie, Paris, 1954.

Правда, в лексикологии есть одна область, где лексика данного языка представляется не просто как масса слов, из которых могут быть отобраны нужные примеры, но как некое более или менее связное целое. Это — область этимологии и истории лексики. Здесь действительно учитывается в известной мере соотношение между элементами словаря, различными по происхождению, определяется его историко-этимологический состав в целом, так или иначе принимаются во внимание и самые простые слова, не представляющие ничего достопримечательного, и в результате получается некоторая, хотя и иногда недостаточно внутренне связанная характеристика лексики данного языка в историческом плане. Но эта область лексикологии занимает особое положение, так как она одновременно принадлежит также к общей истории языка; здесь лексический состав обычно не подвергается внутреннему анализу, но лишь рассматривается с точки зрения его происхождения, пополнения и убывания. Между тем в исторической лексикологии словарный состав языка должен подвергаться всестороннему внутреннему анализу на каждом историческом этапе его развития.

Представление о системном характере языка обычно распространяется также и на его словарный состав, хотя — в отличие от грамматики и фонетики, где существует большое количество описаний соответствующего материала разных языков именно в виде систем, с последовательным выявлением тех отношений, в которых находятся друг к другу те или иные фонетические или грамматические явления,— до сих пор не имеется ни одного описания лексического состава даже одного какого-нибудь языка, которое реально показало бы всю совокупность лексических единиц в их конкретных связях и соотношениях друг с другом. Утверждения о системном характере словарного состава часто не сопровождаются конкретными доказательствами.

В отдельных опытах планомерного научного описания словарного состава языка как системы в центре внимания исследователей, естественно, оказывалась семасиологическая (семантическая) его сторона, т. е. описание рядов слов и фразеологических единиц языка как определенной, планомерно организованной системы значащих «вещественных» единиц в их соотношении с обозначаемыми ими предметами действительности и выражаемыми ими понятиями.

Значения слов, определяемые прежде всего действительностью, формируются под влиянием отраженного, зафиксированного и передаваемого в данном языке опыта целого ряда поколений. Этот процесс необходимо внимательно изучать как применительно к истории отдельных языков, так и в общелингвистическом плане. Однако, хотя у нас имеется ряд конкретных исследований по лексике русского и других языков, общеязыковедческое осмысление этих ценных материалов для создания марксистского учения о различиях лексико-семантического строения языков и о закономерностях развития их словарного состава у нас пока отсутствует[1].

---

[1] Следует заметить, что в советском языкознании нет работ, в которых была бы дана с позиций марксизма-ленинизма критика идеалистических теорий Вейсгербера и других современных неогумбольдтианцев. Наши языковеды плохо осведомлены также о работе, проведенной в США в связи с так называемой «теорией Уорфа», частично примыкавшего к идеалистическому пониманию причин, обусловливающих различие человеческих языков. Материалы по этим проблемам, в обсуждении которых участвовали и этнографы, опубликованы в следующих сборниках: «Results of the Conference of Anthropologists and Linguists» («Indiana University Publicatione in Anthropology and Linguistics», Mem. 8, 1953); «Language in Culture» («Proceedings of a Conference on the Interrelations of Language and other Aspects of Culture», ed. H. Hoijer) comp. «Studies of Cultures and Civilisations» № 3, Menasha, Wisc.; «The American Anthropological Association», vol. 56, № 6, part 2, Mem. № 79, Dec. 1954; и др.

Совершенно недостаточной следует признать также разработку вопросов методики лексикологического исследования. Как известно, вопрос о методах лексикологического исследования представляет собой самое темное место в вообще довольно еще туманной области специальных методов языковедческого исследования. Правда, в советском языкознании достигнуты некоторые успехи в разработке вопроса о типах лексического значения, который важен также для изучения сложных (фразеологических) эквивалентов слова или «фразеологических единиц». При всей своей важности, однако, исследование вопроса о типах значений слов не снимает более широких и сложных проблем метода исследования словарного состава языка в целом, изучения семантического строения словарного состава языка как системы.

Из методов, предложенных для решения этой широкой задачи, наибольшей известностью пользуется метод «семантического поля», связанный с именем И. Трира. В своих работах 30-х годов[1] Трир для изучения семантической структуры словарного состава языка ввел понятия сосуществующих «концептуального и лексического полей». «Концептуальное поле» делится на части и покрывается «мозаикой из слов» (Wortdecke) «лексического поля». Слово в системе языка имеет значение не само по себе, а лишь по противопоставлению прилегающим к нему словам в данном «лексическом поле». «Семантическое поле» — это компактный, внутренне спаянный отрезок словаря, это уникальная монолитная структура. При помощи своей системы семантических полей каждый язык по-своему «строит действительность», реализуя в них специфическую для него «картину мира». Эта «картина мира» неодинакова как для разных языков, так и для одного и того же языка в разные периоды его развития.

Для того чтобы определить специфическое для данного языка распределение, связь и взаимообусловленность значений, исследователь должен разбить всю лексику языка на части («поля»), которые должны в идеале соответствовать системе лексико-семантических соотношений, действительно существующей в языке. Однако анализ текстов, который проводится в работах Трира и его учеников, не всегда дает достаточные основания для выделения «полей», независимо от того, берется ли «поле» более абстрактного содержания — такое, как «поле знания», или же более конкретного, как, например, «поле лесного хозяйства».

Отсутствие строгих критериев объединения в одном «поле» тех или других слов является, повидимому, причиной того, что методика «семантического поля» более чем за двадцать лет своего существования не дала таких существенных результатов, которые представляли бы интерес для общего языкознания[2].

Хотя во всех этих исследованиях критика объективно идеалистических неогумбольдтианских построений ведется с позиций позитивизма и бихейвиоризма, они в большинстве носят конкретный характер и подкреплены фактическим материалом. Эти фактические данные могут принести пользу при разборе вопроса в свете диалектического материализма.

[1] См. J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg, 1931; его же, Sprachliche Felder, «Zeitschrift für die Bedeutungslehre», 8, 1932, стр. 417—427; его же, Das Sprachliche Feld, «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung», его же, «Deutsche Bedeutungsforschung», «Germanische Philologie», Heidelberg, 1934 и др.

[2] Как правильно замечает Бетц (W. Betz, Zur Überprüfung des Feldbegriffes, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung», Bd. 71, Heft 3—4, Göttingen, 1954), исследование «словарных полей» (Wortfeldforschung) находится сейчас в том состоянии, в каком находилось исследование диалектов до составления атласов: описано несколько отдельных «произвольно выбранных» полей, но основная масса слов остается неизученной, почему нельзя объединить более мелкие поля в более широкие и проверить в целом соответствие «словарного» поля «концептуальному» путем «наложения» их друг на друга.

Помимо сомнительных теоретико-философских предпосылок, обосновывающих теорию и практику значительной части работ по изучению «семантических полей» (главным образом, в немецком языке), неясны связанные с этой теорией принципы исследования исторических закономерностей развития лексического строя конкретного языка. Если то или иное «семантическое поле» образует семантическую систему внутри словарного состава языка, то словарный состав в целом должен представлять собой своеобразную «систему систем», находящихся одна с другой в сложных соотношениях и взаимодействиях[1]. Как найти и осмыслить исторические закономерности изменений этой общей системы и как могут они зависеть в разные периоды развития языка от изменений структуры отдельных семантических полей,— на эти вопросы ни работы И. Трира (даже самые последние) и его предшественников (например, Г. Инсена), ни работы его последователей и продолжателей не отвечают. Историческая лексикология с этой точки зрения сводится к сравнению ряда синхронно представляемых семантических полей, характерных для разных периодов развития языка.

В области сравнительно-исторического языкознания понятие «семантического поля» использовалось немногими учеными и не оказалось достаточно продуктивным (см., однако, последние этимологические работы Трира[2], а также ряд исследований В. Порцига). Дальнейшее развитие идей Трира пошло главным образом по линии разработки синхронических методов исследования семасиологических «систем».

Нельзя не заметить в этой связи, что советские языковеды еще не дали всесторонней, охватывающей все этапы развития учения о «семантическом поле» критики идеалистических философских основ общелингвистических взглядов Трира; отсутствует и конкретный разбор работ его последователей. В имеющихся у нас теперь довольно многочисленных работах, посвященных исследованию отдельных групп слов, не дается, как правило, достаточно четкого разъяснения отличия применяемой методики описания семантических рядов слов от методики «семантического поля».

Понятие «поля» у В. Порцига[3] принципиально отличается от того же понятия в ранних работах Трира тем, что, в отличие от последнего, Порциг обратил внимание на семантическое соотношение между глаголами и именами прилагательными и существительными. Такие факты, как то, что, например, *идти* предполагает *ноги*, *хватать* — *руки*, а *белокурый* — *волосы*, составляют основу для построения «элементарных семантических полей»[4]. Ядром «элементарного семантического поля» могут быть только глагол или прилагательное, потому что эти слова теснее связаны с «предикативной функцией» и семантически определеннее, чем имена. Следовательно, если Трир видит основную цель в выделении «разделяющих» (aufteilend) полей, то Порциг ставит перед собой задачу — определить, каким образом отдельные элементы «включаются в поле» (einbegreifende

[1] Ср. замечание Трира о том, что в речи реализуется не система целого языка, а система отдельных словесных и синтаксических полей (J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, прим. 1 на стр. 4).

[2] J. Trier, Holz, Etimologien aus dem Niederwald, Münster, 1952 и др. Следует отметить, что в последнее время появляются новые работы, где предложенные Триром технические приемы анализа текстов определенного периода применяются для решения некоторых спорных проблем исторической лексикологии и этимологии. См., например: H. Schwarz, Ahd. *liod* und sein sprachliches Feld, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. 75, Heft 3, 1953.

[3] См. W. Porzig, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. 58, 1934.

[4] После известной дискуссии Трир примкнул к этой точке зрения (ср. ссылки на теорию Порцига в более поздних работах Трира, например J. Trier, First, Göttingen, 1940, стр. 101).

Felder). Поскольку он исходит из слов, и прежде всего из глаголов,— в центре внимания оказываются такие факты, как, например, то, что немецкое *reiten* «ехать верхом» предполагает существование в немецком языке таких слов, как *Pferd* «лошадь» и т. п., а *fahren* «ехать на корабле, в поезде» и т. п., таких слов, как *Schiff* «корабль», *Zug* «поезд» и т. п. Кроме того, например, *reiten* предполагает («включает») и словообразовательные ряды, такие, как *Reiter*, *Reiterin*, *Bereiter*, *abreiten* и т. п. Тем самым Порциг направляет исследование на языковые факты как исходный пункт обобщений и преодолевает абстрактно-концептуальный подход, характерный для ранних работ Трира. Метод Порцига, однако, не получил у нас распространения, хотя и заслуживал бы большего внимания, чем метод «разделяющих полей» Трира.

Впрочем следует напомнить, что семасиологические труды А. А. Потебни, посвященные исследованию смысловых и словообразовательных групп или систем слов и закономерностей их развития, а также возникшие на базе сравнительно-исторического языкознания семасиологические разыскания акад. М. М. Покровского еще задолго до Трира и Порцига выдвинули принципы закономерности семасиологических изменений и подчеркнули необходимость изучения лексических групп или систем в их связях и соотношениях.

2

С лексикологией тесно связана наука о значении слова, или семасиология. Семасиология может быть определена как «наука о значении слова» только при известном ограничении. Вообще же семасиология может пониматься гораздо шире: не только как наука о языковом значении вообще (т. е. как наука, изучающая не одни лексические, но и грамматические значения), но и как наука, изучающая «семантические» свойства всяких знаковых систем (правда, для этой последней области знания после опубликования «Курса общей лингвистики» де Соссюра можно считать принятым название «семиология» как наука «о знаках и знаковых системах»)[1].

Основная задача семасиологии (как науки о лексическом значении слова) — выяснение отношения между «понятием» и «значением слова». Является ли значение слова не более как понятием, воплощенным, выраженным в данном звучании, или же оно имеет свои особые качества и признаки? Положительный ответ на первый из поставленных вопросов представляется правильным некоторым логикам и философам[2].

Попытка подойти к решению вопроса о значении слов, отправляясь от понятий, является вполне правомерной. Но для того чтобы понятия могли существовать и развиваться, они должны иметь опору в языке, должны быть неразрывно связаны с их конкретными внешними проявлениями в виде единиц языка. Кроме того, понятия существуют не изолированно, а входят в систему понятий (а те языковые единицы, с которыми они неразрывно связаны, входят в систему языковых единиц). Таким образом,

---

[1] Различные содержания, вкладываемые в понятие «науки о значении», и соответствующие терминологические различия изложены у А. Рида (A. W. Read, An account of the word semantics, «Word», vol. 4, № 2, 1948, там же обширная библиография); в популярной форме — у С. Ульмана (S. Ullmann, Words and their use, New York, 1951, стр. 8).

[2] См., например, П. С. Попов, Понятие слова в свете марксистского учения о непосредственной связи языка и мышления. «Вестник МГУ», 1954, № 4; ср. С. А. Фессалоницкий, Обзор литературы по вопросам связи языка и мышления, ВЯ, 1953, № 3 и др. Из новых работ, заостряющих внимание на проблеме «понятия» и «значения слова», следует обратить внимание на статью Л. С. Ковтун, «О значении слова», ВЯ, 1955, № 5.

понятия приобретают трехстороннюю обусловленность: 1) они основываются на познании действительности, представляя общее, извлеченное из бесконечного многообразия объективной действительности; 2) поскольку они не существуют и не могут существовать без опоры на конкретные частные явления определенной языковой формы, они связаны с системой звуковых и прочих различий, имеющейся в данном языке, и 3) они модифицируются не только данной системой языковых различий, но также и тем, что входят в систему понятий. Дальнейшее познание действительности, направленное на более адекватное ее отражение, меняет как отдельные понятия, так и их общую систему.

Поэтому простое отождествление значения слова с выражаемым им понятием не может быть принято как полное и достаточное объяснение природы словесного значения. Следовательно, не менее обоснованными являются и попытки подойти к вопросу с собственно лингвистической стороны, поставив в центр внимания особенности и своеобразие тех я з ы к о в ы х средств и различий, с которыми в разных языках связываются те или другие понятия. Этому основному вопросу семасиологии в советском языкознании уделяется большое внимание, причем на разнообразном материале показывается, что между словами и понятиями нет однозначного соответствия, что «внешние» и «внутренние» языковые различия дают в каждом языке сложные и своеобразные переплетения, обусловливая различия их смысловых структур[1]. Каждый язык представляет собой как своеобразную и самобытную систему внешних различий, так и индивидуальную и неповторимую систему значений. Поэтому отдельные значения, находящиеся в системе каждого данного языка, оказываются непосредственно несоизмеримыми со значениями, входящими в систему другого языка или языков. Например, то смысловое содержание, которое несет в себе русский глагол *ходить*, не может быть передано каким-либо одним английским глаголом: приблизительно та же «семантическая область» покрывается в этом языке тремя глаголами — *walk, go, come.* Во французском языке имеется два слова — *rivière* «река» и *fleuve* «река, впадающая в море» вместо одного английского *river* или русского *река* со значением «всякая река» (в том числе и «впадающая в море»). Но если по-английски и по-русски антонимами *deep* и *глубокий* будут, соответственно, *shallow* и *мелкий*, то французский язык не может противопоставить никакого «готового» слова слову *profond* «глубокий». По-русски так же, как по-английски, по-французски и по-немецки, процесс игры, например в шахматы и в жмурки, обозначается одним и тем же словом: *играть, play, jouer, spielen.* По-шведски же «играть в шахматы» будет *spela*, а «играть в прятки» и т. п. (т. е. «резвиться») — *leka.*

Число примеров подобного рода можно было бы увеличить до бесконечности. Их собрано огромное количество в языковедческой литературе. Поэтому можно считать не требующим доказательства то, что одной из основных задач лексикологии является изучение семантического с т р о е н и я словарного состава отдельных языков: лингвистические значения следует изучать, исходя из данных конкретных особенностей их языкового выражения. При этом необходимо подчеркнуть, что значение слова связано с р е а л ь н ы м его звучанием, которое является п е р в и ч н ы м и о с н о в н ы м. Представление же этого звучания, т. е. его психическое отображение следует рассматривать как вторичное и производное.

---

[1] См.: В. В. В и н о г р а д о в, Основные типы лексических значений слова (особенно стр. 4—7); В. А. З в е г и н ц е в, О принципах семасиологических исследований. Автореф. докт. дисс., МГУ, 1954 (особенно раздел 3, стр. 6—7); Л. А. Б у л а х о в с к и й, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953 (особенно стр. 20—21) и др. работы.

Выполнение основной задачи лексикологии — изучение семантического строения словарного состава отдельных языков — требует разрешения ряда вопросов как общетеоретического, так и конкретно-методического характера. Основных общетеоретических вопросов, повидимому, два (причем оба они тесно связаны между собой): 1) к а к различия семантических структур языков связаны с мышлением и 2) ч е м обусловлено различие семантических структур языков.

Следует признать, что изучение этих вопросов все еще находится в неудовлетворительном состоянии. До сих пор у нас вопрос о языке и мышлении лишь затрагивается в общефилософских рассуждениях, которые, в основном, сводятся к приведению цитат. Реальных попыток творческой р а з р а б о т к и этой проблемы в свете марксизма-ленинизма фактически не предпринимается. Не организовано планомерное сотрудничество с логиками и психологами для совместного изучения и решения этого вопроса, не готовятся специалисты по общему языкознанию, достаточно эрудированные в смежных с языкознанием дисциплинах. После того, как современное языкознание вполне отчетливо оформилось в качестве самостоятельной и независимой от смежных наук дисциплины, необходимо вновь обратиться к изучению психологической и логической сторон языкового общения на основе сотрудничества трех равноправных дисциплин[1].

3

Между состоянием лексикологических исследований и теорией и практикой лексикографии есть прямая, непосредственная связь. Разграничение основных типов лексических значений, выяснение форм или видов сочетания и объединения значений в смысловой структуре одного слова, различия в смысловом объеме и в структурно-семантических свойствах между словами, принадлежащими к разным частям речи, понимание границ и соотношений между сложным словом и словосочетанием, между активными способами фразовой реализации значений слова или правилами смысловой сочетаемости одного слова с другими словами и структурными качествами застывших фразеологических единиц или фразеологических оборотов, образовавшихся на базе того же слова, целесообразные приемы размещения и объяснения фразового материала, способы выделения и семантической характеристики фразеологических выражений, разнообразие внутренних связей между грамматическими формами слов и их лексическим наполнением, специфика лексико-фразеологической системы языков, критерии стилистической дифференциации и классификации слов и многие другие задачи и вопросы изучения словаря важны не только для лексикологии, но и для лексикографии. Недостаток обобщающих работ по теории лексикологии и лексикографии мешает усовершенствованию национальных толковых словарей.

Вот несколько иллюстраций из академического «Словаря современного русского литературного языка» (т. III, Г—Е, 1954).

Слово *дети* здесь приводится в формах множественного числа, *дитя* рассматривается как особое слово (ст. 748—750). Никаких указаний на отношение слова *дети* к словам *дитя* и *ребенок* — нет. Однако у читателя не может не возникнуть вопросов: в каком отношении находятся слова *дети* и *ребенок* в таких фразах: *У соседки было четверо детей — один дру-*

[1] Как известно, некоторым достижением в этой области явилась организация журналом «Acta psychologica» дискуссии по вопросу о языке и мышлении (материалам обсуждения был посвящен весь 10-й том: № 1—2, 1954). Однако, как отметил в итоговой статье Г. Ревеш, результаты дискуссии не оправдали ожидания вследствие слишком большого разнообразия точек зрения и подходов к вопросу.

гого меньше и *У соседки был один ребенок — еще грудного возраста*. Ср. у Гоголя в «Вие»: «А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужеского или женского пола». Какая связь между словами *дитя* и *дети* в таких стихах Пушкинского «Евгения Онегина»:

Дитя сама, в кругу детей
Играть и прыгать не хотела.

Недоумение наше еще больше возрастает, когда в словаре под словами *дети* и *дитя* обнаруживаются одни и те же выражения: *дети своего века — дитя своего века*, *дети своей страны — дитя своей страны* и т. п.

Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил.
(П. А. Вяземский, Сфинкс, не разгаданный до гроба)

или: «Что же касается до великих людей,— они по преимуществу дети своей страны. Великий человек всегда национален как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ» (В. Г. Белинский, Взгляд на русскую литературу, 1846 г.).

Положение становится все более запутанным и странным, когда применение выражения *дитя природы* иллюстрируется в академическом словаре формами слова *дети*: «Д и т я природы — о человеке, близком к природе, непосредственном (иногда в *шутл.* и *ирон.* употреблении). „Кажется, если б этим *детям природы* (жителям островов Ликейских) предоставлено было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца“» (Гончаров, Фрегат Паллада; ст. 750).

Характерно, что за словом *дитя* в академическом словаре следует просторечно-областное *дитё*. Естественно возникает вопрос о том, является ли в плоскости литературной лексики *дитё* особым словом или же представляет собою лишь стилистический вариант слова *дитя* (ср. определение: «то же, что дитя»). Показателен пример, иллюстрирующий употребление *дитё* из рассказа М. Горького «Супруги Орловы»: «Вот ежели бы *дитё* у нас родилось — было бы лучше нам,— вздыхая, заявляла она...».

Сложный круг относящихся сюда лексикографических вопросов, не разрешенных, а просто обойденных составителями академического словаря, вращается вокруг важнейших проблем структуры слова — проблемы слова как системы парадигматических форм и проблемы морфологических и стилистических вариантов слова. Эти проблемы, уже давно разрабатываемые в нашем отечественном языкознании (ср. мысли и наблюдения акад. Л. В. Щербы, проф. А. И. Смирницкого и др.), еще не получили общепризнанного решения и совершенно недостаточно изучались на материале разных языков и притом в историческом аспекте.

Так же непоследовательно, противоречиво и неопределенно объясняется *дети — дитя* в «Толковом словаре русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова (т. I, М., 1935). Здесь в статье о слове *дети* (ст. 699) после перечня форм множественного числа заявляется, что форм единственного числа у этого слова нет. Далее указывается два значения этого слова: 1) малолетние (*спектакль для детей*) и 2) сыновья, дети (*к старику собрались все его дети*). И вот после определения первого значения: «малолетние» в скобках сказано: «употр. в знач. *мн. ч. от* ребенок и *от* дитя». Если не относить этого указания к слову «малолетние» (что было бы в высшей степени странно), то получится, что форма слова *дети* употребляется в значении множественного числа от слов *ребенок* и *дитя*. Предлог *от* как бы подчеркивает, что это — функционально сближенные системы

форм разных слов. Поэтому о слове *дитя* в словаре Д. Н. Ушакова помещена отдельная статья (ст. 718), но в ней уже сообщается нечто неожиданное, а именно, что для всех значений этого слова в значении множественного числа употребляются формы: *дети*, *детей* и т. п. При этом первые два значения у слова *дитя* совпадают с указанными ранее значениями слова *дети*: 1) маленький ребенок и 2) сын или дочь. Правда, остается неясным, почему словом *дитя* можно называть лишь маленького ребенка и как в таком случае обозначать или именовать ребенка покрупнее и вообще не очень маленького и даже совсем не маленького.

Между тем в слове *дитя* еще выделяется третье значение, которое не указано в слове *дети*, хотя и содержится в нем: «Человек, усвоивший влияния и отразивший в своем характере основные черты какой-н. среды. *Дитя века. Дитя свободы. Дитя улицы*». С некоторыми оговорками то же можно повторить и относительно «поэтического» употребления слова *дитя* в функции «ласкового обращения» («Не плачь, дитя, не плачь напрасно». Лермонтов).

Таким образом, и в словаре Д. Н. Ушакова нет ясности и точности в изображении взаимоотношений *дети* — *дитя*. Любопытно, что здесь при характеристике разных значений слов не применяются стилистические пометы («книжн. устар., поэт.»— относится лишь к форме *о дитяти*).

Недоразумения и недоумения, связанные с естественным желанием понять границы и взаимоотношения слов *дитя* — *дети* (как форм одного и того же слова и как разных слов), усиливаются, если обратиться к слову *ребенок*. В словаре Д. Н. Ушакова в статье об этом слове (ст. 1305) отмечается, что «*в знач. мн.* употребляются *ребята*, *-ят* и *дети*, *-ей*». Так как формы множественного числа — *ребята*, *ребят* и т. п., несомненно, являются формами того же слова *ребенок*, то, следовательно, и формы множественного числа *дети* также как бы включились в систему форм слова *ребенок*. Это мнение находит себе подтверждение в указаниях «Толкового словаря» на дифференциацию форм множественного числа слова *ребенок* в зависимости от различия значений: «1. (*мн.* ребята и дети). Мальчик или девочка в раннем детском возрасте... 2. (*мн.* дети). Сын или дочь... 3. (*мн.* дети) *перен.* Тот, кто поступает по-детски, наивно, не рассуждая».

Показательно, что фамильярно-разговорное *ребята* в значениях «молодые люди, парни» и «товарищи по учебе, работе» и т. п. рассматривается как особое слово (ст. 1305—1306).

С. И. Ожегов в составленном им однотомном «Словаре русского языка» (М., 1952) в истолковании и разграничении слов *дети*, *дитя* и *ребенок* целиком следует за словарем Д. Н. Ушакова. Присоединяется лишь одно новое противоречие: в статье о слове *дитя* (стр. 142) отмечаются *дети* как форма множественного числа того же слова. Значения указаны те же, что в словаре Д. Н. Ушакова, только «маленький ребёнок» как значение слова *дитя* признается устарелым. Между тем в статье о слове *дети* (стр. 138) формы единственного числа не включаются в описание системы его грамматических форм. Лишь после определения первого значения — «малолетние» в скобках (так же, как и в словаре Д. Н. Ушакова) заявляется: «употр. в знач. мн. к *ребенок* и *дитя*». Второе же значение: «сыновья, дочери» никак не связывается с формами единственного числа.

Но ср., например, у Н. С. Лескова в повести «Очарованный странник»: „А она (барыня) ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет: «это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!“»[1].

[1] Традиция раздельного определения слов *дитя* и *дети* и, следовательно, признания их разными словами идет от словарей Академии Российской. Любопытно, что в «Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Имп. Академии наук (т. I, СПб., 1895, стр. 1037 и 1234), значения слов *дитя* и *дети* оказываются соотно-

Неисследованность лексикологических проблем, относящихся к области взаимоотношений и взаимодействий лексических значений и грамматических категорий, например в русском языке, сказывается и в прямых ошибках русских толковых словарей. Так, в академическом «Словаре современного русского литературного языка» слово *должен*, обособленное от слова *должный*, характеризуется как «краткая форма от слова *должный*»; при этом добавляется, что данное слово «употребляется как член составного сказуемого в сочетании с вспомогательным глаголом... или без него» (ст. 941). Однако второе значение этого слова определяется в чисто глагольном плане через посредство инфинитива: «иметь на себе долг, денежное обязательство». Следовательно, определяется не *должен*, а *быть должным* (ср. указание тех же значений в слове *должный*).

Слово *ерошка,-и* в академическом «Словаре современного русского литературного языка» грамматически характеризуется как слово мужского рода (ст. 1270). Однако представляется непонятным, как слово на *-а*, относимое к грамматическому классу существительных мужского рода, может выражать такое собирательно-предметное значение: «Всклоченные, растрепанные волосы; волосы, торчащие кверху, ежом». Сюда же отнесена форма *ерошкой* в значении наречия: «Стричь, подстригать ерошкой». Совершенно не мотивирован переход от этого предметного значения к значению лица: «Человек, имеющий всклоченные волосы; космач». Остается неясным также отношение этого *ерошки* к собственному имени *Ероха* от *Ерофей*. С грамматической точки зрения кажется совсем непонятной связь с этим *Ерошкой* третьего значения, о котором читаем: «З. Е р о ш к и, ш е к, *мн.* В просторечии и *устар.* Карточная игра, в которой проигравшему ерошат волосы, приговаривая: „ерошки", „ерошки". „Играем в карты мы, в ерошки, в фараон, По грошу в долг и без отдачи" (Державин, Евгению, Жизнь Званская)»[1].

Разнообразие и сложность отношений между грамматическими формами слов и приемами семантической дифференциации лексических единиц ярко обнаруживаются в соотношении *глазо́к* (уменьш. от *глаз*), *гла́зки*, («Ну, что за шейка, что за гла́зки». Крылов, Ворона и лисица) и *глазо́к*, *глазки́* (ср. у Л. Толстого в «Воскресении»: «В коридор [тюремный] с обеих сторон выходили двери, запертые замками. В дверях были дырочки, так называемые глазки, в полвершка в диаметре»). В современных толковых словарях русского языка (Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, в академическом) все эти формы с их разнообразными значениями рассматриваются как соотносительные или параллельные формы одного и того же слова. Внутренний смысл дифференциации по ударению форм множественного числа не раскрывается. Между тем именно в формах множественного числа, наиболее типичных и употребительных в прямом, ласкательно-уменьшительном значении, намечается явная линия семантического раздела между двумя словами, так как в *глазок — глазки́* все менее и менее выступает экспрессивное отношение к слову *глаз — глаза́* (в отличие от *глазо́к — гла́зки*). Ср., например: «Он ударил в кольцо ворот [монастыря]. В глазок его осмотрели» (С. Бородин, Дмитрий Донской).

сительными и параллельными. К слову *дитя* отнесены даже *дети боярские* как исторический термин. Вместе с тем под словом *дитя* приводятся как формы множественного числа — *дети, детей* и т. п., при слове *дети* форм единственного числа не указывается.

[1] Источником всех этих ошибок современного академического словаря является «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Имп. Академии наук» (т. II, СПб., 1907, стр. 135—136). Здесь также слово *ерошка* по преобладающему большинству значений относится к мужскому роду. Из фразы *стричь ерошку* ошибочно выделяется значение — «длинные волосы». Но *ерошки* как название простонародной карточной игры считается за отдельное слово.

Таким образом, соотношения между лексическими образованиями от слова с непроизводной основой определяются их местом в соответствующем словопроизводном гнезде, характером их отношения к основному, стержневому слову этого гнезда, отдалением или отпадением от него.

Недостаточно углубленно и всесторонне исследован также вопрос об отношении слов к словосочетаниям (вернее: к сочетаниям слов) и фразеологическим единицам. Неясность границ между семантически связанным сочетанием слов и фразеологическим единством в собственном смысле особенно наглядно обнаруживается при разнесении фразеологических выражений по разным значениям их основного, стержневого слова. Например, в академическом «Словаре современного русского литературного языка» в слове *голый* (ст. 245) при значении «бедный растительностью или лишенный растительности (волос, шерсти, перьев, листьев и т. п.)» отмечаются выражения: *голая зима* (в смысле — бесснежная), *голый пол* (у Л. Толстого в романе «Война и мир»: «Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, вывернувшись из-под одеяла, зябла на голом полу»), *голый стол, голые стены* (у Лермонтова в «Узнике»: «Одинок я — нет отрады; Стены голые кругом, Тускло светит луч лампады Умирающим огнем»).

Непонятно, какая растительность отсутствует или предполагается на полу, на столе, на стенах и т. п. и почему все эти выражения не относятся к первому значению слова *голый*: «не покрытый одеждой, обнаженный, нагой».

В статье о слове *дурной* (ст. 1168) выражения: *дурная слава, репутация, дурное мнение* и т. п., *выставлять кого или что в дурном свете* (изображать с плохой стороны, давать кому-чему-либо плохую оценку) отнесены к третьему значению этого слова: «безрадостный, гнетущий; неблагоприятный». Но с неменьшими основаниями они могли бы быть помещены и под другим значением слова *дурной*, определяемым так: «вызывающий неодобрение, предосудительный» (ср. также истолкование первого значения: «нехороший, скверный»).

Невнимание к значениям фразеологических выражений ярко дает себя знать и в неразличении исторически и социально различных осмыслений фразы *дурное общество*. В том же «Словаре современного русского литературного языка» читаем: «Дурное общество — о среде опустившихся, безнравственных людей». В качестве иллюстрации этого значения приводятся два таких разнотипных примера: «Дурным обществом [Пеночкин] решительно брезгует — скомпрометироваться боится» (Тургенев, Бурмистр); [Сосипатра:] «Он [Окоемов] не кончил нигде курса и рано попал в дурное общество» (А. Островский, Красавец мужчина) (ст. 1169).

Количество иллюстраций можно значительно увеличить. И без того ясно, что развитие лексикографической теории и практики тесно связано с развитием общелексикологических и историко-лексикологических исследований, основанных на словарном материале разных языков. Но у общей теории лексикографии есть и свои специфические задачи, например: разграничение типов словарей, выяснение их структурных различий, изучение принципов отбора и размещения слов, фразеологических единиц и омонимов в разных типах словарей, раскрытие принципов определения и толкования значений слов, а также перевода или нахождения эквивалентов в двуязычных дифференциальных словарях, способы дифференциации синонимов, вопросы стилистической квалификации слов и т. п.

Хотя Советский Союз и превосходит во много раз другие страны по количеству, а иногда и по качеству издаваемых словарей (см., например, толковые словари русского, литовского, грузинского, армянского и других языков, десятки разного типа двуязычных русско-инонациональ-

ных и инонационально-русских, особенно словарей малоизученных языков), теоретическая лексикография и теоретическая обработка обширных словарных материалов сильно отстает. В отличие от ряда зарубежных стран у нас до сих пор нет ни одной значительной монографии по общей теории лексикографии. Показательно, что у нас почти совсем захирела практика составления этимологических словарей и не ведется широких подготовительных работ к созданию исторических словарей отдельных языков.

4

За последние годы у нас и за рубежом опубликован ряд работ, посвященных изучению вопроса об основном словарном фонде (т. е. о древнейшей и наиболее устойчивой части словарного состава, об его структурном ядре) разных языков и о закономерностях его развития в истории этих языков (например, восточнославянских, особенно русского, романских, дагестанских, некоторых тюркских — киргизского, казахского и др.)[1]. Однако вследствие недостатка конкретно-исторических исследований о лексическом строе отдельных языков обсуждение этого вопроса нередко сопровождалось априорными, иногда схоластическими, не вытекающими из исторического анализа словарного состава того или иного языка рассуждениями о структуре, границах и признаках основного словарного фонда. Так как самое понятие основного словарного фонда в своей конкретно-исторической сущности еще не раскрыто на основе углубленных исследований закономерностей развития словарного состава отдельных языков, то некоторые наши языковеды-лексикологи воздерживаются от применения термина «основной словарный фонд». Поэтому необходимы дальнейшие конкретно-исторические и теоретические исследования по данному вопросу. Следует в этой связи отметить, что в исследованиях по сравнительно-историческому языкознанию давно уже обращалось внимание на ту часть словаря, которая сохраняется на протяжении длительного времени и поэтому оказывается общей для родственных языков.

Плодотворному изучению словарного состава отдельных языков мешало также преклонение перед догмами и формулами, отсутствие творческого подхода, поисков новых и самостоятельных решений.

Необходимо указать на то, что исторических лексикологий отдельных языков у нас нет, и материалы для их построения еще далеко не собраны[2]. Методика же историко-лексикологических исследований, к сожалению, еще очень мало привлекает к себе внимание советских языковедов. Из многочисленных причин, препятствующих углубленному изучению истории лексического строя отдельных языков (например, восточнославянских), следует назвать четыре основных: 1) общая неустойчивость и неразработанность принципов построения сравнительно-исторической лексикологии, 2) отсутствие или недостаточность углубленных исследований по истории лексических систем отдельных языков, 3) малочисленность диалектологических словарей и, наконец, 4) ослабление темпов изданий

[1] Ср. работы об основном словарном фонде в лексике румынского языка проф. А. Граура (A. Graur, Studii de lingvistica generala, [Bucureşti], 1955) и болгарского языка — проф. Ив. Лекова (И. Леков, Единство и национално своеобразие на славянските езици в техния основен речников фонд, София, и Издание на Българската Академия на науките, 1955).

[2] Следует, однако, отметить, что в настоящее время тюркологическим сектором Института языкознания АН СССР предпринято историческое изучение лексики тюркских языков, связанной главным образом с терминами родства, с глаголами движения и речи.

важных памятников письменности. Отсутствие, например, в Белоруссии изданий многих памятников западнорусской письменности (рукописи которых находятся в книгохранилищах иных республик), а также разнообразных белорусских текстов XVII—XIX вв. сильно тормозит работу в области белорусской исторической лексикологии. Мало изучаются эти памятники и в работах по истории лексики русского языка. А между тем сравнительно-историческое изучение словарного состава памятников трех восточнославянских народностей и затем — наций могло бы оказать существеннейшую помощь в решении ряда основных вопросов исторической лексикологии восточнославянских языков, в том числе и некоторых вопросов периодизации старославянских, а затем церковнославянских лексических наслоений в русском языке. На этом фоне становится понятным, почему вопросы построения исторических словарей отдельных языков у нас еще не получили достаточно глубоких и самостоятельных решений.

Следует признать, что сравнительно-историческое изучение лексики индоевропейских языков и языков других семей в советском языкознании не развернулось еще с необходимой широтой [1]. Советские ученые должны преодолеть также значительное отставание в деле создания этимологических словарей. В то время как в ряде зарубежных стран ведется интенсивная работа по составлению и изданию этимологических словарей русского, польского, чешского и других славянских языков, литовского языка, индоевропейской семьи языков в целом (труды М. Фасмера, Ф. Славского, Э. Френкели, Ю. Покорного и других лингвистов), советские языковеды еще не приступили вплотную к практическому выполнению этой насущной задачи.

Изучение на основе теоретических положений советского языкознания конкретного материала языков различных семей должно способствовать разработке принципов сравнительно-исторической лексикологии. Особенно остро ощущается необходимость в определении точных методов сравнительно-исторической семасиологии. Следует устранить известную произвольность, часто наблюдающуюся как при допущении родства слов с различными значениями [2], так и при реконструкции древнейших значений слов и корней. Этимологические сопоставления могут считаться убедительными только в тех случаях, когда не только устанавливается древнее значение слова, но и определяется характер семантических изменений, обусловивших расхождение между родственными лексическими

---

[1] Число трудов по сравнительно-исторической лексикологии, опубликованных советскими лингвистами за последние годы, очень невелико. Из работ, посвященных индоевропейским языкам, помимо немногочисленных заметок об истории и этимологии отдельных слов, можно назвать только монографию проф. А. А. Белецкого «Принципы этимологических исследований. (На материале греческого языка)» (Киев, 1950) и статью проф. Р. А. Будагова «Основной словарный фонд романских языков и задачи его изучения» (ВЯ, 1953, № 2). Высокую научную ценность имеют этимологические комментарии акад. В. Ф. Шишмарева в недавно изданном «Словаре старофранцузского языка» (М.—Л., 1955). В курсе покойного проф. А. И. Смирницкого «Древнеанглийский язык» (М., 1955) напечатана часть его работы о древнегерманской лексике, в которой дан опыт структурного описания словаря родственных языков. Ждет опубликования подготовленный к печати В. И. Абаевым историко-этимологический словарь осетинского языка, обобщающий результаты многолетних исследований автора. Для сравнительно-исторической лексикологии тюркских языков большое значение имеет словарь, приложенный членом-корреспондентом АН СССР С. Е. Маловым к его изданию «Памятников древнетюркской письменности». (М.—Л., 1951). Для финно-угроведения значительный интерес представляют исследования В. И. Лыткина по истории словарного состава пермских языков. Продолжались за последние годы и этимологические разыскания советских кавказоведов в области лексики кавказских языков.

[2] См. об этом А. И. Смирницкий, Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства, М., 1955 (особенно стр. 34—35).

единицами разных языков. Между тем эта сторона большинства этимологических исследований все еще остается наименее аргументированной.

Недостаточное внимание к семантике сравниваемых единиц особенно сказывается в работах тех ученых, которые без убедительных оснований выделяют в реконструированных корнях многочисленные префиксы, инфиксы и суффиксы [1]. Как многократно отмечалось в научной литературе, характерное для таких исследований сведение сравниваемых единиц к одной или двум фонемам в большинстве случаев лишает предлагаемую этимологию доказательной силы [2]. Поэтому серьезного внимания заслуживают работы С. Э. Манна и его школы (в частности, исследования Фаукса по кельтским языкам), которые основываются на принципе полного соответствия целых слов.

Исследования по сравнительно-исторической лексикологии, в которых изучается история слов в дописьменный период, должны опираться на данные исторической лексикологии каждого из родственных языков.

Подъем научной работы в области сравнительно-исторической лексикологии невозможен без активизации изучения истории лексики отдельных языков на основе тщательного филологического анализа древних письменных памятников и без широкого исследования современных диалектов. О плодотворности объединения результатов, полученных исторической и сравнительно-исторической лексикологией, свидетельствуют как удачные опыты сочетания в одном лексикографическом труде исторического и этимологического словаря (например, словарь латинского языка А. Эрну и А. Мейе), так и ряд новейших лексикологических исследований зарубежных ученых. Осуществляющийся в настоящее время в сравнительно-историческом языкознании пересмотр младограмматических концепций в значительной мере связан со стремлением как можно полнее использовать изучение систем отдельных языков для реконструкции древнейшей языковой системы дописьменного периода (ср. широкое использование этого метода при анализе фонетических и морфологических явлений в трудах проф. Е. Р. Куриловича). С этим следует сопоставить то, что в появившихся за последнее время лексикологических монографиях Э. Лароша, П. Тиме [3] и некоторых других языковедов сравнительно-историческое исследование лексики опирается на детальное изучение древнейших текстов греческого, индо-иранских и иных индоевропейских языков в связи с историей культуры их носителей [4].

Конкретный анализ данных, извлекаемых из древних письменных памятников, позволяет связать сравнительно-историческое исследование лексических явлений с изучением фактов истории духовной и материальной культуры и общественной жизни носителей языка. Поэтому такой анализ

---

[1] В этом отношении показательны работы Ван Лангенхове (Van Langenhove, Essais de linguistique indo-européenne, «Linguistische Studien», II, Antwerpen, 1939) и Б. Шварца (B. Schwartz, The Root and its modification in primitive Indo-European, «Language Dissertations», № 10, 1947).

[2] Ср.: А. И. Смирницкий, Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства, стр. 54—55; его же, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, ВЯ, 1952, № 4, стр. 17—18; А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 36—37 и стр. 39.

[3] E. Laroche, Histoire de la racine *rem*-en grec ancien, Paris, 1949; P. Thieme, Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte, Berlin, 1952.

[4] Показательно, что М. Майрхофер, известный своими оригинальными этимологическими работами, считает глубокий анализ текстов, тщательное изучение реалий и сочетание сравнительно-исторического метода с исследованием данных отдельных языков необходимыми условиями для дальнейших успешных работ в этой области (см. M. Mayrhofer, Indogermanische Wortforschung seit Kriegsende, «Studien zur indogermanischen Grundsprache», Wien, 1952, стр. 55).

имеет особое значение для советских языковедов. Исследование, основанное на тщательной филологической интерпретации памятников родственных языков, помогает дать реальную картину истории слова в дописьменный период и преодолеть абстрактность и схематизм, характерные для многих этимологических построений прошлого. Анализ употребления слова в контексте во многих случаях создает прочную основу для семантических реконструкций, как показал на ряде примеров Э. Бенвенист[1], давший в конкретных исследованиях последнего времени (например, в монографии об индоевропейских именах деятеля и именах действия, в статье о названиях животных в индоевропейских языках и в других работах) интересные образцы сочетания филологической интерпретации текстов и применения методов современной компаративистики. Исследование употребления слова в каждом из сравниваемых языков на древнейшем этапе их письменной истории часто позволяет определить первоначальное конкретное значение слова и некоторые особенности его употребления в дописьменный период[2]. При изучении родственных языков, входивших в одну древнюю диалектную группу (например, греческого и древнеиндийского), иногда оказывается возможным не только отметить параллелизм в употреблении тождественных по происхождению лексических единиц, но и установить сходство фразеологических сочетаний родственных слов (ср. греч. κλέος ἄφθιτον и др.-инд. *śravaḥ... akṣitam*, греч. ἱερὸν μένος и ведийск. *iṣireṇa... mánasā* и т. п.).

Для успешного исследования подобных фактов необходимы лексикографические труды, дающие возможно более полную картину лексики и фразеологии отдельных сравниваемых языков. Одним из классических образцов таких трудов является изданный нашей Академией наук санскритский словарь, первый том которого вышел 100 лет назад (в 1855 г.)[3]. Советские лингвисты должны продолжить традицию создания фундаментальных словарей отдельных древних языков. Большая ответственность лежит на составителях и редакторах издающегося в настоящее время многотомного словаря литовского языка. Этот словарь может стать чрезвычайно полезным пособием для всех специалистов не только по балтийским и славянским, но и по другим индоевропейским языкам. Но для этого необходимо привлечение всего лексического материала древнелитовских текстов без каких-либо ограничений. Особое значение имеет работа над словарями, в которых систематизируются данные расшифрованных в XX в. древних письменных памятников. В минувшем году учеными стран народной демократии было опубликовано два очень ценных труда в этой области: словарь крито-микенских надписей болгарского академика В. И. Георгиева и фундаментальный словарь «тохарского А» языка, который составил чехословацкий ученый П. Поуха.

В сравнительно-исторических исследованиях по лексикологии надо преодолеть существенный недостаток многих работ младограмматической школы, заключающийся в изолированном рассмотрении истории отдельных слов вне их соотношений с другими словами. Изучение целых лексико-се-

---

[1] См. E. Benveniste, Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», vol. X, № 2—3 («Linguistics Today»), 1954.

[2] В качестве примера такого исследования можно указать на работу В. Порцига о названии «почвы» в индоевропейских языках (W. Porzig, Boden, «Wörter und Sachen», Bd. XV, Heidelberg, 1933).

[3] Следует указать, что столетие со дня выхода в свет первого тома этого словаря отмечалось в 1955 г. востоковедами различных стран мира. См., например, M. B. Emeneau, India and Linguistics, «Journal of the American Oriental Society», vol. 75, № 3, September, 1955, стр. 153.

мантических групп слов в родственных языках необходимо для всестороннего освещения развития каждого слова данной группы [1].

Изучение лексики близко родственных языков с точки зрения связей между словами в системе языка особенно существенно потому, что здесь можно проследить возникновение различных лексических систем в результате развития одинакового исходного материала. Однако, хотя по отношению к славянским языкам эта проблема давно уже сформулирована (правда, в очень общем виде) [2], для ее практической разработки сделано еще очень мало.

Еще в трудах акад. М. М. Покровского изучение лексико-семантических групп слов связывалось с проблемами словообразования. Исследование лексической системы языка в ее взаимодействии с грамматикой открывает широкие перспективы для сравнительно-исторической лексикологии. По этому пути шел В. Порциг, изучая греческие и индоевропейские отвлеченные имена в связи с анализом словообразования и некоторых грамматических (преимущественно синтаксических) явлений [3], и Ф. Шпехт, сочетавший изучение индоевропейского словообразования с исследованием лексико-семантических групп слов [4].

Плодотворность такого подхода к сравнительно-исторической лексикологии обнаруживается при постановке вопросов, связанных с внутренней реконструкцией. Внутренняя реконструкция исчезнувшего слова в некоторых случаях оказывается возможной благодаря изучению словообразовательного ряда, где это слово было центром или соединительным звеном [5]. Вместе с тем выделение различных хронологических слоев словообразовательных морфем и морфологизованных чередований позволяет установить относительную хронологию появления слова (по сравнению с другими словами). Датировка слова на основании соотношения пережиточных и продуктивных явлений в системе одного языка имеет особое значение потому, что некоторые очень древние по происхождению слова могли исчезнуть в большинстве родственных языков и сохраниться только в данном языке. Определение архаичности таких слов возможно только благодаря анализу системы одного языка, так как сравнение с языками, утратившими это слово, в данном случае не дает никаких результатов. Следовательно, отнесение подобных слов к лексике, унаследованной от дописьменной эпохи, осуществляется посредством метода внутренней реконструкции. Необходимо подчеркнуть, что использование этого метода может быть особенно ценным, когда исследуется история лексики бесписьменного или младописьменного языка, генетические связи которого не

---

[1] В советском языкознании уже имеются работы, учитывающие этот принцип (например, труд члена-корр. АН СССР Л. А. Булаховского «Общеславянские названия птиц» (ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 2). Особый интерес представляет исследование групп терминов, образующих лексические системы, развитие которых непосредственно обусловлено историей общества. См., например, работу А. В. Исаченко «Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания» («Slavia», ročnik XXII, seš. 4, Praha, 1953).

[2] См. Thèses, 8—«Problèmes de méthode de la lexicographie slave», «Travaux du Cercle Linguistique de Prague, Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des philologues slaves», Prague, 1929, стр. 26—27.

[3] См. W. Porzig, Die Namen für Satzinhalte im Griechischen und im Indogermanischen, Berlin — Leipzig, 1942.

[4] См. F. Specht, Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, Neudruck, Göttingen, 1947 стр. 1—113.

[5] См. W. Porzig, Die Namen für Satzinhalte im Griechischen und im Indogermanischen, стр. 4. Таким именно способом Шпехт (F. Specht, указ. соч., стр. 22) восстанавливает фракийское *nebelā «небо» на основании сравнения с σεμέλη «земля» (ср. греч. νεφέλη, родственное русск. *небо*, лат. *nebula* и т. п.); см. положительную оценку этой реконструкции в последней книге В. Порцига (W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, стр. 190 и 199).

являются прочно установленными. История словаря такого языка может быть изучена только благодаря анализу соотношений архаичных и живых явлений внутри системы данного языка. Поэтому чрезвычайно желательно ознакомление специалистов по языкам народов СССР с достижениями современной индоевропеистики, широко использующей метод внутренней реконструкции.

Вопросы хронологии занимают очень большое место в современных исследованиях по сравнительно-исторической лексикологии. По словам Э. Лароша, «занятия этимологией в наши дни заменяются разысканиями в области хронологии»[1]. Внимание лингвистов, в частности, привлекает проблема выделения на основании фонетических и морфологических критериев в лексике общеиндоевропейского языка наслоений разных эпох. Эта проблема тесно связана как с лингвистической периодизацией истории общеиндоевропейского языка, так и с вопросом о развитии общества, говорившего на этом языке[2]. Конкретные лексикологические исследования в этой области могут содействовать более успешному сотрудничеству лингвистов с археологами и историками.

Исследования последних трех десятилетий показали, что общеиндоевропейский язык обладал длительной историей. Поэтому совершенно недостаточны те ссылки на индоевропейские корни, которыми обычно ограничиваются этимологические словари. Необходимо наметить основные вехи в развитии того или иного слова или группы слов в общеиндоевропейском языке. Только тогда абстрактные этимологические построения уступят место реальной (хотя и по необходимости гипотетической) истории слов в древнейший период, доступный современным исследователям. Для выполнения такой сложной задачи требуется привлечение всех новейших открытий в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания (ларингальной гипотезы, теории структуры морфологических частей индоевропейского слова и т. п.). С этой точки зрения нуждаются в пересмотре не только старые этимологические словари, но и издающийся в настоящее время этимологический словарь индоевропейских языков Ю. Покорного.

Определение хронологии слов тесно связано с изучением диалектной лексики, так как необходимо отделить древнейший словарь, общий для всех языков данной семьи, от лексических единиц, характерных лишь для отдельных диалектов. Следует отметить, что далеко не во всех работах современных зарубежных лингвистов достаточно строго проводится разграничение этих категорий слов. Так, в указанном выше исследовании П. Тиме общеиндоевропейскими признаются слова, отраженные лишь в греческом и индо-иранских языках. Между тем такие слова с гораздо большим вероятием можно было бы считать характерными только для лексики греческо-индо-иранской диалектной группы[3].

Наличие очевидной зависимости между степенью лексической близости родственных языков и большей или меньшей удаленностью эпохи их разделения явилось основой для разработки метода «лексико-статистической датировки», предложенного М. Сводешом. Работы Сводеша и его школы интересны как попытка установления времени распада первоначально единого языка, а также тем, что в них проводится последовательное разграничение «повседневных» (every-day, noncultural) и «специальных» (cultural или specialized) слов. За пять лет, прошедших со времени опубли-

[1] E. Laroche, указ. соч., стр. 1.

[2] Этим проблемам посвящена интересная, но весьма спорная статья Х. Куна (H. Kuhn, Ablaut, *a* und Altertumskunde, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», Bd. 71, Heft 3/4, 1954).

[3] Ср. по этому поводу замечание М. Майрхофера (M. Mayrhofer, указ. соч., стр. 54 и прим. 35).

кования первой статьи Сводеша[1], им и его учениками проделана большая работа и собран разнообразный материал как по индейским языкам Северной и Центральной Америки и полинезийским, так и по некоторым другим языкам[2].

Особое значение имеют работы, в которых для сравнительно-исторического исследования лексики родственных языков используются методы географии слов. Изучению диалектной лексики уделяется исключительное внимание в новейших трудах по лингвистической географии романских языков[3] и индоевропейской семьи языков[4]. Здесь перед исследователями возникает много сложных проблем, которые ждут своего решения. В работах по сравнительно-исторической лексикологии желательно сочетание методов лингвистической географии с современной методикой изучения относительной хронологии развития родственных языков. Теоретический интерес представляет и решение отдельных лексикологических вопросов, вызванных тем, что в близко родственных языках обнаруживаются слова, имеющие общие черты, но не сводимые к одному архетипу (ср., например, индо-иранские и индоевропейские названия «языка»[5], индоевропейские названия «слезы» и т. д.). Исследование таких аномальных явлений связано с изучением особенностей фонетического и морфологического развития общеиндоевропейского языка и его диалектов. При изучении лексики индоевропейских языков с точки зрения географии слов обнаруживается необходимость проведения исследований, посвященных проблеме различных наименований одного и того же предмета, имеющихся в родственных языках[6]. Работы, посвященные этой проблеме, могут представить значительный интерес и для археологов, этнографов и историков культуры.

Для дальнейшего исследования географии слов было бы очень полезно издание соответствующих лингвистических атласов. До настоящего времени остается актуальной идея создания лексического атласа славянских языков на этимологических принципах, выдвинутая еще в период подготовки первого съезда славистов[7].

Необходимо подчеркнуть, что многие зарубежные лингвисты в своих работах по сравнительно-исторической лексикологии не пользуются теми

---

[1] M. Swadesh, Diffusional Comulation and Archaic Residue as Historical Explanations (Univ. of New Mexico Press, 1951).

[2] Например: M. Swadesh, Unaalig and Proto-Eskimo, V—Comparative Vocabulary (IJAL, vol. 18, № 4, Oct. 1952); его же, Archeological and Linguistic Chronology of Indo-European groups («American Anthropologist, vol. 55, № 3, Aug. 1953); его же, Mosan, 1—A Problem of Remote Common Origin (IJAL, vol. 19, № 1, 1953); его же, Chemakum Lexicon Compared with Quileute (IJAL, vol. 21, № 1, Jan. 1955). См. особенно лексико-статистический выпуск «International Journal of American Linguistics» (vol. 21, № 2, апрель 1955), специально посвященный этому вопросу и содержащий интересные и разнообразные материалы, а также важную в теоретическом отношении статью Сводеша.

[3] См. G. Rohlfs, Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen. Versuch einer romanischen Wortgeographie, München, 1954.

[4] См. W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets.

[5] См. E. Benveniste, Notes avestiques, «Asiatica», Leipzig, 1954, стр. 30. Ср. также V. Pisani, Griech. γλῶσσα, «Indogermanische Forschungen», Bd. LXI, Heft 2—3, August, 1954.

[6] Ср. замечания В. Порцига о трудностях, с которыми он столкнулся при своих исследованиях из-за отсутствия в сравнительно-историческом индоевропейском языкознании «учения о наименованиях» (W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, стр. 10). Ср. также C. Schick, La geographia linguistica, «Paideia,» Anno IX, № 4—5, 1954, стр. 261.

[7] См. Thèses. 7—«Problèmes slaves relatifs à un atlas linguistique, surtout lexical», «Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1—Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des philologues slaves», Prague, 1929, стр. 25—26.

новыми методами, которые помогают преодолеть недостатки традиционных этимологических исследований. В ряде этимологических словарей до сих пор еще наблюдается стремление ограничиться возведением слова к первоначальному «корню» вне определенной исторической перспективы и без характеристики истории данного слова в дописьменный период[1]. Некоторые новейшие исследования зарубежных ученых (отчасти названные выше) представляют значительный интерес как первые опыты критического пересмотра методики сравнительно-исторических лексикологических исследований[2]. Но и эти работы при всей ценности содержащихся в них фактических материалов и отдельных тонких наблюдений в ряде случаев не дают всестороннего исторического анализа лексики родственных языков. Очень отчетливо это обнаруживается при изучении связи истории словаря с развитием общества, говорящего на данном языке. Именно в этой области советским лингвистам предстоит особенно напряженная работа. В индоевропейском языкознании здесь потребуется новое освещение с позиций марксистской науки как впервые открываемых данных, так и тех многочисленных фактов, которые уже собраны в трудах об «индоевропейских древностях» О. Шрадера, ученых, примыкавших к антифашистской венской школе (А. Неринга, В. Бранденштейна), и других лингвистов. По отношению же к большинству языков других семей предстоит еще и большая работа по собиранию лексических материалов, позволяющих изучить некоторые особенности общественной жизни носителей древних диалектов данной семьи языков.

Для выполнения обрисованных выше задач в области сравнительно-исторической лексикологии необходимо осуществить целый ряд практических мероприятий. Прежде всего встает вопрос о подготовке специалистов, способных вести самостоятельную работу по сравнительно-исторической лексикологии и участвовать в составлении этимологических словарей. До сих пор такие специалисты систематически не готовились. Для решительного изменения этого положения нужно ввести на филологических факультетах университетов специализацию студентов по сравнительно-историческому языкознанию с обязательными занятиями интерпретацией древних памятников родственных языков. Следует напомнить, что такое отделение (со специализацией по сравнительной грамматике индоевропейских языков) существовало в Московском университете в 10-х годах XX в.[3]. Отделение, дающее широкую подготовку в области кавказских языков, уже много лет имеется в Тбилисском университете. Быстрое развитие за рубежом алтайского сравнительного языкознания[4] заставляет поставить вопрос о подготовке у нас специалистов широкого профиля и в этой области. Аналогичные мероприятия могут быть предложены и применительно к подготовке специалистов по финно-угро-самодийским, тибето-китайским и другим языкам.

---

[1] Ср. критические замечания об этимологических словарях индоевропейских языков в последних обзорных работах Дж. Лэйна (G. S. Lane, On the present state of Indo-European linguistics, «Language», vol. 25, 1949, № 4), В. Пизани (в книге V. Pisani, Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft. Indogermanistik J. Pokorny, Keltologie, Bern, 1953), М. Майрхофера (M. Mayrhofer, указ. соч.). Ср. также высказывания по этому вопросу Э. Лароша (E. Laroche, указ. соч.)

[2] Следует отметить (помимо уже названных работ) следующие статьи, в которых дается критика традиционной этимологии: Y. Malkiel, The Place of etymology, in linguistic research, «Bull. of Hisp. Studies», vol. XXXI, № 2, 1954) и его же, Hypothetical Bases in Romance Etymology («Word», vol. VI, № 1, 1950.

[3] Одним из его воспитанников был проф. Н. С. Трубецкой.

[4] Первым опытом алтайского этимологического словаря является книга Г. Рамстедта (G. Ramstedt, Studies in Korean Etymology, I — II, Helsinki, 1949—1953).

Необходимо использовать весь опыт работы над этимологическими словарями, накопленный в прошлом нашими учеными. Желательно скорейшее издание таких неопубликованных работ, как славянский этимологический словарь проф. Г. А. Ильинского, обширные материалы к этимологическому словарю литовского языка К. Буги.

Для успешного возобновления этимологических исследований потребуется усвоить все достижения современной зарубежной науки. Нужно наладить регулярную публикацию подготовительных материалов к этимологическим словарям, этимологических заметок, исследований по исторической и сравнительно-исторической лексикологии. Только после осуществления этих подготовительных работ могут быть созданы этимологические словари языков народов СССР, которые будут не компиляциями, а серьезными самостоятельными трудами, соответствующими современному уровню развития сравнительно - исторического языкознания.

Оживление исследований по лексикологии (и лексикографии), все еще остающейся наименее разработанной областью языкознания, является одной из насущных задач советских лингвистов.

Усилиями советских языковедов должно быть обеспечено коренное улучшение работы по собиранию и описанию лексического материала в толковых, исторических и этимологических словарях. Конкретные исследования, посвященные лексике того или иного языка в ее современном состоянии и историческом развитии, а также сравнительно-историческому выяснению общих и дифференциальных тенденций лексического развития групп и семей языков, должны послужить базой для разработки теоретических вопросов лексикологии в тесной связи с лексикографической практикой.

Материалы и решения XX съезда КПСС указывают на существенные недостатки в идеологической работе, оказывавшие влияние на развитие научной теории в разных областях знания. Культ личности способствовал распространению догматизма и начетничества, тормозил развитие научной мысли. Кроме того, советские языковеды, так же как и представители других научных специальностей, недостаточно широко пользовались достижениями зарубежной науки и иногда оказывались неподготовленными к борьбе против буржуазной идеологии в своей области знания. Теперь главной задачей является действенное преодоление указанных недостатков и всемерное творческое развитие марксистской языковедческой науки.

ЗД. ШТИБЕР

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛЬСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1

Польская народность начала формироваться рано, в начале пястовской феодальной монархии. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что уже в это время не были употребительны племенные названия, а термин «Poloni» употреблялся для обозначения как малополян, так и великополян. Сознание известной обособленности дольше всего продолжало жить в Мазовшье, Поморье и в Силезии, но это, возможно, было не столько результатом продолжения древних племенных традиций, сколько отражением разделения Польши в XII в. на феодальные княжества. После этого разделения Поморье вновь воссоединилось с остальной Польшей только во второй половине XV в., Мазовшье — в XVI в., а Силезия только в XX в.

Проследить процесс образования польской народности на основе древних племен очень трудно, так как наши сведения об этих племенах весьма ограничены. Наиболее полные данные, относящиеся к Силезии, находим у так называемого Географа Баварского (IX в.), который выделяет на территории Силезии племена дзядошан, сленжан, ополян и голеншицев; на основе его данных перечисленные племена довольно легко локализовать на указанной территории. В документе императора Генриха IV (1086 г.) отражающем, несомненно, отношения племен в X в. в Силезии, кроме сленжан и дзядошицев (дзядошан), перечисляются также требоване и бобряне; на основании этого документа нетрудно представить себе размещение этих племен в Нижней Силезии. В Хронике Титмара говорится о сленжанах и дзядошицах. Достоверными являются также упоминания о вислянах (живших в бассейне верхней Вислы) — не только приводимые у Географа Баварского, но и в Житии Мефодия и у Альфреда Великого — и о мазовшанах, известных хотя бы из Хроники Галла, из летописи Нестора и т. д. Упоминаемых у Географа Iendizi до недавнего времени нередко отождествляли с первобытными полянами (в Великопольше), однако в последнее время все больше и больше распространяется точка зрения Г. Ловмянского[1], который отождествляет этих Iendizi с Iendzaninoi Константина Багрянородного, жившими в самой западной пограничной области Руси, и помещает это племя где-то около Сандомира.

Русская «Повесть временных лет» XII в. уже ничего не знает о вислянах и делит ляхов (распространение первоначального племенного названия лендзян на всех «лехитов») на полян, поморян, мазовшан и лютичей (эти последние никогда не входили в состав польской народности). Таким образом, наиболее точные сведения о расселении древних польских племен

[1] См. H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa, 1953, стр. 169, 341.

имеются только относительно Силезии. Название поляне вначале, несомненно, относилось к жителям позднейшей Великопольши, однако здесь мы имеем дело со столь обширной территорией и с таким большим количеством населения, что нельзя его сопоставлять с такими племенами, как сленжане или ополяне в Силезии. Несомненно, что поляне — это не одно какое-нибудь племя, а союз племен. Интересно отметить, что этого названия нет у Географа Баварского.

Границы племен, вероятно, не были постоянными, так как племена воевали между собой и отнимали друг у друга те или иные территории. Так, например, в чешской хронике Космы говорится, что в X в. князь лучан Властислав захватил у чехов часть их владений, построил там город и заселил его своими людьми. Таким образом, трудно говорить о каких-то «исконных» границах между племенами или, вернее, между мелкими феодальными объединениями, возникшими еще на племенных территориях[1].

Польские языковеды, а также историки вплоть до настоящего времени (по счастью, однако, все реже и реже) оперируют такими названиями племен, как лэнчицане и серадзане, которые ни в каких источниках не засвидетельствованы. В настоящее время мы уже знаем, что эти «племена» были просто напросто выдуманы одним из польских историков XIX в. Однако их долгое время считали исторической реальностью, предполагая, что существовавшие до разделов Польши Лэнчицкое и Серадзкое воеводства возникли именно на давних племенных территориях. В настоящее время мы уже знаем (см. работы С. Зайончковского[2]), что Лэнчицкая земля возникла только в начале XIII в., а Серадзкая земля выделилась из Лэнчицкой только в конце XIII в.

Вопрос о древних племенах, действительно существовавших и мнимых, необходимо было так детально осветить еще и потому, что многие наши ученые вплоть до настоящего времени сопоставляют границы распространения определенных диалектных фактов с границами давних племен. Те и другие границы часто принимались во внимание и в ходе дискуссии о происхождении польского литературного языка, к разбору которого я теперь перехожу.

2

В начале XX в. при разрешении данного вопроса преобладала точка зрения А. Брюкнера, согласно которой польский литературный язык возник в Кракове, являвшемся главным польским культурным центром как раз в то время, когда были написаны памятники средневекового польского языка. Другую точку зрения выдвинул А. Крыньский, который связывал возникновение польского литературного языка с Великопольшей — колыбелью польской государственности.

Во всей сложности проблему происхождения польского литературного языка впервые поставил в 1913 г. К. Нитш[3], который изучал отношение польского литературного языка к диалектам двух важнейших территорий пястовской Польши — Великопольской и Малопольской. При этом К. Нитш сравнивал лишь современное состояние диалектов с современным же состоянием языка образованных поляков и с некоторыми

---

[1] См. A. Gieysztor, Geneza państwa polskiego w świetle nowszych badań, «Kwartalnik historyczny», r. LXI, № 1, 1954.

[2] S. Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź, 1951.

[3] K. Nitsch, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego, «Język polski», I, 1913, стр. 193 и сл.

данными слабо изученного в то время литературного языка XVI в., так как в период создания работы Нитша современные польские говоры были (благодаря деятельности самого К. Нитша) изучены относительно очень хорошо, а сведения о состоянии старопольского языка (до выхода в свет исторической грамматики Я. Лося) были очень скудными; о давних же польских диалектах подобные сведения почти отсутствовали.

К. Нитш показал, что польский литературный язык объединяется с великопольскими говорами и отличается от малопольских пятью важнейшими чертами, такими, как: 1) отсутствие мазуренья (совпадения рядов *sz, ż, cz, dż* и *s, z, c, dz* в один тип *s*); 2) отсутствие малопольской замены *-ch* на *-k* (например, *grzek, na górak*); 3) окраска и прежде всего распадение давних носовых гласных (*dump, dymby, pynć, ponty*, но *gyśi, vązać*); ср. в произношении образованных поляков *domp, demby, pełć, ponty, gęsi, ǫzać*, тогда как в малопольских говорах *dǫp, dąby, pąć, pǫty, gąśi, ǫzać* или *dop, deby, pec, poty, geśi, ǫzać* и т. д.); 4) окончание 1-го лица множественного числа *-my* (*idziemy, chodzimy*, тогда как на севере Малопольши — *idziewa, chodziwa*); наконец, 5) сохранение различия между окончаниями и суффиксами: *-ov-* после твердого согласного и *-ev-* после мягкого (это различие отмечено у некоторых писателей XVI в., а в настоящее время полностью сохранилось в говорах Великопольши).

Ближайшее сходство литературного языка с великопольскими говорами К. Нитш объяснял тем, что при великопольском дворе первых Пястов (Мешка I, Болеслава Храброго, в известной мере Мешка II) были реальные предпосылки для возникновения «высшего» типа некоего государственного разговорного языка, который впоследствии вместе с пястовской династией переместился в Краков и в последующие века послужил основой польского литературного языка. В принципе сопоставление языковых фактов с фактами истории польского государства и общества, предпринятое К. Нитшем, было правомерным и соответствующим уровню изученности необходимых материалов.

В настоящее время, когда мы не только хорошо знаем современные польские говоры (главным образом благодаря работам К. Нитша), но достаточно хорошо представляем себе и средневековые польские диалекты (благодаря прежде всего исследованиям В. Ташицкого и В. Курашкевича), когда и «нормальный» старопольский язык мы знаем значительно лучше, чем 40 лет назад, мы можем и должны пересмотреть в свете этих современных данных прежние аргументы К. Нитша в пользу «великопольского тезиса». Так, например, распределение по говорам форм 1-го лица множественного числа с окончанием *-my* или *-wa*, которое мы наблюдаем сейчас, не имело места в период формирования польского литературного языка. В XVI в., а отчасти еще и в XVII в. во всей Польше (в том числе и в Великопольше, и в Малопольше) во множественном числе употреблялись формы *idziemy, chodzimy*, а в двойственном числе — формы *idziewa, chodziwa*. Это положение сохранилось еще и после того, как во всей Польше уже безусловно образовался единый литературный язык, заметно отличавшийся от всех местных диалектов. Только после исчезновения в польском языке категории двойственного числа (примерно около 1600 г.) одни говоры сохранили в 1-м лице множественного числа окончание *-my*, а другие — окончание давнего двойственного числа *-wa*. Но еще и сейчас в северной Малопольше есть говоры, в которых форма *idziemy* (мн. число) употребляется параллельно с формой *idziewa* (дв. число). Что же касается различения окончаний и суффиксов *-ov-* и *-ev-* (например, в дат. падеже ед. числа *koniewi*, но *robakowi*), исчезнувшего в Малопольше в дописьменный период (путем обобщения *-ow-*), а в Великопольше сохранившегося до на-

стоящего времени, то мы знаем, что это различение было очень древним великопольским диалектизмом. Указанная черта не только не закрепилась в окончательно формировавшемся в XVI в. литературном языке, но ее уже тогда избегали писатели великопольского происхождения (хотя еще в конце XVI в. великополянин Мясковский рифмует *Jewy* и *liliewy* и т. п.); эта черта была утрачена и в говорах восточной Великопольши. В отношении ее литературный язык в процессе своего развития совпал с малопольским, а не с великопольским диалектом. Вопрос о мазуренье, о носовых гласных и о переходе *-ch* в *-k* мы рассмотрим ниже.

После первой мировой войны великопольский тезис К. Нитша был поколеблен историком Домбровским[1], который обратил внимание прежде всего на тот известный факт, что двор Пястов не был перенесен непосредственно из Великопольши в Краков; после переворота в начале XI в. из Германии в Краков прибыл после многолетнего изгнания Казимир Обновитель, но не с польским двором, которого у него не было, а с немецкими рыцарями, которых ему дал император. Брак Казимира с русской княжной был причиной того, что в середине XI в. в Вавеле слышалась скорее русская, чем великопольская речь. Во всяком случае великопольские языковые элементы, которые могли бы попасть в Краков с династией Пястов, не могли быть значительными. Обращали также внимание на старшинство Малопольши в области развития культуры Польши, хотя этот вопрос и остается дискуссионным.

В дальнейшем Нитш публикует статью «Из истории малопольского наречия»[2], объяснявшую современное состояние северномалопольских говоров (на север от Кракова) влиянием на давние малопольские говоры считавшегося лучшим великопольского диалекта. Наиболее интересным было объяснение происхождения типичного для современных северномалопольских говоров произношения без носовых гласных (типа *p̓eta*, *mȧ̊ka*). По мнению К. Нитша, такое произношение возникло в результате воздействия «лучшего» великопольского произношения типа *p̓ęta*, *mąka* на более длительно сохранявшееся в Малопольше архаичное произношение типа *p̓ąta*, *mąka*. Малополяне, усваивая великопольское произношение, не могли произносить носовое *ę* и заменяли его неносовым *e*. Таким путем возникло сначала произношение *p̓eta*, *zeby*, при сохранении *mȧ̊ka*. Однако носовой *ą*, не имевший опоры в другом носовом, со временем исчез. Таким путем должно было возникнуть произношение *p̓eta*, *mȧ̊ka*. Гипотеза эта, несомненно, опиралась на серьезные основания. В ее пользу свидетельствовали многие малопольские рукописи XVI и XVII вв., в которых употреблялся знак *e* на месте носового гласного переднего ряда, но *ą* на месте носового гласного заднего ряда (типа *p̓eta*, но *zab*), а также рифмы «сандомирских» поэтов, которые рифмовали, например, *biega* с *przysięga*, но вообще не рифмовали *ȧ̊* или *o* с *ą*.

Однако гипотеза К. Нитша, конечно, не является аксиомой. Принимая ее, мы тем самым должны будем отбросить утверждение сторонников великопольской теории о том, что распадение носовых перед смычными и аффрикатами является в Великопольше исконным. Ведь если великополяне в свое время говорили *zemby*, *p̓enta*, то трудно понять, почему малополяне, у которых давно были группы *em*, *en* и т. д. (*ten*, твор. падеж ед. числа *domem* и т. д.), не перенимали произношения типа *zemby* без изменений, но изменяли его на тип *zeby*. И во всяком случае великопольское влияние не датировалось бы временем первых

[1] J. Dąbrowski, O kolebkę kultury polskiej, «Księga ku czci Brücknera», Kraków, 1928, стр. 21.

[2] K. Nitsch, Z historii narzecza małopolskiego, «Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski», II, Kraków, 1928, стр. 445—465.

Пистов, потому что, вне всякого сомнения, вплоть до позднего средневековья во всей Польше, кроме Поморья, носовые гласные произносились в основном одинаково[1]. Следовательно, речь о подобном влиянии могла бы идти только начиная с XVI в. Но нужно помнить, что исчезновение носовых гласных (к вопросу о которых ниже мы еще вернемся) могло наметиться и в результате внутреннего развития северномалопольских говоров.

В той же статье К. Нитш рассматривает также вопрос о происхождении северномалопольского произношения *rśoda*, *rźódło*, объясняя возникновение этого явления тем, что малополяне, уже произносившие *środa*, *źródło*, плохо усвоили великопольское произношение *śřoda*, *žřódło*. Однако эта гипотеза не встретила такого положительного отклика, как гипотеза о происхождении произношения *peta*, *zap*. От себя добавлю, что тип *rśoda* мог возникнуть путем простой метатезы из *środa*. Как показал именно К. Нитш, метатеза в польских говорах часто служит средством, при помощи которого устраняются трудные для произношения группы согласных. О том же, что группы типа *sr*, *zr* и т. д. представляют известные трудности для произношения, говорит большое количество примеров из всех славянских языков (чеш. *straka*, польск. диал. *seroka* ⟨*sroka* и т. д.).

Подкреплением великопольского тезиса явились и статьи выдающегося финского слависта Е. Ниеминена, опубликованные в 1928, 1930 и 1931 гг., материалом для которых явились источники особого типа — написанные по-польски судебные присяги, включенные в протоколы судебных разбирательств (в целом написанных на латинском языке). Текст присяг выгодно отличается от текста памятников XIV—XV вв., целиком написанных по-польски, тем, что время и место его создания удается определить очень точно, и тем, что он весьма близок к разговорному языку[2].

Е. Ниеминен доказал, что в средние века во всей Малопольше в местном падеже множественного числа существительных мужского рода употреблялись формы на *-och* (*krajoch*, *brzegoch*), в то время как в остальной Польше употреблялись формы на *-ech*. В XVI в. окончание *-och* в Малопольше исчезает; в этом факте видели доказательство великопольского влияния. Кроме того, Е. Ниеминен установил, что в конце XIV — начале XV в. в великопольских присягах везде господствует слово *trzymać* и союз *iz*(*e*), тогда как в малопольских присягах того же периода постоянно употребляются *dzierżeć* и *eż*(*e*). Со временем, однако, формы *trzymać* и *iż*(*e*) получают распространение и в Малопольше и уже в XVI в. становятся общепольскими. В данном случае мы имеем несомненные примеры распространения определенных великопольских форм на территории Малопольши. Однако эти факты относятся к XV и XVI вв. и тем самым не подтверждают первоначального тезиса К. Нитша о том, что великопольское влияние распространяется в Малопольше еще около 1000 г. н. э. Вместо этого они доказывают роль великопольского диалекта в формировании общепольского языка лишь в конце средних веков.

В 1931 г. в журнале «Lud Słowiański» появилась статья С. Роспонда[3], в которой доказывалось, что на малопольскую и мазовецкую территории, имевшие первоначально тип топонимических названий на *-sk*, распростра-

---

[1] Не могу согласиться с мнением Курашкевича, высказанным им в очень ценной работе «Pochodzenie polskiego języka literackiego» (Wrocław, 1954).

[2] См: E. Nieminen, Polska końcówka *-och* w loc. pl. rzeczowników, «Symbolae grammaticae», II, стр. 381—388; его же, Beiträge zur historischen Dialektologie der polnischen Sprache, «Lud słowiański»; t.II, zesz. 1, A, 1931.

[3] S. Rospond, Sufiksy *-sk* i *-sko* w nazwach miejscowych polskich do XVI w., «Lud słowiański», t. II, zesz. 2, A, 1931.

няется великопольский тип на *-sko* (*Kramsko*). Действительно, этот тип в XVI в. на какое-то время стал литературным. Например, Я. Кохановский (правда, в стихах) писал даже *Połocko*.

Казалось, что великопольский тезис является уже доказанным, хотя и в несколько измененном виде, потому что в послевоенных работах как самого К. Нитша, так и Е. Ниеминена и С. Роспонда было установлено, что распространение некоторых великопольских элементов имело место только в конце средневековья и даже позже. Само собой разумеется, что поздняя экспансия не исключает более ранней, однако доказать существование последней становилось уже затруднительным.

С языковедческих позиций великопольский тезис был в 1931 г. «атакован» С. Шобером, доказывавшим, что мазуренье является поздней чертой, которой, несомненно, еще не было в раннем средневековье и которая поэтому также не могла отличать говоры Великопольши от Малопольши. С. Шобер подчеркивал также малопольское происхождение окончаний *-owi*, *-owie* в литературном языке[1].

В том же году опубликовал свою статью М. Малэцкий[2], в которой он доказывал, что польское мазуренье не может восходить к праславянскому периоду, как это доказывали некоторые польские ученые (Бодуэн де Куртенэ, а позднее К. Нитш), но что оно могло возникнуть только после изменения польского *e* в *o* перед твердыми переднеязычными согласными (XI век?). Аргументы М. Малэцкого получили всеобщее признание; выдвинутые против них возражения, в случае их принятия, вообще подвергли бы сомнению метод относительной хронологии, без которого трудно себе представить сравнительную грамматику. Если принять, что мазуренье возникло самое раннее в XI в., то тем самым придется признать, что в эпоху первых Пястов в этом отношении не было никакой разницы между Великопольшей и Малопольшей. Поэтому отсутствие мазуренья в польском литературном языке не может быть результатом великопольского влияния эпохи первых Пястов.

В. Ташицкий рассмотрел в своем двухтомном труде[3] изменения начальных *ra* и *ja* в истории и в диалектах польского языка. Эта весьма основательная работа построена на исчерпывающем материале дописьменной эпохи, т. е. в ней использован материал польских форм (главным образом, названий лиц и местностей) в древних латинских документах, а кроме того материал, извлеченный из присяг и из памятников, написанных на польском языке; весь этот материал сопоставляется с данными современных говоров. В. Ташицкий неопровержимо доказал тот факт (о котором догадывался уже Бодуэн де Куртенэ), что формы с изменением *ra-* в *re-* и *ja-* в *je-* характеризовали когда-то всю северную и центральную Польшу. Форм с *re-* не было только в Малопольше и в Силезии, форм с *je-* — только в Малопольше. Изменение *ra-* в *re-* засвидетельствовано в Великопольше уже в первой половине XII в. (Гнезненская булла). В том же XII в. засвидетельствовано оно и в поморских документах. Однако в последующий период в Великопольше отмечается тенденция к устранению форм с *re-* и *je-* и к замене их формами с *ra-* и *ja-*. Форм с *re-* и *je-* уже нет в таком литературном памятнике, как Гнезненские проповеди. Современные говоры Великопольши и центральной Польши тоже либо совсем, либо в значи-

[1] См. S. Szober, Pochodzenie i rozwój polskiego języka literackiego, Warszawa, 1931. Вопрос о суффиксах типа *-ev-* и *-ov-* впоследствии подробно рассмотрел В. Курашкевич в превосходной работе (см. W. Kuraszkiewicz, Oboczność *-'ev//-'ov* w dawnej polszczyźnie i w dzisiejszych gwarach, Wrocław, 1951).

[2] M. Małecki, Kilka uwag o chronologji i genezie mazurzenia, «Prace filologiczne», t. XV, część 2, 1931, стр. 221—231.

[3] W. Taszycki, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, I и II, Lwów, 1934.

тельной части утратили формы с *re-* и *je-*, которые были оттеснены на северную и северо-восточную окраину (область кашубов, дальнее Мазовшье, Мазурщина, Вармия). Таким образом, здесь мы имеем неопровержимое доказательство победы южнопольского типа как в литературном языке, так и в великопольских говорах. Работы В. Ташицкого имеют такое большое значение потому, что в них мы имеем дело не с гипотезами, а с положениями, опирающимися на очень большой и доказательный материал.

Работы С. Шобера, а главным образом В. Ташицкого и М. Малэцкого ясно показали, что среди польских языковедов нет единой точки зрения на происхождение польского литературного языка. Намечалась, а порою становилась ожесточенной полемика между сторонниками великопольского и малопольского тезисов; эта полемика стимулировала, однако, наших ученых к тщательному изучению всех деталей, которые могли бы пролить свет на вопрос о первоначальных группировках польских диалектов и на их роль в формировании литературного языка. Выяснению состояния польских диалектов в средние века и в XVI в. способствовали главным образом работы В. Ташицкого и его противника В. Курашкевича. В настоящее время можно считать окончательно выясненным, что различия между этими диалектами были очень незначительными и что в языковом отношении вся Польша была монолитной. Великопольский диалект отличался от малопольского скорее отдельными частностями, чем характером всей системы в целом. Именно эта близость польских диалектов между собой и была одной из причин раннего формирования польской народности.

Ряд статей В. Ташицкого, опубликованных уже в недавние годы[1], был также направлен против великопольского тезиса. В. Ташицкий поочередно рассмотрел аргументы в пользу этого тезиса,—а именно, вопросы о мазуренье, изменении *-ch*>*-k* и о носовых гласных. В очень важной работе о мазуренье он методом относительной хронологии доказал позднее происхождение этого явления в Мазовшье (по его мнению, оно возникло там не ранее XIV в., а в Малопольше появилось чуть ли не с XVII в.). Если его аргументы в пользу позднего происхождения малопольского мазуренья нельзя признать в полной мере убедительными, то во всяком случае они значительно колеблют нашу веру в то, что мазуренье уже в XV в. и даже раньше было широко распространено в Малопольше. Правда, при всем этом можно сомневаться, что данный вопрос когда-нибудь будет разрешен. Несомненное отсутствие мазуренья в некоторых малопольских памятниках рассматривается наиболее упорными «великополянами» как доказательство того, насколько сильно укоренилась в Малопольше норма, воспринятая из Великопольши. Удивляет только, что другие великопольские черты, которые гораздо легче было перенять (см. ниже и выше), в это же самое время совсем не были восприняты или же воспринимались очень медленно.

Здесь следует вспомнить, что факт неразличения свистящих и шипящих в части польских средневековых рукописей вовсе не свидетельствует о мазуренье в XV в. или раньше. Есть много старочешских рукописей, которые не различают на письме эти два ряда звуков, но тем не менее никто из этого не делает вывода о том, что в средневековом чешском языке было мазуренье.

В своей борьбе против тезиса о древности мазуренья В. Ташицкий не-

[1] См.: «Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim», Warszawa, 1949; «Dlaczego w wyrazach rodzimych wszędzie jednakowo oznaczamy samogłoski nosowe...», «Język Polski», XXIX, 1949, стр. 62—67; «O małopolskich formach *grok* «groch», *na nogak* «na nogach», «Język polski», XXIX, 1949, стр. 195—202; наконец, «Geneza polskiego języka literackiego.., «Lingua posnaniensis», III, 1951, стр. 206—242 и т. д.

достаточно аргументированно опровергал мнение о том, что границы распространения мазуренья соответствуют «исконным племенным границам»; это представляется несколько странным, потому что при современном состоянии науки именно данный аргумент можно опровергнуть относительно легко. Бросается в глаза действительно поразительное совпадение между границей мазуренья и границей между великопольскими и куявскими воеводствами, существовавшими до раздела Польши, с одной стороны, и воеводствами лэнчицким, серадзким и плоцким (Мазовшье), с другой. Однако мы не имеем никакого права отождествлять эти границы, установившиеся в период раздробления Польши на феодальные княжества (с XIII до XIV, частично до XV вв.), с почти неизвестными нам границами племенных территорий, особенно с тех пор как мы узнали, что так называемые племена лэнчицан и серадзан являются совершенной фикцией и что Серадзкая земля возникла в конце XIII в., а ее границы определились около 1400 г. Граница между Мазовшьем и Куявами, вероятно, действительно была очень давней, но она сохраняла свое значение до XVI в., т. е. до вторичного воссоединения Мазовшья с Польшей. О границе мазуренья в Силезии можно говорить в связи с западной границей замены *-ch* на *-k* (см. ниже).

Благодаря В. Ташицкому мы узнали, что замена *-ch* на *-k* отражается в памятниках только в конце XV в. (правда, в последнее время обнаружены более ранние следы этого явления, но главным образом в мазовецких памятниках, что только затемняет картину). Нет соответствующей мены и в малопольских присягах конца XIV в., написанных безыскусственным языком; не выступает она и в названиях местностей, представленных в многочисленных документах XIII—XIV вв., написание которых вообще было слабо нормированным. Поэтому напрашивается простой вывод о том, что эта замена не вошла в литературный язык потому, что полностью реализовалась только тогда, когда процесс формирования последнего уже завершался и когда она уже отчетливо воспринималась как нарушающий норму диалектизм.

Главным аргументом К. Нитша[1] в пользу древности изменения *-ch* в *-k* является соответствие границ этого явления границам давних польских областей, которые будто бы представляют собой одновременно племенные границы. Впрочем в настоящее время территория распространения *-k* из *-ch* значительно сократилась; при этом, что удивительно, ее западная граница, повидимому, удержалась без изменения. Граница эта совпадает с границей между серадзкой территорией и калишской (Великопольша), которая в своей южной части установилась только около 1400 г., т. е. тогда, когда память о древних племенах давно исчезла. Дальше на юг (на запад от Ченстохова) граница территории распространения *-k* из *-ch* проходит в соответствии с границей между Малопольшей и Силезией, актуальной вплоть до XX в. в качестве государственной границы сначала (с XIV в.) между Польшей и областями Священной Римской империи, а потом между Польшей (в составе России) и Пруссией. Однако на самом юге граница *-k* (впрочем так же, как и граница мазуренья) проходит не по восточной границе Силезии, установившейся в позднем средневековье, а по более ранней, существовавшей до XII в. и выделяющей Бытомскую землю на восток от Силезии. Из этого можно было бы сделать вывод, что граница изменения *-ch* в *-k* установилась перед переходом Бытомской земли от Малопольши (если употребление этого названия применительно к XII в. не является анахронизмом) к Силезии. Однако Бытом-

[1] См. K. Nitsch, Najdawniejsza małopolska cecha dialektyczna, «Sprawozdania PAU» t. L, 1950, стр. 410—413.

ская земля вплоть до первой половины XIX в. входила в состав краковской, а не вроцлавской епархии, на что обратил внимание уже и К. Нитш. Разумеется, в XIX в. принадлежность эта была скорее формальной, но это не так уж очевидно и бесспорно, поскольку еще в XX в. часть Силезии, которая в средние века временно входила в состав Моравии, фактически оставалась в оломоуцской епархии, а не вроцлавской, несмотря на то, что от остальной части этой епархии ее издавна отделяла государственная граница, сперва прусско-австрийская, а потом немцеко-чехословацкая. Вероятно, однако, что Бытомская земля в XIV в. полностью входила в краковскую епархию, о чем свидетельствует, например, биография епископа Нанкера, который родился в Бытоме, но образование получил в Кракове. Никого из историков не удивляет, что Нанкер сделался епископом краковским, однако является загадкой, каким образом он стал потом епископом вроцлавским. Весьма правдоподобно, что еще и в XV в. граница между краковской и вроцлавской епархиями в Силезии могла быть настолько актуальной, что именно она определила собой границу идущих с востока «мазуренья» и произношения *grzek*, *na rękak*.

Аргументу К. Нитша, касающемуся качества носовых гласных, о чем говорилось выше, В. Ташицкий противопоставил тот факт, что во второй половине XVI в. в типографиях установилось правописание, в котором совершенно отчетливо отражается произношение носовых гласных как таковых, т. е. именно малопольское произношение. Если бы в XVI в. великопольское произношение носовых гласных как сочетания гласных с носовыми согласными (типа *zemby*, *pęnta*) считалось бы лучшим, трудно было бы понять, почему вводили новый знак *ę*, вместо того чтобы приспособить уже имевшиеся написания с *en*, *em* и т. д. Аргумент этот можно считать доказательным лишь в том случае, если безоговорочно поверить в древность великопольского произношения носовых гласных как сочетания гласных с носовыми согласными. Однако можно сильно сомневаться в этой древности. Если, например, утверждали (Т. Лер-Сплавинский[1]), что уже написания типа *Dambsko* в Гнезненской булле свидетельствуют о факте распада носовых гласных, то нужно припомнить, что ведь никто не считает такие написания имен моравских и чешских властителей IX и X вв., как *Sventopulcus* и *Venceslaus*, аргументом в пользу утверждения, что прачешские носовые гласные перед смычными произносились как сочетание гласного с носовым согласным. Просто и тут и там мы имеем дело с неточным обозначением славянских звуков латинскими буквами. Тот факт, что великопольские памятники (Гнезненские проповеди конца XIV в. и др.) последовательно употребляли знак ф для обозначения средневекового польского носового гласного, ясно свидетельствует против теории о глубокой древности процесса распада носовых в Великопольше. Но поскольку мы не знаем точно, как произносились носовые гласные в Великопольше и в Малопольше в период с XIV по XVI вв. (не показали этого также, по-моему, и очень ценные в другом отношении работы В. Курашкевича[2]), то этот аргумент, по крайней мере в настоящее время, не может подкрепить ни великопольского, ни малопольского тезиса.

В исследованиях В. Ташицкого показано развитие и других диалектных различий в средние века и в XVI в. Оказалось, что сохранившийся до сегодняшнего дня тип прошедшего времени *byłech*, *bylichmy*, распространенный в настоящее время (*byłek*) в Малопольше примерно на той же территории, на которой распространено и изменение *-ch* в *-k*, и кроме того во всей

[1] Например, в книге: T. Lehr-Spławiński, «Szkice z dziejów rozwoju kultury języka polskiego», Lwów, 1938, стр. 56.

[2] «Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi» (Kraków, PAU, 1932) и «Pochodzenie polskiego języka literackiego» (см. выше).

Силезии, тоже возник в конце XV в. как совершенно определенная южнопольская черта[1]. В. Ташицкий показал, кроме того, что изменение *chw-* в *f-* (*fała*, *fila*), характерное прежде всего для Малопольши и Мазовшья, отмечено уже для конца XII в.; тем самым он обратил внимание на то, что в этом случае в литературном языке победила норма, соответствующая великопольскому, а не малопольскому произношению[2].

Много интересных подробностей, относящихся к древним польским диалектам, содержит исследование В. Курашкевича[3]. Например, он первый указал на то, что форма винительного падежа единственного числа *go*, *jego* вместо древнего *ji* впервые возникла в Великопольше и оттуда вошла в литературный язык. Другое дело, что употребление форм *go*, *jego* в родительном падеже могло возникнуть путем внутреннего развития в Малопольше несколько позднее, чем в Великопольше. Вопросам внутреннего развития языка в наших дискуссиях о литературном языке уделяется мало внимания.

Некоторые данные для рассмотрения вопроса дали также работы моих учеников по Лодзинскому университету, а именно И. Винклерувны[4] и В. Смеха[5]. В работе Винклерувны показано, как исчезают в письменных памятниках севернопольские нестяженные формы глаголов типа *stojać*, *bojać się*, полностью сохранившиеся до настоящего времени в говорах всей северной Польши (вместе с центром Великопольши), уступая место стяженным формам, типичным для Польши южной. Другая (еще не опубликованная) работа Винклерувны показывает, что форма прилагательных на *-isty*, характерная для говоров Малопольши (и Мазовшья) и в настоящее время единственно продуктивная в литературном языке, очень рано одержала победу и в памятниках письменности XVI в. уже стала единственно нормативной (кроме нескольких окостеневших форм), хотя в Великопольше вплоть до настоящего времени господствуют формы на *-ity* (*kamienity*, *wodnity*). Обе эти работы указывают, следовательно, на малопольские элементы в литературном языке.

В работе В. Смеха доказывается, что в XV в. в Великопольше господствовали архаичнейшие формы *śrzoda*, *źrzódło*, *uźrzał*, тогда как в Малопольше в это же время говорили *środa*, *źródło*, *uźrał*. В начале XVI в. в краковских типографиях устанавливается написание *srz*, *zrz*, которое соответствует великопольскому произношению и которое становится обязательным вплоть до начала XIX в., хотя малополяне продолжали говорить *środa*, *źródło*, *uźrał* или, возможно, также (в областях на север от Кракова) *rśoda*, *rźódło*, *urźał*. О дальнейших судьбах указанных форм см. ниже. В этом случае, следовательно, победила норма, совпадающая с великопольским диалектом, хотя (о чем не следует забывать) совпадающая также и с давним малопольским состоянием (примерно, около 1400 г.), представленным, например, таким важным памятником конца XIV в., как Флорианская псалтырь.

Наконец, В. Ташицкий обратил внимание на тот факт, что в XIV—XV вв. малопольские памятники различают формы под ударением *mię*, *cię*, *się* и энклитические формы *mie*, *cie*, *sie*, тогда как великопольские во всех случаях употребляют *mię*, *cię*, *się*. Различение обоих типов при-

[1] См. W. Taszycki, Staropolskie formy czasu przeszłego *robiłech*, *lobilichmy*, «Sprawozdania PAU» t. XLVII, 1946, стр. 7.

[2] См. его же, Przejście *chw* ≡ *f* w staropolszczyźnie, «Sprawozdania PAU», t. XLVIII, 1947, стр. 40—45.

[3] «Pochodzenie polskiego języka literackiego», стр. 109.

[4] I. Winklerówna, Ściągnięte i nieściągnięte formy słów *stać* i *bać się*, «Język polski», XXXI, 1951, стр. 29—32.

[5] W. Smiech, Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych **śŕ*, **źŕ*, **žŕ*, Łódź, 1953.

вилось в известной мере и в печати XVI в., однако не в такой степени, чтобы можно было говорить о победе малопольского типа. Впрочем вопрос об отсутствии в Великопольше форм *mie*, *cie*, *sie* еще не выяснен окончательно[1].

Исследования В. Ташицкого и В. Курашкевича дают достаточно определенную характеристику польских диалектов в средние века и в XVI в. и показывают роль разных диалектных элементов в литературном языке, который в половине XVI в. был уже единообразным. Результаты названных исследований весьма несовершенным образом можно представить в виде следующей таблицы:

Великопольша	Малопольша	Черты, преобладающие в литературном языке XVI в.
1) отсутствие мазуренья	мазуренье	отсутствие мазуренья
2) сохранение *-ch*	*-k* из *-ch*	сохранение *-ch*
3) *re-*, *je-* из *ra-*, *ja-*	*ra-*, *ja-*	*ra-*, *ja-*
4) *chw*	*f* из *chw*	*chw*
5) формы типа *chołm*	формы типа *śhełm*	формы типа *chełm*
6) формы типа *śrzoda*, *źrzódło*, *uźrzał*	формы типа *środa*, *źródło*, *uźrał*	формы типа *śrzoda*, *źrzódło*, *uźrzał*
7) нестяженные глагольные формы *bojał się*, *stojał* и под.	стяженные формы *bał się*, *stał* и под.	стяженные формы *bał się*, *stał* и под.
8) только формы *mię*, *cię*, *się*	*mie*, *cie*, *sie* параллельно с *mię*, *cię*, *się*	*mie*, *cie*, *sie* параллельно с *mię*, *cię*, *się*
9) окончание местн. падежа мн. числа *-ech* существ. муж. и ср. рода	окончания *-och* и *-ech*	окончание местн. падежа мн. числа существ. муж. и ср. рода *-ech*
10) суффикс и окончание *-ov-* после твердых согласных, *-ev-* — после мягких	только суффикс и окончание *-ov-*	только суффикс и окончание *-ov-*
11) формы глаголов прош. времени типа *byłeśm* > *byłem*	параллельно с *byłem* формы типа *byłech*	формы глаголов прош. времени типа *byłeśm* > *byłem*
12) вин. падеж *go*, *jego*	вин. падеж *ji*	вин. падеж *go*, *jego*
13) формы типа *domk*, *krostawc*	формы типа *domek*, *krostawiec*	формы типа *domek*, *krostawiec*
14) суффикс *-ity*	суффикс *-isty*	суффикс *-isty*
15) тип топонимических названий на *-sko*	тип топонимических названий на *-sk*	тип топонимических названий на *-sko*
16) тип топонимических названий на *-ino*	тип топонимических названий на *-in*	тип топонимических названий на *-in*
17) отдельные формы, слова или их разновидности		
а) *trzymać*	*dzierżeć*	*trzymać*
б) *iż(e)*	*cż(e)*	*iż(e)*
в) *siet(e)m*	*sied(e)m*	*sied(e)m*
г) *południe*	*połednie*	*południe*
д) *wuj*	*uj*	*wuj*

[1] Ср. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie.., стр. 39—49.

О большинстве упомянутых в этой таблице черт мы уже говорили выше при рассмотрении отдельных работ сторонников обеих теорий. По поводу остальных уместно сделать некоторые замечания.

1. К пункту 5. Различным рефлексам сонанта *l* в южных говорах и в литературном языке (*il*, *eł*, *łu*, *oł*) соответствует в западнолехитских (поморско-полабских) говорах единый рефлекс *oł*. Следы такой рэфлексации вплоть до настоящего времени сохраняются достаточно отчетливо, с одной стороны, у кашубов, с другой — в Мазовшье [ср. мазовецкие *wiołna*, *piołł*, *miołł* вместо *wełna* и т. д., старомазовецкие (XVI в.) *piołny*, название местности *Pułtusk*, раньше *Połtowsk* и т. д.]. Также, например, в Гнезненской булле для обозначения местности в Западной Польше вместо формы *Chełm*, соответствующей современной норме литературного языка, дважды употреблена форма *Chołm*; рядом упоминается имя *Dułgota* вместо ожидаемого *Długota*. В соседней Лэнчицкой области употреблялась форма *piolnić* или *połnić*, которую К. Нитш давно нашел в лэнчицких присягах. В настоящее время в Великопольше рефлексы *l* целиком соответствуют южнопольским, которые полностью господствуют в литературном языке.

2. К пункту 9. Упомянутое окончание *-och* исчезает в печатных текстах, относящихся к периоду после Н. Рея. Однако нужно отметить, что это окончание вытесняется не столько окончанием *-ech*, ранее повсеместно распространенным в Великопольше, сколько окончанием *-ach*, которое возникло в результате аналогии с основами на *-a* и вытеснило во всей Польше как окончание *-ech*, так и окончание *-och*. Поэтому факт исчезновения окончания *-och* нужно очень осторожно привлекать в качестве аргумента в пользу тезиса о влиянии (разумеется, очень позднем) говоров Великопольши на литературный язык.

3. К пункту 13. Формы типа *domk*, *krostawc*, род. падеж мн. числа *żonk*, несомненно, были распространены в прошлом (уже в XII в.) во всей северной Польше[1]. По всей вероятности, польская территория, на которой были известны формы этого типа, соединялась когда-то с лужицкой, где и до настоящего времени господствуют формы типа *započatk*, *końc* и т. п. Однако несомненно, что под воздействием южнопольских диалектов формы типа *domek*, *koniec* проникают не только в литературный язык, но и в севернопольские говоры, где формы типа *końc* сохранились только как реликты. И лишь в центре и на севере кашубской земли эти формы актуальны вплоть до сегодняшнего дня.

4. К пункту 16. Как показано в еще не опубликованной работе В. Манчака (которая мне известна по рукописи), тип топонимических названий на *-ino* (*Smołdzino*, *Przetoczyno*) был когда-то характерен для всей северной Польши и отличал ее от южной, где господствовал тип на *-in* (*Korczyn*, *Krzęcin*). В настоящее время названия на *-ino* сохранились только у кашубов; дальше на юг суффикс *-ino* был вытеснен новым *-in*. Здесь опять очевидно влияние говоров южной территории, которое было гораздо более значительным, чем влияние Великопольши в случае распространения типа *Kramsko*. Тип *Kramsko* никогда не побеждал в центральной и южной Польше (ср. такие названия, как *Skulsk*, *Łask*, *Kamińsk*, *Zagńańsk*, *Lutomiersk*, которые до сегодняшнего дня являются официальными), а тем более в Мазовшье (*Czersk*, *Płock*, *Płońsk*, *Pułtusk*, *Serock* и т. д.).

5. К пункту 17. Мы уже говорили о распространении в средние века великопольских *trzymać* и *iż(e)*. Сюда можно присоединить и литератур-

---

[1] См. W. Taszycki, Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej, «Sprawozdania PAU», t. XLVIII, 1947, стр. 311.

ную форму *wuj*[1], повидимому великопольского происхождения, а также великопольскую форму *południe*, вытеснившую форму *połednie*, которая не вошла в литературный язык, хотя до сегодняшнего дня занимает значительную часть территории Малопольши. Но, с другой стороны, В. Курашкевич[2] указал на тот факт, что форма *sietem* (с интересным архаичным *t*) часто встречалась не только в Мазовшье, но также и в Великопольше, хотя в последней она была засвидетельствована реже. В настоящее время формы этого слова с *t* можно встретить лишь на северных окраинах Польши, т. е. в Мазурщине, Вармии и на севере Кашубской области. По всей вероятности, в данном случае южнопольское *sied* (*e*) *m* вытеснило севернопольско-поморское *siet*(*e*)*ṁ*.

Все вышесказанное дает основание утверждать, что польский литературный язык, который постепенно формировался на протяжении XIV и XV вв. и окончательно сформировался в XVI в. (как в принципе единообразный, хотя, конечно, развивающийся и испытывающий различные внешние влияния), возник путем слияния в одно органическое целое элементов различных польских диалектов и — прежде всего — великопольского и малопольского. Роль других диалектов, если она и сказывалась уже тогда в процессе формирования общепольского языка, выражалась лишь в поддержке или малопольских, или великопольских элементов. Например, под влиянием говоров Мазовшья, Куявы, возможно, также и Силезии в общепольском языке исчезало малопольское *-k*<*-ch*; с другой стороны, под влиянием говоров Мазовшья и Малопольши все реже встречался великопольский суффикс *-isty* и т. д. Как видно из вышеприведенной таблицы, великопольские и малопольские черты в литературном языке находятся в относительном равновесии.

Правда, не следует забывать, что часть особенностей, имеющих соответствия в великопольском диалекте,— это архаизмы (вероятно, возникшие не раньше XIII в., а иногда и более ранние), общие всей Польше (отсутствие мазуренья, отсутствие *-k*<*-ch*, формы типа *śrzoda*, формы типа *byłeś m*>*byłem*). Однако эти архаизмы, по всей вероятности, не сохранились бы в литературном языке, если бы они исчезли в обеих главных областях пястовской Польши. То обстоятельство, что они удерживались в диалекте такой важной области, какой всегда была Великопольша, несомненно, увеличивало их престиж и на территории Малопольши.

Великопольские элементы распространялись в XV и XVI в., несомненно, при посредничестве Кракова. Для того чтобы представить себе пути этого влияния, нужно вспомнить, что представлял собой в то время краковский центр. Еще в XV в. высший слой краковских горожан был скорее немецким, а городские низы, польские или ополяченные, естественно, не могли играть большой роли в формировании литературного языка. Королевский двор, при котором находилось много образованных людей, состоял из уроженцев разных частей государства. В Ягеллонском университете большой процент докторов происходил из Великопольши или из прилегающих к ней территорий. Наиболее интересными являются данные о происхождении студентов этого университета в 1505—1515 гг. В еще не опубликованном исследовании магистра Карплюкувны (Краков) говорится, что в то время в Кракове обучалось гораздо больше великополян и куявян, чем малополян. В связи с этим и самом значительном польском культурном центре великопольский диалект звучал чаще, чем малопольский. Это не могло не иметь последствий. Излишне говорить, что такой

[1] A. Obrębska, Stryj, wuj i swak, Kraków, PAU, 1929.
[2] W. Kuraszkiewicz, Pomorsko-mazowiecki liczebnik *siet*(*e*)*m*, «Rocznik Zakładu narodowego imienia Ossolińskich», t. III, 1948.

большой наплыв великополян в Кракове являлся результатом экономической мощи Великопольши, значение которой всегда было велико. Над жителями и говором Великопольши никто не насмехался, как, например, над бедным Мазовшьем. Что представляла собой «экономическая мощь» Великопольши в деталях—могут выяснить только историки (если они не опровергнут этой точки зрения).

Во время дискуссии на «Сессии Возрождения» Польской Академии наук в 1953 г. историки обратили внимание еще на два обстоятельства, которые могли усилить языковое влияние Великопольши. Первое — более быстрый процесс полонизации немцев-горожан в Познани, чем в Кракове; поэтому в кругах горожан, которые, несомненно, принимали активное участие в формировании литературного языка (печатное дело), лучшим должен был считаться скорее познанский польский язык, чем краковский. Второе — значительное гуситское движение в Великопольше и Куявах в XV в. При помощи гуситских листовок (тщательно, впрочем, уничтожаемых католическим духовенством) в Малопольше распространялись тексты, в языке которых были очень сильны великопольские элементы.

3

Прежде чем перейти к рассмотрению роли уроженцев Силезии в Кракове и к очень важной роли печатников, сначала краковских, потом также и кролевецких, нужно сказать несколько слов о внешнем факторе, который тоже участвовал в процессе формирования польского литературного языка, а именно — о влиянии чешского языка. Сильное влияние чешского языка на польский ни у кого не вызывало сомнений, однако размеры этого влияния, несомненно, были в прошлом преувеличены. В разные эпохи поляки заимствовали много чешских слов — таких, как *wnet* (*hned*), *uprzejmy* (*upřímý*), *obywatel*, *rzetelny* (*zřetedlný*), или изменили ряд польских слов на чешский образец (*wesele*, *serce*, *czerwony* вместо *wiesiele*, *sierce*, *czerwiony*; *hańba*, *hardy* вместо *gańba*, *gardy* и т. д.). Но мы не можем с большей или меньшей уверенностью указать ни одной черты (фонетической, морфологической или словообразовательной) системы чешского языка, которая была бы воспринята польским языком.

Некоторое влияние чешского языка могло иметь место в диалектах южной Польши уже в период временного усиления роли Великоморавского государства в бассейне верхней Вислы. Однако следы несомненного влияния датируются концом X и началом XI вв., т. е. периодом введения в Польше христианства и одновременно оживившихся польско-чешских отношений как мирного, так и военного характера. Работа Е. Клиха «Польская христианская терминология»[1] ясно показала, что в указанное время в польском языке появляется масса славянских и неславянских слов, относящихся именно к этой терминологии и предварительно подвергшихся переделке на чешский лад. Впрочем эти слова скоро подверглись полной фонетической полонизации, так что в настоящее время в них уже трудно узнать заимствования (*kościół* <чеш. *kostel* <лат. *castellum*; *dziekan* <чеш. *dekán* < лат. *decanus* и т. д.).

Позднее чешское влияние на польский язык слабеет. Когда речь идет о городской или рыцарско-феодальной жизни, то и в самой Чехии употребляется терминология главным образом немецкого происхождения. Торговые отношения между Польшей и Чехией тоже способствуют заимствованию германизмов, на которых, впрочем, заметно влияние чешского посредничества (ср. польск. *hrabia*, чеш. *hrabě* < нем. *gravio* и т. д.). На тот факт,

[1] E. Klich, Polska terminologja chrześcijańska, Poznań, 1927.

что чешский язык явился посредником в передаче польскому языку немецких языковых элементов, обратил внимание еще А. Клечковский[1]. Усиление чисто чешского влияния на польский язык вновь наблюдается во второй половине XIV в., в период высокого расцвета чешской культуры и начала расцвета культуры польской (Казимир Великий).

Когда в 1348 г. в Праге был основан первый в средней Европе университет, в нем вскоре появилось столько польских студентов, что они там образовали отдельную польскую «нацию». Питомцы Карлова университета возвращаются потом преимущественно в Польшу; из их числа и формируется первый состав профессоров восстановленного в 1400 г. Краковского университета. Они же, несомненно, привозят в Польшу многочисленные чешские рукописи. Таким образом, только в XV в., благодаря распространению письменности в Польше, начинает усиливаться чешское влияние. Памятники XIV в., такие, как Свентокжижские проповеди, Флорианская псалтырь, Гнезненские проповеди, почти не имеют несомненных новейших чехизмов, тогда как их очень много в Библии Софии (половина XV в.), в последних частях Флорианской псалтыри (с XV в.) и в других памятниках XV в.

Распространению чехизмов в Польше, вероятно, немало способствовали великопольско-куявские гуситы, которые поддерживали оживленные сношения с Чехией и, наверное, пользовались списками чешских гуситских произведений или их переводами. Чехизмы памятников этого периода не являются, впрочем, постоянными у каждого писца или переводчика. Этот период можно назвать «периодом мимолетных чехизмов». Постоянные чехизмы определяются скорее в конце XV и в начале XVI в. В это время на польском письменном языке начинает сказываться влияние чешских печатных текстов. Нужно помнить, что до 1500 г. было напечатано 25 чешских книг, тогда как первая печатная польская книга появилась в 1514 г. Влияние чешских печатных текстов возросло в XVI в. не только потому, что этих текстов стало больше по количеству, но и потому, что среди них преобладали книги Чешских братьев, которые были особенно близки многочисленным в то время польским протестантам.

Знакомству с чешским языком в Польше в известной степени способствовала изданная в 1533 г. чешская грамматика (Оптата, Гзела и Филоматеза). Евангелие-апракос Малецкого (1527 г.?) пестрит чехизмами. Однако в позднейший, кролевецкий, период своей типографской деятельности Малецкий употребляет значительно меньше чехизмов, хотя его почтительное отношение к чешскому языку нисколько не уменьшается. Но теперь он рассматривает чешский язык в качестве арбитра в тех случаях, когда друг с другом конкурируют две польские формы — старая или новая, а также формы, происходящие из разных диалектов. Так, например, он рекомендует форму родительного падежа единственного числа существительного женского рода *krześcijańskie*, а не *krześcijańskiej*, потому что первая форма сходна с чешской (*křestanské*). Ведь, по мнению Малецкого, «lingua polonica ex lingua bohemica orta est» «польский язык ведет свое происхождение от чешского языка» и «lingua polonica ex lingua bohemica corrigi (quantum licet ac fieri potest) et restitu debet» «польский язык (в той мере, в какой это возможно и прилично) должен исправляться и восстанавливаться при помощи чешского языка». В другом месте Малецкий пишет: «Scias neminem unquam litteras sacras in linguam polonicam vere ac proprie vertere posse sine adminiculo linguae bohemicae et sacrarum litterarum lingua bohemica editarum» «никто и никогда не может знать и особенно хорошо переводить на польский язык священное писание без

[1] A. Kleczkowski, Wyrazy niemieckie w staroczeskim i staropolskim, «Symbolae grammaticae», II, стр. 331—345.

помощи чешского языка и изданного на чешском языке священного писания», а также «nemo vere ac proprie polonice loqui nescit nisi bohemicae linguae non ignarus fuerit» «никто верно не говорит по-польски, если не знает чешского языка». Однако, несмотря на такой культ чешского языка, Малецкий в позднейший период не вводил большого количества чехизмов,но,как указывалось выше, лишь пропагандировал польские формы, сходные с чешскими. Повидимому, так же поступали и другие писатели, а особенно печатники, тоже рассматривавшие чешский язык в качестве арбитра между конкурирующими польскими формами.

Если мы теперь вернемся к нашей таблице, то увидим, что в литературный язык вошли лишь те великопольские или малопольские формы, которые были сходны с чешскими. Ср. такие великопольские черты, как отсутствие мазуренья, сохранение *-ch*, формы типа *źródło*, *uźrźał*, ст.-чеш. *zřiedlo*, *uzřel*, тип топонимических названий на *-sko*, сохранение *chw* и такие малопольские, как стяженные формы *stać*, *bać się*, сохранение *ra-* и по большей части *ja-*, суффикс и окончание *-ov-* после твердых и мягких согласных, формы типа *domek*, *koniec*, тип топонимических названий на *-in*. Скорее исключением можно считать тот факт, что суффикс *-isty* побеждает в польском языке вопреки великопольскому и чешскому *-ity* или что великопольские *trzymać*, *iż(e)*, *południe* вытеснили малопольские, сходные с чешскими *eż(e)*, *dzierżeć*, *połednie*. Впрочем в трех последних случаях речь идет только об отдельных словах, которые начали восприниматься как общепольские еще до усиления чешского влияния в XV в. (ср. Свентокжижские проповеди и Флорианскую псалтырь).

Росту и без того высокого авторитета чешского языка могли способствовать в Кракове и уроженцы Силезии, которых было много как среди студентов, так и среди печатников. В упоминавшейся работе Карплюкувны показано, что в 1505—1515 гг. в Кракове обучалось около 400 студентов из вроцлавской епархии. Много было уроженцев Силезии и среди краковских печатников. Роль чешского языка в Силезии была очень велика; в Заторской и Освенцимской земле, которые временно находились в составе Силезии, через сто лет после их присоединения к Польше судебные книги писались еще по-чешски. Поэтому несомненно, что уроженцам Силезии лучшими казались те формы, которые напоминали чешские.

Как известно, много чехизмов употреблял и Рей, а также его современники[1].

Во второй половине XVI в. чешское влияние понемногу ослабевает и, наконец, совсем прекращается в конце этого столетия. Лука Гурницкий в «Dworzaninie» (1566 г.) высказывается скорее против излишнего употребления ненужных чехизмов. Тем не менее он с большим уважением отзывается о чешском языке. Один из персонажей его произведения говорит: «Pomnę ja, kiedy u dworu takiego mówcę chwalono który w swą rzecz najwięcej czeszczyzny mieszał» «Помню я, когда при дворе хвалили такого оратора, который больше всего примешивал в свою речь чешских слов». Но говорит он об этом уже в прошедшем времени.

Итак, структура польского языка, на котором писал Ян Кохановский, или, точнее, на котором его печатали издатели, возникла на основе диалектов Польши Казимира Великого с двумя главными центрами этой монархии, под известным воздействием чешского языка в роли арбитра при выборе тех или иных форм и при известной тенденции к сохранению архаизмов, по крайней мере в области фонетики.

---

[1] См., например, W. Taszycki, Czechizmy w języku Reja, «Prace filologiczne», t. XII, 1927.

Сформировавшийся таким путем язык был, однако, прежде всего языком письменным, а не устным. Нужно особо подчеркнуть, что в Польше унификация письменного языка опередила унификацию устного языка образованных людей. Как признано теперь всеми, это было следствием того, что унификация письменного языка была окончательно завершена в XVI в. печатниками (прежде всего, краковскими). Эти печатники изменяли язык рукописей не только Рея, но и Кохановского, заменяя, например, *środa* на *śrzoda*, вводя «литературный» тип носовых гласных и т. д.[1] Возможно, что, подобно немецким печатникам, эти польские печатники собирались на какие-нибудь совещания, где устанавливались языковые нормы и нормы правописания, признаваемые правильными. Печатная книга, проникая во все уголки страны, способствовала распространению влияния правильных форм и особенностей на разговорную речь образованных людей. Но еще долго рукописи этих образованных людей будут отличаться от печатных текстов большим количеством диалектизмов.

Вполне понятно, что польский литературный язык и формирующаяся под его влиянием устная речь продолжали развиваться. Развитие это состояло не только в увеличении запаса слов, относящихся к различным областям знания, и в развитии фразеологии, в установлении синтаксических правил (впрочем, преимущественно под влиянием латинского языка), но также и в том, что язык впитывал известные диалектные и иноязычные элементы, главным образом восточнославянские.

Со времени перенесения столицы Польши в Варшаву постепенно начинают давать себя знать и мазовецкие черты, уже довольно отчетливо прослеживаемые в польско-латинско-греческом словаре Кнапиуса (автор родом из Мазовшья; 1-е изд.— 1624 г., 2-е—1648 г.); кое-что встречается у Скарги, а позднее (XVIII в.) — в словаре Тротца.

Вопрос о мазовецких элементах в современном литературном языке не является простым и, собственно говоря, до сих пор не исследован. Несомненно одно: литературный язык и до сегодняшнего дня в основном сохранил свой давний великопольско-малопольский характер. Мазовецкие элементы представлены в нем очень слабо. В самой Варшаве (К. Нитш) эти элементы всегда отступают перед общепольскими, немазовецкого происхождения. Бесспорно мазовецкому влиянию можно приписать устранение из правописания — и тем самым из «идеального» произношения — форм типа *śrzoda*, *źrzódło* и сохранение написания и произношения *ujrzał*, *wyjrzał* (из прежних *uźrzał*, *wyźrzał*), что соответствовало произношению населения Варшавы и ее окрестностей; ср. упомянутую выше работу В. Смеха. Давно уже К. Нитш указал на мазовецкое происхождение многократных форм типа *podskakiwać*, *zawiązywać*; народные говоры юго-западной Польши до сегодняшнего дня сохранили старые формы типа *podskakować*, *zawięzować*. Мазовецкого происхождения и такие слова и обороты литературного языка, как *chaber*, *zsiadłe mleko*, *murawa*, хотя всем известны и их немазовецкие эквиваленты *bławatek* и т. д. Некоторые из этих малопольских форм отступают (например, *kwaśne mleko*), но, с другой стороны, малопольско-великопольское *ścieżka* в последнее время вытеснило в Варшаве мазовецкое *steczka*.

Несомненно, что в настоящий момент на формирование общепольского письменного и устного языка оказывает влияние разговорный язык варшавской интеллигенции, однако и в этом языке чисто мазовецких элементов относительно немного. В самой Варшаве се-

[1] Как это стало известно из докладов Роспонда, Курашкевича и других на «Сессии Возрождения».

годня уже режет слух произношение *lyst*, *lypa*, до второй мировой войны очень часто встречавшееся в речи варшавской интеллигенции; обычные еще перед первой мировой войной формы типа *rękamy*, *nogamy* совершенно исчезли из речи интеллигентных варшавян.

4

Как уже говорилось выше, чешское влияние на польский литературный язык совершенно прекратилось в конце XVI в. Но еще в первой половине этого столетия наметилось другое влияние, а именно — украинское. Нужно помнить, что в состав Речи Посполитой тогда входили огромные украинские территории, и это не могло не отразиться на положении обоих языков — польского и украинского. Белоруссия тоже целиком входила в границы Речи Посполитой, однако она принадлежала не Польше, а Литве, что частично ослабляло влияние белорусского языка на тогдашний польский.

До недавнего времени господствовало мнение, что восточнославянские языки начали оказывать влияние на польский литературный язык только в XVII в. А. Брюкнер, например, утверждал, что у Рея есть только чехизмы, но нет украинизмов, хотя он и родился над Днестром. Вопрос этот был пересмотрен уже в последнее десятилетие С. Грабецом[1], который неопровержимо доказал, что украинизмы есть не только у Рея и у уроженца польско-украинской пограничной области Берната из Люблина, но даже и у великополянина Клёновица, который долгое время жил в Люблине.

Украинское влияние, несомненно еще слабое в XVI в., в огромной степени усиливается в XVII в. Произведения тогдашних польских писателей ясно показывают, что украинский язык был знаком значительной части польской шляхты, даже происходящей из исконно польских земель (Збигневу Морштыну, Вацлаву Потоцкому и др.). Этому немало способствовали казацкие и турецкие войны и долгая военная служба польской шляхты на «окраинах». Однако были еще и другие причины распространения украинизмов (потом и белорусизмов, которые, впрочем, трудно отличить от украинизмов). Ведь многие могущественные знатные роды Речи Посполитой в XVII в. и позднее происходили из Украины или из Литвы (где, как известно, доминировал не литовский язык, а белорусский).

Из Украины или из Белоруссии происходили Вишневецкие, Радзивиллы, Сапеги, Сангушки, Острогские, Чарториские и др.— владельцы колоссальных имений на «окраинах», содержавшие собственные дворы и целые войска. Из этих родов вышло три короля (Вишневецкий, Собеский, Понятовский), из «окраин» происходил гетман Жулкевский и т. д. и т. п. Все эти люди говорили на польском языке, который возник на украинской и белорусской почве и содержал много «окраинных» слов. Однако именно этот «окраинный» польский язык и приобретал все больший и больший вес, потому что на нем говорили наиболее богатые и наиболее влиятельные в Речи Посполитой люди, а также и их окружение. Поэтому нас не должны удивлять слова поэта Корчинского о том, что польский язык с украинским произношением звучит как-то красиво.

Восточнославянское влияние продолжало расти еще и в период Просвещения. Из «окраины» происходили не только сам король и высшие магнаты, но и главные писатели эпохи Станислава (Нарушевич, Князьнин, Карпинский, Красицкий, Немцевич, Богомолец и др.). На четверговых обедах Станислава-Августа звучал, повидимому, прежде всего «окраинный» польский язык.

[1] S. Hrabec, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w. Toruń, 1949.

Чешское влияние отличалось от восточнославянского прежде всего тем, что осуществлялось главным образом через письменность, сначала рукописную, потом печатную; восточнославянское влияние шло исключительно путем восприятия на слух: через разговоры с «окраинниками». Поэтому неудивительно, что восточнославянские языки в известной степени воздействовали на фонетическую систему польского языка. Как убедительно показал К. Нитш в своем капитальном труде «Из истории польских рифм»[1], именно это влияние способствовало исчезновению в литературном польском языке суженного *a*, в то время как рефлексы этого *â*, отличные от *a* не суженного, до сегодняшнего дня сохранились в окрестностях всех важнейших польских культурных центров (Краков, Варшава, Познань). Восточнославянское влияние обусловило замену давнего польского *c* из *tj* звуком *cz* в определенных морфологических категориях, прежде всего в суффиксе *-icz* (совр. *panicz*, *królewicz*, раньше *panic*, *królewic*), затем в формах типа *szepczę*, *depczę* (в настоящее время, правда, избегаемых в литературном языке), в формах типа *roboczy*, *ochoczy* и т. д. Вопрос об этом новом *cz* в польском литературном языке лучше всего разработан Граппэном в его работе «Введение в изучение польского языка. Фонетика»[2].

«Окраинное» влияние ощущалось также благодаря творчеству Мицкевича, Словацкого и поэтов «украинской школы». Благодаря этому влиянию в польский литературный язык вошло и в известной степени закрепилось некоторое количество неизвестных ранее слов, таких, как *ruczaj*, *sioło* и т. д.

Итак, мы рассмотрели в общих чертах роль отдельных польских диалектов, а также соседних славянских языков (чешского, украинского и белорусского) в процессе формирования польского литературного языка — сначала письменного, а потом устного. Необходимо коснуться еще нескольких вопросов, связанных с нашей проблемой. Один из них — это вопрос о действительном или мнимом упадке или даже распаде литературного языка, якобы наметившемся в XVII в. и длившемся вплоть до эпохи Просвещения.

С моей точки зрения, распространенное мнение о наличии этого упадка не является справедливым. Упадок польской культуры в XVII в. был причиной обеднения и обмельчания содержания литературных произведений, снижения их художественной формы, однако никак не ликвидации единообразия норм литературного языка, обязательных и в дальнейшем на территории всего государства. Такие поэты, как Вацлав Потоцкий, который упорно пользовался определенными южнопольскими диалектизмами (и не только для характеристики своих персонажей), были единичными исключениями. Поэты-горожане первой половины XVII в. употребляют диалектизмы для высмеивания крестьян; это свидетельствует лишь об отчетливом ощущении различия между говором и литературным языком. Слов нет, в тогдашней письменности отмечаются известные малопольские, мазовецкие и другие областные элементы, однако такие местные разновидности литературного языка в достаточной мере известны и в настоящее время. В качестве доказательства упадка языка XVII в. ссылаются на неумеренное употребление макаронизмов. Нужно, однако, помнить, что их употребляли только в прозе и иногда для шутки в поэзии. Следовательно, макаронизмы никогда не были значительным элементом в литературном языке, и каждый поэт превосходно умел обходиться без них.

---

[1] K. Nitsch, Z historji polskich rymów, Warszawa, 1912.
[2] H. Grappin, Introduction phonétique à l'étude de la langue polonaise, Paris, 1944.

Доказательством упадка литературного языка считаются также мазуракающие и «сандомирские» рифмы у разных поэтов XVII в. Во-первых, нужно еще доказать, что в графике печатных текстов того времени, содержащих эти рифмы, последовательно проводилось различение *s*, *z*, *c*, *dz* и *sz*, *ż*, *cz*, *dż*, а также *ę* и *e*; ведь, как мы уже говорили, в XVI в. проходила нормализация письменного языка, но не устного. Во-вторых, это был тот период, когда распространявшиеся известные фонетические изменения были еще актуальными; так было, вероятно, с исчезновением *ę* в северной Малопольше, возможно также и с мазуреньем в части Малопольши. Вместо давних норм XVI в. теперь во многих случаях появляются новые, распространяющиеся на всю территорию Польши, что опять-таки представляет собой нормальное явление и нисколько не свидетельствует о «распаде» языка. Так, например, новое *bardzo* побеждает прежнее *barzo*, вместо прежнего *nå-* распространяется новое *naj-* (*najlepszy*; влияние Варшавы?). Впрочем такие диалектизмы, которые находят свое выражение в мазуракающих и «сандомирских» рифмах, исчезают на протяжении XVII в., а в XVIII в. их, видимо, не употребляет уже никто, даже в период наибольшего культурного упадка в саксонскую эпоху. Это указывает, однако, на продолжающееся укрепление и нормализацию литературного языка. Не нужно при этом забывать, что хотя основные превосходные краковские типографии XVI в. пришли в этот период в упадок, а частично даже совсем исчезли, именно в саксонскую эпоху, даже в захолустных местностях, возникло много типографий, которые печатали религиозную литературу, а также панегирики, эпитафии и т. п. Несмотря на низкий уровень этой письменности, она имела широкий круг читателей и уже тем самым способствовала распространению норм литературного языка.

Век Просвещения, эпоха Станислава принесли с собой сознательную культуру языка, заботу об устранении макаронизмов, выработку научной и технической терминологии и т. д. В это же время появляется грамматика Кончинского, которую в сокращенном издании вводили даже в начальные школы. Польский язык становится предметом изучения как в начальных, так и в высших школах. Несмотря на неблагоприятные условия в период разделов Польши, сознательная работа над языком продолжается. Даже в период разделов литературный язык не обнаруживает никакой тенденции к разложению, наоборот, он скорее становится более монолитным и общераспространенным. Распространение литературного языка значительно усилилось в Польше в XX в. (в период «двадцатилетия») в результате введения польских школ (которые, правда, никогда не охватывали всей молодежи школьного возраста) почти на всей польской территории. В настоящее время в Народной Польше проведена полная ликвидация неграмотности. Огромное увеличение числа читателей книг и газет и радиослушателей способствуют тому, что литературный язык распространяется необыкновенно быстро, а народные диалекты находятся на грани полного исчезновения.

Легко заметить, что в развитии польского литературного языка не было скачков. Несомненно, что если установление общих норм в XIV и XV вв. протекало медленно, то наступившее убыстрение темпа этого процесса в XVI в. было связано с введением книгопечатания и сознательной деятельностью печатников. Дальнейшая периодизация уже зависит от того, какую сторону литературного языка мы будем иметь в виду. За период со времени эпохи Просвещения язык польской народности сменился языком польской буржуазной нации, однако эта смена означает изменение ф у н к ц и и языка и не влечет за собой изменений его фонетической, морфологической и синтаксической с т р у к т у р ы. Если принимать во

внимание стиль литературных произведений, то нужно будет отличать период Возрождения, скорее пуристический, от периода макаронизмов (XVII в. и саксонская эпоха), распространенных, впрочем, только в прозе, и от повторного периода пуризма в письменном языке при одновременной моде на французские макаронизмы в языке устном (эпоха Станислава и позже). Наконец, необходимо также учитывать включение в поэзию эпохи романтизма народных элементов (скорее, впрочем, «окраинных», чем исконно польских).

Если говорить о внешнем влиянии, то в общих чертах можно противопоставить период чешского влияния периоду «окраинного» влияния и период влияния латинского языка периоду влияния языка французского и т. д. Периоды развития литературного языка, выделяемые на основании различных критериев, будут иногда совпадать друг с другом.

Последнее замечание: вполне понятно, что я не привел здесь даже приблизительно полной библиографии вопроса. Читатель найдет ее в ценном труде Курашкевича «Происхождение польского литературного языка в свете данных исторической диалектологии»[1]. Полную библиографию трудов проф. К. Нитша, из которых многие непосредственно или косвенно затрагивают вопросы литературного языка, содержит I том его «Избранных работ по полонистике»[2].

Перевел с польского

И. Оссовецкий

---

[1] W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław, 1953.

[2] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, t. I, Wrocław, 1954.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1956

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ФР. ТРАВНИЧЕК

ЗАМЕТКИ О «КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ»

Вопрос о «категории состояния», поставленный советскими учеными, возбуждает вполне понятный интерес языковедов-славистов. Но этот вопрос окончательно не решен. Не ставя своей задачей подробный разбор всех высказанных до сих пор доводов за и против «категории состояния», я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу изложения этого вопроса в книге «Современный русский язык. Морфология» [1], где «категория состояния» рассматривается как особая часть речи.

1. На стр. 397 о словах, принадлежащих к «категории состояния», говорится следующее: «Все слова данной группы характеризуются единым значением — выражением состояния» (разрядка моя.— *Ф. Т.*). Это утверждение о едином значении слов «категории состояния» — понятно, лексическом — не вполне убедительно.

В первую группу слов «категории состояния» «Совр. яз.» включает безлично-предикативные слова на *-о*, выражающие «состояние природы», «состояние среды», «физическое состояние живых существ», «психическое состояние человека, например, эмоциональное», «интеллектуальное состояние», «состояние с модальной окраской» и «оценку какого-либо состояния, положения» (стр. 399—400). Рассмотрим отдельные группы этих слов.

О словах *весело*, *грустно*, *жалко*, *смешно*, *страшно*, *стыдно* можно, конечно, сказать, что они выражают эмоциональное состояние человека, но точнее будет сказать, что они выражают различные чувства (эмоции), т. е. переживания человеком своего отношения к тому, что он познает и делает.

Чувства (а не «физическое состояние живых существ») выражают и такие слова, как *противно*, *бодро*, *приятно*, *смутно*, *гадко*.

Среди слов, выражающих «состояние среды», «Совр. яз.» приводит слово *уютно*. (*В номере было прибрано*, *светло*, *уютно*). Обстоятельство *в номере* создает впечатление, что *уютно* относится к имени существительному *номер* и выражает свойство, состояние номера. Но на самом деле слово *уютно* выражает не свойства номера, а вызванное этими свойствами чувство говорящего (пишущего).

Слова *понятно*, *ясно*, *интересно* в «Совр. яз.» приводятся как слова, выражающие «интеллектуальное состояние»; на самом же деле они выражают понятия об общих свойствах предметов или явлений. Например,

[1] «Современный русский язык. Морфология. (Курс лекций)», под ред. В. В. Виноградова, М., 1952, стр. 394—404. Дальше принимается сокращение: «Совр. яз.»; в тексте указываются страницы этого издания.

в предложении *Ведь ясно, что они все взорвут* слово *ясно* выражает качество той обстановки, в которой протекает высказывание.

О ряде слов говорится, что они выражают «оценку какого-либо состояния, положения». Это противоречит утверждению, что слова, входящие в «категорию состояния», «характеризуются единым значением — выражением состояния». Ведь оценка состояния или положения—не то же самое, что само состояние. Кроме того, приведенные здесь слова — *рано, поздно, далеко, близко, широко, высоко* и др. — выражают не оценку состояния или положения, но временные и пространственные понятия.

Утверждению о едином значении «категории состояния» противоречат приведенные на стр. 401 слова *видно, слышно* как «выражающие зрительные и слуховые восприятия», т. е. не выражающие ни состояния, ни оценки состояния.

Таким образом, мы видим, что слова на *-о* не имеют общего лексического значения, что они имеют разные лексические значения.

2. К тому же заключению мы приходим и при разборе второй группы слов, включаемых в «категорию состояния»,— «безлично-предикативных слов с формой существительного и наречия», выражающих «оценку состояния с морально-этической стороны», «с эмоциональной стороны», «с модальной стороны», а также «модально-волевые импульсы» (стр. 402—403). Здесь, во-первых, можно возразить, что оценка состояния — не то же самое, что состояние; во-вторых, что определение лексического значения этих слов как выражающих оценку состояния — неточно.

О словах *грех, стыд, срам, позор* говорится, что они выражают оценку состояния с морально-этической стороны; но точнее будет сказать, что они выражают чувства и в этом смысле не отличаются от слов *весело, стыдно*. Разные чувства, т. е. переживание человеком своего отношения к действительности и к собственной деятельности, выражают и слова *мука, жаль, страх, ужас*, о которых сказано, что они выражают оценку состояния с эмоциональной стороны. О словах *пора* (*Пора идти домой*) и *время* (*Время поумнеть*) в «Совр. яз.» читаем, что они выражают оценку состояния с модальной стороны, а именно — «необходимость действия во времени» (стр. 402). Однако ясно, что они выражают не оценку состояния, а собственно понятие времени. В этом они сходны со словами на *-о* (*рано, поздно*), о которых упоминалось выше.

Слова *лень, охота, неохота, неволя* рассматриваются как такие, «в которых выражаются модально-волевые импульсы»; здесь уже нет речи ни о значении состояния, ни о значении оценки состояния. Дальше говорится, что категория состояния может быть выражена и словом, образованным из существительного в сочетании с предлогом: *невдогад, не под силу* (стр. 402—403); лексическое значение этих слов вообще не определяется.

3. Таким образом, как слова на *-о*, так и слова с формой существительного и наречия, объединяемые внутри «категории состояния», со стороны лексических значений не образуют единой и однородной группы. Положение о том, что они выражают состояние или оценку состояния, не подтверждается анализом лексических значений отдельных слов или рядов слов этой группы.

С другой стороны, слова *тепло, холодно, весело, уютно, стыдно, ясно, высоко, далеко, поздно, стыд, страх, ужас, пора, время* в тех случаях, когда они выступают в качестве слов «категории состояния», лексически не отличаются от слов *тепло, холодно, стыд, страх* и т. п., употребляемых как имена существительные или наречия.

Наречие *весело* выражает чувство так же, как и «безлично-предикативное слово» *весело* (ср. *Весело улыбнулся* и *В городе было весело*); имя существительное *время* в предложении *Время тянулось* выражает понятие вре-

мени так же, как и «безлично-предикативное слово» *время* в предложении *Время поумнеть*. Различие между ними — не лексического характера, а синтаксического: оно создается функцией слова в предложении.

На стр. 404 читаем: «По внешней соотносительности форм категория состояния совпадает с формой существительного: *грех*, *смех*, *грусть*, *тепло* и с краткой формой имени прилагательного среднего рода и наречия: *грустно*, *весело*, *покойно*... Эта соотносительность обусловлена, видимо, тем, что категория состояния вербовалась из указанных частей речи. Переосмысление значения и новая синтаксическая функция этих групп слов и объединила обезличенные предикативные слова в особую часть речи — категорию состояния».

Если безлично-предикативные слова образуют особую часть речи, то они должны обладать такими свойствами, которыми они отличаются от остальных частей речи, в особенности от существительных, прилагательных и наречий. Однако свойства слов «категории состояния», приводимые в «Совр. яз.», по моему мнению, не таковы, чтобы здесь можно было говорить об особой части речи: слова эти остаются именами существительными, прилагательными и наречиями.

4. «Совр. яз.» различает две главные группы слов, входящих в «категорию состояния»: слова на *-о* — *весело*, *тихо*, *стыдно* и т. п. и слова типа *грех*, *страх*, *пора*. Обе группы называются безлично-предикативными словами; таким образом,в качестве объединяющего признака берется функция этих слов в предложении — предикативная. На стр. 394 говорится: «Слова, входящие в категорию состояния, служат в предложении сказуемыми». Это определение, по моему мнению, неточно, и эта неточность влечет за собой неправильное понимание обеих групп слов и с других точек зрения.

Несомненно, что во всех случаях, где встречаются слова, включаемые в «категорию состояния», речь идет о безглагольных предложениях[1]. Типы безглагольных предложений многообразны, ср.: *Глупости*; *Пустяки*; *Пожар! Честное слово*; *Интересное лицо*; *Такая беда!* Обычны и предложения типа *Он здоров*; *Пушкин — великий русский писатель*; *Он далеко*. Последние предложения являются двусоставными. Их сказуемое выражает именем существительным, прилагательным или наречием то, что приписывается подлежащему как носителю определенного свойства, или же констатирует, что подлежащее находится в определенных обстоятельствах. Этим данные предложения отличаются от двусоставных глагольных предложений, сказуемое которых выражает действие, протекающее во времени и приписываемое подлежащему как носителю действия.

Безглагольные предложения типа *Пустяки*; *На сцене тихо* — односоставны. Единый член предложения (*пустяки*, *тихо*) является здесь носителем функции целого предложения. Среди глагольных предложений мы находим односоставные предложения *Морозит*; *Горит*; *Стемнело*; *Дождило* и т. д. Глагол выражает здесь определенное действие просто как протекающее во времени, никому не приписываемое.

В односоставных безглагольных предложениях, так же как и в глагольных, нельзя говорить о сказуемом: сказуемое бывает только в двусоставных предложениях.

5. В безглагольных односоставных предложениях *На сцене тихо* и *Пора идти* слова *тихо* и *пора* по «Совр. яз.» являются «категорией состояния». Однако это понимание неубедительно. Мы видели, что эти слова выступают как единый член предложения, выражающий существование,

[1] Глагол *быть*, который в них иногда встречается (*Было весело*), является связкой. Синтаксическим ядром предложения здесь служит не этот глагол, а имя существительное, или прилагательное, или наречие.

наличие того, что они называют. Такие единые члены предложения есть и в безглагольных предложениях типа *Пустяки*, в которых имена существительные в полной мере сохраняют свое значение как данной части речи.

Здесь можно сослаться и на двусоставные безглагольные предложения типа *Он здоров* и *Пушкин — великий русский писатель*, где прилагательное *здоров* и существительное *писатель*, сохраняя свои категориальные значения, выражают наличие, существование так же, как и единые члены в односоставных предложениях.

Из этого видно, что функция в предложении слов *тихо* и *пора* сама по себе не может быть причиной их перехода в «категорию состояния». Напротив, как раз имена существительные, прилагательные и наречия больше других слов способны выражать существование, наличие того, что ими называется.

Рассмотрим другие признаки, которые «Совр. яз.» приводит как свидетельство перехода имен существительных, прилагательных и наречий в «категорию состояния».

6. В качестве специфического признака безлично-предикативных слов *нужно, должно, надо, можно, невозможно, необходимо* «Совр. яз.» указывает, что «эти слова почти всегда сочетаются с инфинитивом» (стр. 400), например: *Можно ли ему верить? Мне нужно видеть Павла Корчагина.* То же самое наблюдается у «безлично-предикативных слов» с формой существительного и наречия: *Грех утаить*; *Пора идти домой*; *Не под силу нам стоять* (см. стр. 402—403).

Сочетаемость с инфинитивом — очень интересное явление, но нужно помнить, что оно обычно и для имен существительных и прилагательных; например: *Пришла ей пора опомниться*; *Какое счастье во-время умереть*; *Мысль остаться приходила ей в голову*; *Я рад видеть вас*[1]. Поэтому невозможно ссылаться на сочетаемость с инфинитивом как на особенность, составляющую характерную и специфическую черту «безлично-предикативных слов» и отличающую их от других частей речи.

Нельзя также ссылаться на то, что «связка стала характерной приметой слов категории состояния и отстоявшимся синтаксическим признаком предикативных слов» (стр. 398). Связка обычна и в двусоставных предложениях типа *Он был здоров*; *Пушкин был великий писатель*, где имя прилагательное и существительное в полной мере сохраняют свои значения как данные части речи. Поэтому наличие связки в предложениях типа *На сцене было тихо* не может свидетельствовать о переходе наречия *тихо* в «категорию состояния».

7. На стр. 397 говорится: «Категория состояния никаких слов не определяет в отличие от наречия и прилагательного, например: *И скучно, и грустно*» (имеется в виду, что наречие определяет глагол: *скучно рассказывает, грустно улыбнулся* и т. п.).

Наречие, определяющее глагол, является второстепенным членом предложения. Слово *тихо* в предложении *На сцене тихо* имеет иную функцию: это — единый член предложения, носитель функции целого предложения, выражающий наличие, существование того, что слово *тихо* обозначает своим лексическим значением. В этой функции, вполне естественно, слово *тихо* и не может определить другое слово так, как слово *скучно* определяет глагол *рассказывает*, т. е. не может быть второстепенным членом

[1] То же самое мы видим во всех славянских языках; например, в чешском: *Je čas jíti na dráhu* «Время идти на станцию»; *Je škoda o tom mluvit*, дословно: «Не стоит того об этом говорить»; *Jsem ochoten v m pomoci* «Я готов вам помочь»; *Je schopen to udělat* «Он способен это сделать». В древнечешском языке инфинитив в таких сочетаниях употребляется чаще, чем в современном: *Miesto jest dobré bydliti* «Место хорошо для жилья»; *Chléb jest tvrd jésti* «Хлеб тверд для еды».

предложения. Таким образом, разница между *скучно* и *тихо* в предложениях с разной структурой касается различной функции этих слов в предложении, но не их значения как частей речи.

8. По «Совр. яз.» между наречиями и «категорией состояния» выявляется следующее различие:«... Большинство наречий, в которых нет лексического значения состояния, ...не могут стать сказуемым, например такие слова как: *медленно*, *быстро*, *громко*, *резко*, *поспешно*, *трусливо*, *храбро*, *коротко*, *длинно*, перейти в категорию состояния не могут» (стр. 401—402). Иными словами, перечисленные наречия не могут стать односоставными предложениями: нельзя сказать *Было медленно* и т. п. Однако из этого не следует, что те наречия, которые могут стать односоставными предложениями, перестали быть наречиями и переродились в «категорию состояния». Возможность и способность наречий выполнять функцию односоставных предложений зависит от их лексического значения; вполне естественно, что некоторые значения с этой функцией не совмещаются.

9. На стр. 397 читаем: «Категория состояния не согласуется, не управляется. Она может сочетаться со связкой. Распространяется она формами имен существительных и местоимений в дательном падеже без предлога, а с предлогами в родительном и предложном. Например: *Ему весело. Тебе стыдно... В лесу темно*». И далее: «Относясь к субъекту, категория состояния употребляется с субъектом только в дательном падеже, например: *Тебе стыдно. Вам было весело. Вам жаль*».

То, что слова «категории состояния» не согласуются и не управляются — вполне естественное следствие их функции в предложении. Однако это не является особенностью именно этих слов, ибо то же самое мы видим и в других безглагольных и глагольных односоставных предложениях (*Пустяки*; *Морозит* и т. п.). Поэтому отсутствие согласования и управления у слов *тихо*, *весело*, *жаль* и т. п. не свидетельствует о переходе их в «категорию состояния». Кроме того, общеизвестно, что дательный падеж субъекта встречается не только в односоставных безглагольных предложениях типа *Тебе стыдно*, но и в односоставных глагольных предложениях: *Мне хочется*; *Ей взгрустнулось*; *Мне худо спалось* и т. п. Следовательно, на дательный падеж в предложениях типа *Ему весело* нельзя ссылаться как на доказательство перехода слов *весело* и под. в «категорию состояния».

10. Из всего сказанного следует, что хотя «Совр. яз.» и приводит целый ряд особых признаков слов на *-о*, но среди этих признаков нет ни одного, который отличал бы эти слова от других частей речи настолько, чтобы можно было считать «безлично-предикативные слова» на *-о* особой частью речи.

Положение о том, что слова на *-о* образуют особую часть речи, существенно отличающуюся от наречий, часто вступает в явное противоречие с действительным синтаксическим характером этих слов. По «Совр. яз.» *весело* в предложении *Сказал весело* и *тепло* в предложении *Принимали нас тепло* являются наречиями, в то время как в предложении *У нас весело, тепло* —«категорией состояния», хотя в обоих случаях эти слова имеют обстоятельственное значение, т. е. выступают как наречия. Видеть в этом функциональном различии различие слов как особых частей речи — неправильно.

О наречном характере слов на *-о* в предложениях типа *На сцене тихо* прямо свидетельствуют и другие обстоятельства: во-первых, то, что эти слова сохраняют сравнительную степень; во-вторых, то, что они, как и другие наречия, могут определяться наречиями (*Очень жарко*; *Мне становилось ужасно весело* и т. д.).

11. Особую группу слов, входящих в «категорию состояния», образуют, по мнению «Совр. яз.», безлично-предикативные слова с формой существительного и наречия. Слов с формой наречия только два (*не под силу*, *невдогад*), так что их можно оставить в стороне. Выше мы видели, что слова с формой существительного имеют некоторые общие черты со словами на *-о*, но эти черты не свидетельствуют о принадлежности этих слов к «категории состояния». Обратим теперь внимание на их особые черты. Одна из них заслуживает особого внимания. Это — сочетаемость слов мужского и женского рода со связкой в форме среднего рода: *Ему стало еще больше жаль парня; Грех было смеяться*; *И охота было не слушаться*. Связка среднего рода свидетельствует о том, что родовое значение этих имен существительных ослаблено. Однако можно ли из этого сделать вывод, что эти имена существительные перешли в «категорию состояния»? Думаю, что это невозможно. Эти имена существительные имеют функцию единого члена предложения и выражают существование того, что они называют. Мы видели выше, что способность выражать существование, наличие чего-либо имеют имена существительные, прилагательные и наречия. В связи с этим напрашивается объяснение, что понимание этих имен существительных изменилось в рамках данных трех частей речи: имена существительные *грех*, *охота*, *жаль*, *лень* стали пониматься как наречия, поэтому и связка женского рода изменилась в связку среднего рода[1].

Адвербиализация имен существительных произошла в русском языке и в других случаях. Ср. *правда* (*Это, правда, дорого, но красиво*), *раз*, *однажды*, *когда-то*. В других славянских языках наблюдается адвербиализация имен существительных в односоставных предложениях там, где в русском языке в настоящем времени имеется предложение без связки. Например, в чешском языке: *Je mně zima*, *bylo mně zima* «Мне холодно», «Мне было холодно» (*zima* = русск. *холод*). Об адвербиализации имени существительного *zima* свидетельствует не только связка среднего рода, но и то, что оно определяется не именем прилагательным, а наречием: *Je* (*bylo*) *mně velmi zima* «Мне очень холодно», «Мне было очень холодно». В значении «зимнее время» у слова *zima* адвербиализации не происходит; поэтому здесь глагол имеет форму женского рода: *Byla zima* «Была зима», и определение здесь выражено прилагательным: *Byla velká* (*tuhá*, *dlouhá*) *zima* «Была суровая (жестокая, долгая) зима»[2].

12. Утверждение о переходе имен существительных в «категорию состояния» не имеет за собой достаточной аргументации. «Совр. яз.» исходит из предположения, что *Грех было смеяться* было личным предложением, в котором *грех* служило подлежащим. «Затем *грех* в силу своего лексического значения стал выражать этическо-моральную оценку — состояние, тем самым это слово переставало быть существительным...» (стр. 403).

---

[1] Акад. В. В. Виноградов в кн. «Русский язык. (Грамматическое учение о слове)» (М.— Л., 1947, стр. 417) приводит следующие параллельные конструкции: *Уже пора было уезжать // Пора была уезжать*; *Лень было заниматься// Лень была приниматься за уроки*; *Охота было спорить с ним// Охота была тебе с ним спорить*.

[2] Характерно, что подобное понимание слов и как существительных, и как наречий встречается в чешском языке также и у слов на *-о*; например: *Je velké teplo, chladno, sucho... //Je velmi teplo...* «Очень большая жара, холод, сушь...» // «Очень тепло, холодно, сухо». Связки в обоих случаях среднего рода, но когда слово понимается как существительное, то определение выражено именем прилагательным, при понимании слова как наречия — наречием. В первом случае мы имеем дело с субстантивацией кратких имен прилагательных на *-о*. Ср. и русск. *тепло* в функции имени существительного. В русском языке в односоставных предложениях типа *На сцене тихо* слова на *-о* выступают большей частью как наречия. Историческое изучение, может быть, показало бы, что и здесь в более древнюю эпоху они понимались как существительные.

Слово *грех*, несомненно, изменило в историческое время свое первоначальное значение; но дело не в том, выражает ли оно этическо-моральную оценку или что-нибудь другое. Нельзя согласиться с тем, что вследствие изменения лексического значения слово *грех* «переставало быть существительным». Перемены в лексическом значении сами по себе никогда не могут быть причиной изменения значения слова как части речи. Такое изменение может вызываться только грамматическими причинами, точнее — синтаксическими изменениями в структуре предложения. Повидимому, имя существительное *грех* в предложении *Грех был* под влиянием односоставного предложения *Грешно было* начало пониматься как наречие.

13. Акад. В. В. Виноградов обратил внимание на характерную черту безлично-предикативных слов на *-о*: «Некоторые слова этой группы приобретают... способность управлять винительным падежом прямого объекта»[1]: *Мне нужно метр шелку*; *Было видно весь город*; *Слышно крик петуха*; *Больно ноги*. По всей вероятности, здесь мы имеем дело с влиянием глаголов, со своеобразной вербализацией слов на *-о*. В односоставных предложениях формы *видно*, *слышно* начали пониматься в значении инфинитивов *видать*, *слыхать* и под их влиянием укрепились конструкции типа *Видно город*, *Слышно крик*. По их образцу возникла конструкция с винительным падежом также у наречий *нужно* и *больно*.

Слова на *-о*, по своему происхождению являющиеся краткими формами имен прилагательных, первоначально сочетались с родительным падежом, который частично удерживается и до сих пор: *Мне нужно денег*; *Мне становилось стыдно и других, и самого себя*. Здесь можно провести параллель с *жаль*, которое по своему происхождению является именем существительным: *Ему стало еще больше жаль парня*. На архаичность этой конструкции указывает то, что она встречается в «Слове о полку Игореве»: *жаль бо ему мила брата Всеволода*.

В древнечешском языке наблюдается другой способ вербализации односоставных безглагольных предложений. Он заключается в том, что наряду с дательным падежом лица *Je mi strach*, буквально: «Есть мне страх» употребляется также винительный падеж *Je mě strach, smrt, div, hanba..*, буквально: «Есть меня страх, смерть, чудо, стыд». Проф. И. Зубаты в своих университетских лекциях объяснял это так, что номинальное предложение *Страх* понималось как глагольное, в значении «Страшит», и под влиянием этого возникла конструкция *Strach mě*, буквально: «Страх меня».

Результатом вербализации является то, что в древнечешском языке встречается *nelze* («нельзя») в значении «не может», и далее то, что из *nelze* произошли немногочисленные глагольные формы *nelzeme* «мы не можем» и прошедшее время *nelzelo* «было нельзя». Подобным образом возникла живая до сих пор форма восточнословацкого прошедшего времени *trebalo* «было надо». В сербском языке существует также 1 е и 2 е лицо множественного числа *trebamo, trebate*. Проф. Зубаты указывал на литовское *reikéjo* «было нужно», будущее время *reikesi* «будет нужно», возникшее из имени существительного *reikia*, и на подобное греческое будущее время χρήσει, прошедшее ἔχρη.

Адвербиализация безглагольных субстантивных предложений означает их слияние с безглагольными наречными предложениями. Этот процесс протекает внутри самих безглагольных предложений; нет ничего невозможного в том, что это слияние двух безглагольных типов в один наступило под косвенным влиянием глагольных предложений.

Вербализация означает прямое влияние глагольных предложений на

[1] «Русский язык», стр. 408.

предложения безглагольные. Она проявляется в том, что имена существительные, прилагательные и наречия безглагольных предложений воспринимают от определенных глаголов некоторые их признаки, характеризующие эти глаголы как часть речи. Степень вербализации может быть различна. В случаях типа *nelzeme*, *nelzelo* мы имеем дело с вербализацией в полной мере, с переходом имени существительного, прилагательного или наречия в глагол. Эта вербализация, однако, осуществилась только у некоторых слов и форм, и в ряде случаев язык от нее со временем отказался; так, в современном чешском языке нет ни *nelzeme*, ни *nelzelo*. В русском же языке такой полной вербализации, повидимому, вообще не происходило.

Другой характер носят конструкции типа русск. *Видно город* и др.-чеш. *Strach mě*. Имена существительные, прилагательные и наречия не приобретают здесь под влиянием глаголов новых форм, но вступают в иные сочетания, образуют новые конструкции: сочетания с родительным падежом (*Видно города*) и с дательным падежом (*Strach mi*) заменяются сочетаниями с винительным падежом. Изменение конструкции не касается характера этих имен существительных, прилагательных и наречий как частей речи.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что при решении вопроса о «категории состояния» нельзя обойтись без подробного изучения истории всех безглагольных предложений и без изучения современных диалектов славянских языков; сравнительный метод принес бы здесь ценные результаты. Я считал бы свою задачу выполненной, если бы мои заметки послужили поводом для дальнейшего изучения этого важного вопроса.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1956

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. С. ЧИКОБАВА

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О ПОСТРОЕНИИ КУРСОВ ПО ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

На страницах журнала «Вопросы языкознания» (1952, № 4; 1953, №№ 1, 3, 4, 5) был опубликован ряд статей, посвященных преподаванию общелингвистических дисциплин вообще и «Введения в языкознание» в особенности. Вопросы, затронутые в этих статьях, столь же актуальны, сколь сложны и неясны. В статье «К итогам обсуждения курса „Введение в языкознание“» (ВЯ, 1954, № 1) Ф. Ф. Кузьмин отмечает: «Среди ряда вопросов, связанных с задачами подготовки квалифицированных кадров языковедов, вопросы преподавания общелингвистических дисциплин в высшей школе, а из них в первую очередь курса «Введение в языкознание», привлекают особое внимание широких кругов советских языковедов...

К сожалению,— пишет дальше Ф. Ф. Кузьмин,— дискуссия на тему о постановке и содержании курса «Введение в языкознание», проведенная на страницах нашего журнала, осветив по преимуществу некоторые частные моменты в организации и построении курса, почти не коснулась тех общих, принципиальных вопросов, какие по существу должны быть разрешены или хотя бы быть поставлены в первую очередь при рассмотрении проблемы преподавания указанной дисциплины».

Этим словам нельзя отказать в справедливости. Наименее ясными являются именно эти общие принципиальные вопросы: вопросы состава общелингвистического цикла предметов, взаимоотношения их, построения каждого из них.

В редакционной статье журнала «Вопросы языкознания» (1954, № 2) фактически отклоняется существовавшее до сих пор построение курса «Введение в языкознание» и мимоходом выдвигается новое понимание. Однако вопрос слишком сложен для того, чтобы его решать мимоходом. Следовало ожидать, что это новое понимание будет обосновано в специальной статье, чтобы можно было судить, на каких положениях оно строится, к чему обязывает и какими преимуществами обладает. Обоснованное новое понимание вызвало бы обмен мнениями и оказало бы помощь при уточнении имеющейся программы или же при разработке новой программы. К сожалению, пока такой статьи не имеется.

Мы остановимся ниже на двух вопросах: 1) какой общелингвистический предмет следует включать в минимум филологического образования и почему? Как строился он в старых университетах, как должен строиться в настоящее время? 2) какие общелингвистические предметы, кроме «Введения», следует предусмотреть для специалистов по языку (для лингвистического профиля)? Касаясь этих во-

просов, мы надеемся, что они станут поводом для более ясной формулировки задач, для уяснения существующих пониманий и тем помогут правильному решению задачи.

*

В российских университетах дооктябрьского периода из общелингвистических предметов преподавалось одно лишь «Введение в языкознание» как теоретическая дисциплина, органически связанная со сравнительной грамматикой индоевропейских языков. Иногда соответствующий курс именовался «Общим языковедением». Отличаясь по объему, этот курс по своему существу — по постановке и трактовке вопросов — не отличался от «Введения».

Как понималось в дореволюционные годы содержание курса по «Введению в языкознание»? Понималось оно по-разному.

Характерно высказывание автора одного из курсов «Введения», составленного довольно интересно, проф. Д. Н. Кудрявского. Он писал (в 1912 г.): «„Введение в языкознание“ не представляет из себя особой научной дисциплины. Курсы введения в языкознание, читаемые в наших университетах, вызваны исключительно практическими требованиями преподавания. Лица, которые имеют в виду заниматься сравнительною грамматикою индоевропейских языков, должны предварительно познакомиться с некоторыми общими вопросами языкознания и усвоить основные положения некоторых дисциплин, находящих приложение в сравнительной грамматике. Такова, например, физиология звука, рассматривающая физические условия произношения и восприятия звуков человеческой речи. С этой точки зрения содержание „Введения в языкознание“ может быть охарактеризовано как лингвистическая пропедевтика. Но те же самые общие вопросы языкознания имеют и общеобразовательное значение и знакомство с ними необходимо всем, занимающимся филологией в широком смысле этого слова... Эти обстоятельства и заставляют выделять из обширной области языкознания особый курс введения в эту науку. Но те же самые обстоятельства обусловливают и некоторую неопределенность содержания такого введения. Один предпочитает излагать в общем курсе введения в языкознание те вопросы, которые другой разбирает в курсе сравнительной грамматики. Такой субъективизм в выборе материала неизбежен и нередко вызывается практическими требованиями экономии времени»[1].

Итак, для курса «Введение в языкознание» Д. Н. Кудрявский считает характерным его связь со сравнительной грамматикой (индоевропейских языков) и вытекающую отсюда необходимость фонетики («физиологии звука»). «Общие же вопросы языкознания», оказывается, следует включить в «Введение» в целях общеобразовательных — для всех, занимающихся филологией. Неизбежный результат вышеуказанных обстоятельств —«неопределенность содержания» такого «Введения». Достаточно сличить основные разделы известных старых курсов по «Введению», чтобы убедиться в справедливости слов Д. Н. Кудрявского о «неопределенности содержания» этих курсов.

«Введение» Д. Н. Кудрявского касается следующих вопросов: 1) язык (выяснение термина «язык», определение человеческого языка, грамматика и логика, язык — деятельность, язык и звуки животных, междометие и слово, природа слова); 2) морфологическая классификация языков; 3) генеалогическая классификация языков; 4) происхождение языка; 5) вспомогательные дисциплины языкознания; 6) физиология звука;

[1] Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, Юрьев, 1912, стр. 1.

7) психологический фактор в языке; 8) грамматический строй индоевропейских языков.

Отрасли языкознания тут представлены фактически лишь фонетикой (лексикология, семасиология, морфология, синтаксис и их основные понятия остались незатронутыми). Но дело не в этих пробелах. В расчленении наличного материала не имеется никакой последовательности. Ни о какой целостности содержания тут не приходится говорить.

Одним из наиболее удачно составленных учебных пособий по «Введению в языкознание» считался известный учебник профессора Московского университета В. К. Поржезинского. В этом учебнике рассматриваются следующие вопросы: 1) предмет языковедения, задачи и методы этой науки; 2) важнейшие моменты в истории науки о языке; 3) генеалогическая классификация языков: индоевропейская семья языков, неиндоевропейские языки; отношение генеалогической классификации языков к классификации человеческих рас по соматическим признакам; 4) физиология звуков речи; 5) знаки языка как факты духовной деятельности; 6) отдельные слова языка, формы в языке, образование форм самостоятельных слов, формальные классы слов, морфологическая классификация языков; 7) словосочетание и предложение; 8) изменение фактов языка; 9) вопрос о происхождении языка, искусственные языки; 10) индоевропейский праязык и доисторические эпохи в жизни индоевропейцев[1].

Как видно из этого перечня, отрасли языкознания здесь представлены полнее: за фонетикой («физиологией звуков речи») следует семасиология («знаки языка как факты духовной деятельности»), затем рассматриваются вопросы морфологии и синтаксиса. Генеалогическая классификация дана до фонетики. Морфологическая классификация увязана с морфологией, что не лишено основания, но эти две классификации рассматриваются в разных местах книги.

О сущности языка говорится лишь мимоходом во вводной части: «Объектом исследования в науке о языке является человеческий язык. Языком в наиболее общем значении этого термина мы называем совокупность таких знаков наших мыслей и чувств, которые доступны внешнему восприятию и которые мы можем обнаруживать, воспроизводить по нашей воле»[2].

Вопрос о происхождении языка, оказавшись в конце, скорее выглядит привеском, чем органической частью книги; равным образом и последняя пространная глава об индоевропейском праязыке и доисторических эпохах в жизни индоевропейцев служит как бы приложением к книге и лишь механически связана с предыдущей главой о происхождении языка и искусственных языках.

«Задачею науки о языке является изучение истории человеческого языка в ее полном объеме, а здесь прежде всего требуется определение родственных отношений между языками, некогда существовавшими и существующими в настоящее время»,— замечает Поржезинский[3], поясняя переход к «генеалогической классификации языков»; но об истории человеческого языка (т. е. о процессах, имеющих место в развитии языков) ничего не сказано: «изменение фактов языков» изложено в конце (после фонетики, семасиологии, морфологии, синтаксиса) на стр. 158—206. Ценным является изложение «важнейших моментов в истории науки о языке»[4].

Для теоретических установок В. К. Поржезинского показателен психологизм: в психологии он стремится найти объяснение языковых фак-

[1] См. В. Поржезинский, Введение в языковедение, 4-е изд., М., 1916.
[2] Там же, стр. 7.
[3] Там же, стр. 51.
[4] Там же, стр. 15—51.

тов. «Психология,— пишет В. К. Поржезинский, — разъясняет нам далее сущность и течение тех процессов нашей внутренней жизни, которые имеют ближайшее отношение к устной и письменной речи, так что наука о языке, отправляясь от этих данных, имеет возможность разбираться в самых фактах языка...»[1].

Таким образом, «Введение» В. К. Поржезинского, несмотря на бо́льший объем и на бо́льшую обстоятельность изложения, так же лишено цельности построения, как и «Введение» Д. Н. Кудрявского, оно так же опирается на психологию (при объяснении явлений), так же ориентируется на индоевропейские языки, так же уделяет мало внимания общепринципиальным вопросам сущности и развития языка.

Относительно больше внутреннего единства в «Кратком введении в науку о языке» проф. Д. Н. Ушакова[2]. За краткой «вводной частью» (глава первая), дающей на 7 страницах сведения о языке и языковедении («цель и предмет» языковедения, «живые и мертвые языки», «родственные языки», «язык и диалект», «родство языков и родство рас», «грамматика школьная и научная», «психология, логика, грамматика» и др.), следуют главы, анализирующие звуки (описательная фонетика), формы (вопросы морфологии), слова (их классификация по значению, по формам; части речи), предложение (вопросы синтаксиса).

После этого дана «генеалогическая классификация языков» (морфологическая классификация включена в главу о формах слова). Но после генеалогической классификации языков выделена специальная глава, посвященная «происхождению языка; возникновению и исчезновению языков». Вслед за этим рассматривается «жизнь языка»: изменение звуков, изменение значений, утрата слов и появление новых слов, изменение форм слов. Таким образом, звуки анализируются во второй главе, значения — в третьей, формы — в четвертой, слова — в пятой, а изменения звуков, значений, форм (слов) и слов как лексических единиц — в главе девятой.

Можно ли понять «родство языков» (глава первая) и основанную на нем «генеалогическую классификацию» (глава седьмая), если об изменениях, возможных в языке, о развитии языков (без чего немыслимо понятие родственных языков, немыслима генеалогическая классификация) сведения даются лишь в самом конце книги, в главе девятой. Последние две главы лишь механически связаны с предыдущим материалом. Глава «жизнь языка», оказавшаяся в самом конце, резко нарушает относительную целостность построения книги.

Изложение в «Кратком введении» Д. Н. Ушакова ясное. Но положения даются без обоснования. Бросается в глаза крайне краткое — подчас конспективное по стилю — изложение вопросов сущности и развития языка. Психологизм ярко проявляется в трактовке основных вопросов.

Университетский курс по языкознанию не всегда назывался «Введением в языкознание». Его место иногда заступало «Общее языковедение» («Общее языкознание»)[3]. В каком отношении находился курс «Общее язы-

[1] Там же, стр. 8.

[2] Д. Н. Ушаков, Краткое введение в науку о языке, М.: 1-е изд.— 1913, 9-е изд. (последнее) — 1929.

[3] Иногда то, что обычно подразумевалось под «Введением в языкознание» или под «Общим языкознанием», в зарубежных странах обозначали термином «Языкознание». Такова, к примеру, книжка датского языковеда К. Сандфельд-Енсена «Языкознание» (нем. перевод — 1915). Она включает: 1) введение; 2) жизнь и развитие языка (изменения в словах, в словарном составе, изменения звуковые, изменения значений, изменения в словосочетаниях; влияние других языков); 3) образование диалектов; 4) родство языков и семьи языков; 5) языкознание и история. Отрасли языкознания здесь выпали из поля зрения. Наличный материал изложен последовательно.

К типу вводных курсов относятся: «Язык» Л. Блумфилда (1933, на англ. яз.), «Философия языка» А. Дюза (1932, на франц. яз.), значительно

коведение» к курсу «Введение в языкознание»? Об этом можно судить по книге профессора одесского университета А. И. Томсона «Общее языковедение»[1].

Во вводной части «Общего языковедения» А. И. Томсона изложены предварительные сведения о языке и языковедении, место языковедения среди других наук, деление языковедения на отделы и беглый обзор истории языковедения. За вводной частью следует классификация языков: морфологическая, генеалогическая (индоевропейская семья языков, генеалогическая классификация языков, не принадлежащих к индоевропейской семье). После классификации языков А. И. Томсон переходит к общему анализу процесса речи, к рассмотрению «центральной нервной системы языка». Далее идут: 1) фонетика и фонетические изменения, 2) общая семасиология, 3) общая грамматика; 4) изменения языка по аналогии и некоторые другие виды изменения языка; 5) изменения языка в словах, в формах слов и в формах синтаксических словосочетаний; 6) возникновение диалектов, смешение и вымирание языков; 7) искусственные языки; 8) происхождение языка; 9) прикладное языковедение и последняя глава — письмо.

По объему «Общее языковедение» А. И. Томсона в два раза больше «Введения» В. К. Поржезинского (и раза в три превосходит «Краткое введение» Д. Н. Ушакова). Что же касается построения, то оно аналогично «Введению»: после вводной части дается классификация языков, рассматриваются отрасли языкознания (очень подробно фонетика!) и лишь затем — изменения языка, изложенные более обстоятельно, но без постановки основных вопросов развития; о сущности языка говорится (весьма кратко) в начале, о процессах развития языка — в конце. Язык, его сущность, развитие, происхождение рассматриваются в различных местах, в отрыве друг от друга.

«В изложении,— пишет в предисловии А. И. Томсон,— соблюдалась методичность, необходимая в учебнике. Ввиду сложности предмета нередко нужно было или делать ссылки на следующее дальше изложение, или разбивать естественные отделы, излагая их по частям, по мере надобности для понимания последующего. Для учебника обыкновенно пригоден только последний прием. Таким образом, скачки из одной области языка в другие объясняются из внутренней органической последовательности в изложении»[2].

«Скачки из одной области в другую», конечно, совершенно исключают «органическую последовательность». Быть может, способ трактовки вопроса в «Общем языковедении» А. И. Томсона отличен от приемов, используемых во «Введениях»? Быть может, в «Общем языковедении» положительное решение предваряется критическим анализом иных, неприемлемых толкований? Отнюдь нет: «Научный учебник,— пишет А. И. Томсон,—

более последовательный в членении материала, чем труд Л. Блумфилда, «Язык» О. Есперсена (1922, на англ. яз.; нем. перевод — 1925).

Из вводных курсов наиболее интересными, к тому же цельными по построению являются: «Язык. Лингвистическое введение в историю» Ж. Вандриеса (русск. перевод — 1937; последнее франц. изд.— 1950); «Язык. Введение в изучение речи» Э. Сепира (русск. перевод — 1934). Систематический курс — своеобразного построения — дан в «Принципах истории языка» Г. Пауля (4-е нем. изд.— 1909) и в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра (русск. перевод — 1933; 3-е франц. изд. — 1931). Труд Г. Габеленца «Языкознание, его задачи, методы и достигнутые результаты» (1891, на нем. яз.) включает большой и разнородный материал, но вряд ли может рассматриваться как цельный курс и, конечно, не подходит под категорию учебного курса (так же, как и большинство из вышеназванных трудов).

[1] А. И. Томсон, Общее языковедение, Одесса, 1906.

[2] Там же, стр. VII.

должен содержать прежде всего твердо установленные общепринятые истины в возможно объективном изложении. Составить такую компиляцию по общему языковедению в настоящее время еще невозможно. Разные отделы и отдельные вопросы разрабатывались разными учеными, во взглядах которых существуют нередко принципиальные разногласия, как, напр., в общих взглядах на психологию языка, на разные стороны фонетики и проч. Из сводки таких различных взглядов и более частных фактов, получивших поэтому разнородное освещение, нельзя составить целого... Указания на... различия во взглядах в элементарном учебнике языковедения совершенно немыслимы. Они запутали бы начинающего»[1].

Из сказанного следует: «Общее языковедение» А. И. Томсона не отличается от «Введения» ни по цельности изложения, ни по способу трактовки обсуждаемых вопросов; оно выглядит как расширенное «Введение».

*

Суммируя краткий обзор характерных особенностей ряда дореволюционных учебников по языкознанию (Д. Н. Кудрявского, В. К. Поржезинского, Д. Н. Ушакова, А. И. Томсона), можно заключить:

1. В университетах дореволюционной России преподавался лишь один общелингвистический предмет; назывался он обычно «Введением в языковедение» (или «Введением в языкознание»), реже — «Общим языковедением».

2. «Введение в языковедение» в основном строилось на анализе материалов индоевропейских языков. Более того: «Введение в языкознание» как теоретическая дисциплина по своей целеустановке было связано со сравнительной грамматикой индоевропейских языков; оно прежде всего служило введением в сравнительную грамматику индоевропейских языков. Об этом прямо говорит Д. Н. Кудрявский в приведенной выше цитате.

Отдельной кафедры общего языкознания в старых университетах не имелось: общее языкознание было представлено на кафедре сравнительного языковедения (и санскрита), т. е. на кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков.

3. При таком положении вещей становится вполне понятным, если стержнем курса (по «Введению в языкознание») оказывались разделы, посвященные фонетике и генеалогической классификации языков. Генеалогическая классификация индоевропейских языков при этом излагалась подробно — с учетом состава всех «ветвей индоевропейской семьи»; об остальных же семьях языков говорилось весьма кратко — с перечислением лишь отдельных языков; так, например, у Томсона генеалогическая классификация индоевропейских языков занимает 25 стр., все остальные языки размещены на 7 страницах [«генеалогическая классификация языков, не принадлежащих к индоевропейской семье»: аккадско-сумерийский язык, семитическая семья языков; хамитическая семья языков, урало-алтайская семья языков; кавказские языки; другие языки Азии (имеются в виду китайский, сиамский, бирманский, тибетский, японский, дравидские языки, причем китайскому языку уделено 7 строк); южноафриканские языки; малайские и австралийские языки; языки американских индейцев; отдельно стоящие языки Европы].

Любопытно само объединение этих языков в общую рубрику «языков, не принадлежащих к индоевропейской семье» (А. И. Томсон); у некоторых других авторов о «неиндоевропейских языках» говорится еще короче

[1] Там же, стр. V.

(В. К. Поржезинский, Э. Кнауэр). Это не вызывалось слабой изученностью «неиндоевропейских языков»(семитические,угро-финские языки, например, были достаточно изучены). Не было тут и высокомерия, которое пытался вменить в вину Н. Я. Марр языковедам, не принимавшим его «учения». Вызывалось это скорее всего тем обстоятельством, что университетская наука о языке по конкретному материалу была связана с индоевропейскими языками и в теоретических обобщениях ориентировалась на материалы индоевропейских языков [1].

4. Вопросам сущности языка в старых учебниках по «Введению» уделялось весьма скромное место, и толковалась сущность языка — за редкими исключениями — как индивидуальная деятельность на основе гербартовской психологии представлений (реже — вундтовской апперцепционной психологии). Психологизм играл роль теоретической базы учебников по общелингвистическому предмету (даже и тогда, когда учитывалась социальная сторона сущности языка, например у Бодуэна де Куртенэ).

5. В членении материала не было последовательности, изложение было лишено цельности: вопросы, относящиеся к одной и той же проблеме, трактовались в различных местах (например, в учебниках у Д. Н. Ушакова, В. К. Поржезинского об «изменениях фактов языка» говорилось в последних главах книги, тогда как без учета этих изменений нельзя было понять «генеалогической классификации языков», о которой говорилось значительно раньше).

Ограниченность анализируемого языкового материала, отсутствие систематичности (в изложении наличного материала), отрывочный характер даваемых сведений, отсутствие обоснованной теории сущности развития языков, научная несостоятельность исходных психологистических установок — вот что являлось наиболее слабыми сторонами старых университетских курсов по «Введению в языкознание».

А между тем изучение конкретных языков и изучение языковедческих дисциплин в высшей школе должно быть тесно связано между собою. Чем разнообразнее конкретный языковой материал, привлекаемый к анализу, тем богаче по содержанию общелингвистические понятия. С другой стороны, общелингвистические дисциплины дают возможность студенту должным образом понять сущность и развитие языка, многообразие грамматических систем и лексических возможностей различных по происхождению и грамматическому строю языков[2]. В этом — значение общелингвистических дисциплин для филологического образования.

*

«Введение в языкознание» в наших университетах и педагогических институтах не может рассматриваться как «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков» (или как «Введение в индоевропейское языкознание») не только потому, что сравнительная грамматика индоевропейских языков теперь не читается ни в педагогических институтах, ни на филологических факультетах университетов (за отдельными исключениями), но и потому, что при таком понимании «Введения» необоснованно

[1] Во «Введении в языкознание» проф. Е. Д. Поливанова (Л., 1928) — работе, которая ориентирована на материалы восточных языков, уже при самом заглавии оговорено, что она предназначена «для востоковедных вузов».

[2] Мы не касаемся здесь другой стороны дела: анализируя природу и развитие языковых категорий, общелингвистические дисциплины тем самым помогают глубже понять природу и развитие категорий мысли. Отсюда — важность языкознания для изучения философских дисциплин.

сузился бы круг проблем, подлежащих анализу во «Введении», переместился бы центр тяжести на вопросы, не являющиеся центральными.

Слов нет, сравнительная грамматика индоевропейских языков наиболее разработана. Изучение данного предмета имело бы важное познавательное значение и для лиц, не занимающихся индоевропейскими языками. Но было бы принципиально неверно ставить знак равенства между «индоевропейским языкознанием» и «наукой о языке».

Наука о языке не может ограничиться данными одних лишь индоевропейских языков. Какой-нибудь из северных (палеоазийских) языков (такой, например, как чукотский) может привнести материал, расширяющий общелингвистический кругозор, например, в вопросе о взаимоотношении слова к предложению, решая данный вопрос способом, небычным для говорящих на языках индоевропейских, семитических, угро-финских, которым процесс инкорпорации неведом. Какой-либо дагестанский язык (например, аварский) может расширить наше представление о спряжении глаголов, продемонстрировав спряжение переходного глагола по одному лишь объекту, без всякого намека на субъект (на лицо субъекта или грамматический класс, «род» субъекта).

Такие принципиально новые возможности в трактовке вопросов морфологии, синтаксиса советской наукой о языке должны учитываться. Советское «Введение в языкознание» должно строиться на более широкой базе, чем старые университетские пособия по данному предмету. Конечно, на материале из русского языка будут поясняться общелингвистические понятия в первую очередь, ибо только в таком случае материал окажется наиболее доступным для представителей многонационального Советского Союза: это — минимум необходимого. Добиваясь же максимума возможного, следует в нужных случаях привлекать материал из самых различных языков (особенно при анализе грамматического строя). Только в таком случае морфология и синтаксис во «Введении в языкознание» перестанут дублировать изложение морфологических и синтаксических категорий одного какого-либо языка.

Если «Введение в языкознание» не может быть приравнено к «Введению в изучение индоевропейских языков», то тем меньше оснований строить данный курс по материалам одних лишь семитических, угро-финских, алтайских или иберийско-кавказских языков. Введение в изучение каждой из таких групп само по себе представляет научную ценность, но оно не может замещать введения в науку о языке.

«Введение в языкознание» за последнее время пытаются толковать как «введение в изучение того или иного конкретного языка»[1]. Анализируя вопросы сущности и развития языка, основные понятия лексикологии и грамматики по материалам различных языков, «Введение в языкознание» тем самым и обеспечивает возможность научного понимания грамматического строя и лексики, современного состояния и исторических путей развития любого конкретного языка: «Введение в языкознание», естественно, является и введением в изучение любого «конкретного языка».

Следовательно, «... дать толчок творческой инициативе студента в изучении того или иного конкретного языка, направить его внимание и интерес к установлению живых связей между разными элементами грамматического строя и словарного состава родного или чужого, осваиваемого языка»[2] «Введение» может и в нынешнем его понимании.

---

[1] См. «О лингвистическом высшем образовании и подготовке научных кадров по языкознанию», ВЯ, 1954, № 2, стр. 5.

[2] «О лингвистическом высшем образовании...», стр. 5.

Введение в изучение конкретного языка, его грамматического строя, стало быть, не может противополагаться «введению в науку о языке», частью которого оно является, равным образом эта часть («введение в грамматику») не может заменить целого («введение в языкознание»), так же как «введение в морфологию» не могло бы заменить «введения в грамматику». Конечно, при таком искусственном ограничении содержания «Введение» рискует быть обедненным в части общетеоретической.

Что именно таков смысл выдвигаемой на страницах журнала «Вопросы языкознания» новой формулировки задач «Введения» становится ясным из выводов, к которым ведет эта новая формулировка: «Следовательно,— говорится в статье,— этот курс («Введения».— *А. Ч.*) не должен быть отягощен изложением теорий о происхождении языка, рассуждениями о месте языкознания в системе общественных наук, сведениями о всех существующих и существовавших классификациях языков и т. д.»[1].

Почему все это «отягощает» курс «Введение в языкознание»? Может быть, это — вопросы неактуальные? Нет, но им, оказывается, не место во «Введении»: «Все эти вопросы,— читаем в той же статье, — наряду с целым рядом других важных проблем общего языкознания (например, о языке и мышлении, о специфических приемах описательного и исторического, а также историко-сравнительного изучения языка, о марксистском понимании взаимодействия разных сторон системы языка в ее развитии, о внутренних законах развития языка и т. п.), должны быть систематически изложены в более позднем курсе «Общего языкознания», обобщающем и углубляющем методологическую подготовку студента, приобретенную на базе конкретно-исторического изучения того или иного языка»[2].

С такой трактовкой содержания курса по «Введению в языкознание» согласиться нельзя. Систематический курс «Общего языкознания» не предусмотрен учебным планом педагогических институтов. На филологическом факультете университетов «Общее языкознание» читается не для всех студентов, а лишь для студентов специальности языка. Но если даже «Общее языкознание» станет обязательным для всех студентов филологического факультета, то все же будет не оправдано исключение из «Введения» вопросов, которые всегда рассматривались в этом курсе.

Теория происхождения языка не обходит молчанием даже такое «краткое введение», каким является книжка Д. Н. Ушакова: теория звукоподражания, теория междометий, даже теории эволюции (Вундта) нашли место в «Кратком введении в науку о языке».

Странно слышать от теоретического журнала по советскому языкознанию, что «изложение теорий происхождения языка отягощает курс „Введения“». Конечно, они неуместны во «Введении в грамматику», но необходимы в курсе «Введение в языкознание».

Вопрос о месте языкознания в системе общественных наук — вопрос сугубо принципиальный; это вопрос, фундаментальный для каждой науки. Так или иначе его касались старые учебники (отдельный параграф ему посвящен даже в «Кратком введении» Д. Н. Ушакова; довольно подробно он обсуждается у А. И. Томсона). Сведения по этому вопросу не могут отягощать «Введения в языкознание».

Было бы также неправильно ничего не сказать о приемах исследования, в частности об историко-сравнительном методе, когда наука о языке своим возникновением обязана применению этого метода к фактам языка.

Непонятно и то, как может «Введение в языкознание» быть отягощенным «сведениями о всех существующих и существовавших классифика-

---

[1] «О лингвистическом высшем образовании...», стр. 5.
[2] Там же.

циях языков»[1]. В действующую программу по «Введению» включены далеко не все из «существующих и существовавших классификаций», а всего лишь две: морфологическая классификация и генетическая классификация. Ни так называемая психологическая классификация, ни классификация по культурным кругам, ни концептуальная классификация, ни понятия «союза языков» во «Введении» не предусмотрены — и это, возможно, даже пробел, но вряд ли это может дать повод к упрекам в отягощенности курса лишними классификациями[2].

Можно спорить об объеме курса, о характере изложения теоретических вопросов (во «Введении в языкознание»), но нельзя требовать сокращения теоретических вопросов, подлежащих освещению во «Введении».

В системе филологического образования «Введение в языкознание» занимает ответственное место: это единственный общелингвистический предмет, который слушает большинство филологов. Поэтому «Введение в языкознание» должно представлять собою вполне законченный самостоятельный курс, как справедливо указывают отдельные товарищи. Но «Введение в языкознание» не может стать ни законченным, ни самостоятельным курсом, если в нем не будут обсуждены — в том или ином объеме — все четыре основные проблемы науки о языке: проблема предмета, специальных методов его изучения, отраслевого состава языкознания, места языкознания в системе наук.

Конкретно круг основных вопросов, которых нельзя не коснуться, представляется в следующем виде: 1) сущность языка, его развитие и происхождение; 2) специальные методы исторического анализа и систематического описания фактов языка; 3) отрасли (отделы) языкознания и их взаимоотношение; 4) отношение языкознания к другим (общественным) наукам. Систематический анализ данных проблем — с критическим преодолением неприемлемых воззрений и с аргументированным изложением приемлемых положений — дело «Общего языкознания». «Введение в языкознание» не может, как правило, давать критического анализа неприемлемых положений: оно излагает лишь положительное с посильным его обоснованием, но без критики неприемлемого. «Введение в языкознание» не может детализовать все проблемы науки о языке. Но ни одна из четырех проблем не может остаться незатронутой.

Больше всего трудностей связано с проблемой специальных методов. Однако нельзя во «Введении» ничего не сказать о том, в чем состоит историко-сравнительный метод, в чем его смысл, и ограничиться голословным утверждением, что с применением этого метода связаны многие достижения в научном изучении языков.

В плане описательного анализа: можно ли излагать учение о частях речи и ничего не сказать о том, почему количество частей речи неодинаково не только в разных языках, но даже в одном и том же языке оказывается неодинаковым у разных авторов. Нет, невозможно, если хотим, чтобы студент не только знал, сколько частей речи, но и понимал, что такое по сути дела «часть речи».

Что же касается трех остальных проблем (сущности языка, отраслей

---

[1] Там же.

[2] Ф. Ф. Кузьмин замечает, что «нет никакой нужды загружать курс перечислением всех семей и групп языков при ознакомлении с генеалогической классификацией» (ВЯ, 1954, № 1, стр. 103). Спрашивается: Какие же семьи языков называть? Какие из семей и групп языков не включать? И по какому принципу отбирать? Вопрос, выражаясь мягко, деликатного свойства. Научно все языки ценны. Общественно — родной язык (для говорящего на нем) бесценен. Старые университетские пособия в общей рубрике неиндоевропейских языков упоминали почти о всех семьях. Не давать даже того, что имелось в старых пособиях при перечислении семей языков, было бы просто неудобно.

языкознания, места языкознания), то они имелись даже в старых университетских пособиях. Новым курсам вряд ли простительно здесь отставать.

«Введение в языкознание», таким образом, должно строиться как элементарный курс «Общего языкознания», но законченный самостоятельный курс. Это настоятельно диктуется местом данного курса (в учебном плане) как обязательного предмета для всех слушателей I курса филологических факультетов.

В курсе «Введение» необходимо иметь отдельную главу о важнейших фактах из истории грамматических воззрений до XIX в.— до возникновения историко-сравнительного языкознания[1]. Наличие во «Введении» раздела о важнейших фактах истории грамматических воззрений (до возникновения исторической и сравнительной грамматики) будет оправдано с точки зрения самостоятельности «Введения» и в том случае, если «История языкознания» останется в учебном плане специальности языка как самостоятельный предмет: «Историю языкознания» будут изучать лишь специалисты по языку. Включение отдельной главы по истории развития грамматической мысли во «Введение» будет совершенно необходимо в том случае, если «История языкознания» не будет фигурировать в учебном плане как самостоятельный предмет.

Итак, главнейшие факты развития грамматической мысли следует рассматривать как необходимый элемент минимума лингвистических знаний, включаемого во «Введение».

Новое понимание языка и определяемые им задачи преподавания общелингвистических дисциплин, а также место, занимаемое «Введением» в учебном плане, требуют, чтобы «Введение в языкознание», являясь элементарным курсом общего языкознания, представляло бы собой самостоятельный, законченный курс.

Построенный на новых принципах, свободный от недостатков старых университетских курсов, новый курс «Введения» не может быть по количеству обсуждаемых вопросов, по объему фактического материала и даваемых знаний беднее старых университетских пособий.

*

Таковы основные вопросы построения курса по «Введению в языкознание».

Как излагать материал: по принципу «рамочной конструкции», на чем особенно настаивал А. А. Реформатский, или же систематически? Вопрос немаловажный, но методического характера. Программа и учебник должны строиться в плане строго логического членения материала и систематического его изложения. Лишь в таком случае можно добиться цельности изложения. Все цельное легко обозримо и усваивается лучше, понимается глубже. За это говорит и педагогический опыт. Конечно, и по принципу «рамочной конструкции» можно получить весьма интересный курс (таким, в частности, мне представляется «Введение в языкознание» А. А. Реформатского). Но тот же курс, будучи построен в плане систематического анализа, получился бы еще интереснее.

Начав с анализа теоретических вопросов по существу (а не в плане сообщения предварительных сведений), мы в своей педагогической практике всегда отмечали рост активного интереса у первокурсников, но мы не получили того же результата, когда начали однажды изложение курса — после краткого вступления — с анализа отраслей (отделов) языко-

[1] Подробнее об этом см. ниже.

знания и лишь после ознакомления с конкретным содержанием различных отделов науки о языке перешли к анализу принципиальных теоретических вопросов.

Идеальным по построению (и, пожалуй, по изложению) был бы лингвистический курс, построенный modo geometrico, где последующее опирается на предыдущее и логически связано с ним. Это вполне осуществимо при изложении ряда разделов курса, хотя и труднее в отношении таких разделов, как семантика (что не случайно: участок этот научно плохо разработан).

Методическим является вопрос: с фонетики начинать и идти к лексикологии или наоборот? Последовательнее начинать с фонетики; при этом придется преодолеть некоторые трудности. Но этих трудностей бывает больше, если идти от лексикологии к фонетике.

Вопрос о содержании и характере практических занятий по «Введению»[1], вопрос о наглядных пособиях, необходимых при преподавании фонетики, классификации языков и т. д., также относится к методике преподавания. Нужна программа практических занятий, необходимы наглядные пособия, нужны карты распространения языков, необходима аннотированная библиография литературы... Все это важно. Необходимость их вряд ли кто станет оспаривать. Они нужны при любом построении курса по «Введению». Далее: для университетов и педагогических институтов курс должен быть один. Для учительских институтов требуется особый, сокращенный, вариант курса.

*

Несколько слов о цикле общелингвистических дисциплин для лингвистических отделений (для студентов, идущих по специальности языка). Такие отделения (специальности) имеются лишь на филологических факультетах университетов. Помимо общеобязательного для всех филологов «Введения в языкознание», здесь необходимо иметь еще два курса: «Историю языкознания» и «Общее языкознание». Итого — три общелингвистических предмета для лингвистических отделений.

По «Общему языкознанию» имеется программа; по «Истории языкознания» программа пока еще не составлена. Неясность в вопросе о содержании курса «История языкознания» отрицательно сказывается на постановке «Общего языкознания», на понимании его содержания и характера.

Выше уже говорилось о том, что задача «Общего языкознания» — дать систематический анализ основных проблем языкознания как науки. «Общее языкознание» будет отличаться от «Введения в языкознание» не только широтой охвата материала (членения проблем) и систематическим характером анализа проблем, но и способом трактовки вопроса: положительное освещение вопроса должно предваряться критическим анализом неприемлемых толкований; тем самым положительное понимание станет более глубоким и обоснованным.

К примеру: из «Введения в языкознание» студенту известно, что язык есть средство общения и обмена мыслями, что этим определяется самое существо языка. Но из «Введения» студент не может знать, что имеются и другие, совершенно отличные определения языка: «язык — духовное творчество индивида» (рассматривать язык как средство общения — значит якобы «рассматривать язык ненаучно»!); язык выражает мысли гово-

[1] Ценная работа выполнена в этом отношении И. П. Мучником и А. А. Реформатским (с участием редактора Р. И. Аванесова). См. И. П. Мучник и А. А. Реформатский, Введение в языкознание. (Программы пед. ин-тов). М., Учпедгиз, 1954. См. также И. П. Мучник, Введение в языкознание. Контрольные работы и материалы к изучению курса. Пособие для заоч. отд-ний пед. и учит. ин-тов, [М.], Учпедгиз, 1952.

рящего, сообщает их другим, но для языка будто бы «существенно» не это, а отношение к тому, что им передается, излагается — будто бы это изложение определяет сущность языка и т. д. и т. п.

Специалист по языку должен разбираться в том, для каких (общелингвистических) течений характерно такое понимание, на каких предпосылках оно строится, к чему ведет и почему неприемлемо для подлинно научного понимания. Тогда глубже будет понят смысл формулы «язык — средство общения и обмена мыслями», станет яснее, из каких предпосылок оно вытекает и к каким выводам обязывает.

«Язык — непосредственная действительность мысли», «реальность мысли проявляется в языке» — следовательно, язык с мышлением связан теснейшим образом; это студенту известно из «Введения в языкознание». Но ему неизвестно, что часто язык рассматривают как внешнюю оболочку уже готовой мысли или, напротив, отождествляют мышление с речью, доходя до отрицания возможности представлений без языка или даже до отрицания мышления как явления сознания.

Из «Введения» студент знает, что сравнительная грамматика родственных языков оперирует звуковыми соответствиями, но ему неизвестно, каков возможный исторический смысл этих соответствий, предшествует ли один из сравниваемых вариантов другому или оба возникли в процессе закономерных изменений третьей — общей — исходной величины. Морфологическую и генеалогическую классификацию, принципы, лежащие в их основе, студент может довольно ясно представить и по «Введению в языкознание». Но студенту, специалисту по языку, нужно знать, что в современной зарубежной лингвистике модным стало понятие «союза языков», еще не достаточно определившееся в позитивной части, но порой противополагаемое генеалогической классификации (правда, без достаточного на то основания).

Было бы неверным считать, что советская наука о языке уже располагает завершенной системой общего языкознания. Но еще большей ошибкой было бы думать, что, пока такая система не завершена, можно воздерживаться от университетского курса по «Общему языкознанию». Узловые моменты систематического советского курса по «Общему языкознанию» уже теперь могут быть и должны быть разработаны. Чем больше товарищей включится в эту работу, тем лучше будет для дела. Имеющаяся программа по «Общему языкознанию» вполне пригодна для ориентировки при первых попытках создания курса. В процессе работы над курсом и программа будет совершенствоваться: ведь при прочих равных условиях лучшей является та программа, которая уже реализована в виде соответствующего учебного пособия.

Трудно обстоит дело с «Историей языкознания», но не только потому, что у нас не имеется программы. Программа до сих пор не составлена именно потому, что неясен объем курса, не уточнен круг вопросов, подлежащих включению в программу, и, наконец, — что самое важное — вообще история науки о языке слабо разработана. Очень мало работ по истории развития лингвистической мысли и у нас, и за рубежом. Книга Штейнталя касается положения вещей у древних греков и римлян; Бенфей подробно анализирует лишь немецкую лингвистическую мысль до шестидесятых годов XIX в.; обзор Томсона, помимо всего прочего, очень краток[1].

Относительно лучше разработана история изучения индоевропейских языков (славянских, германских, романских, иранских...); имеется доста-

[1] Обширный труд проф. С. К. Булича «Очерк истории языкознания в России» (СПб., 1904), тщательно документированный и весьма ценный в фактическом отношении, охватывает материал не далее 1825 г.

точно материала по различным течениям лингвистической мысли; но совершенно недостаточно разработана история развития лингвистических воззрений даже в части фактической, не говоря уже об интерпретации этих фактов. Монографически не изучена история возникновения историко-сравнительного языкознания, не изучена должным образом история философских теорий языка. Мало что известно — вне узкого круга специалистов — о том, как развивалась языковедческая мысль в Китае, в древних странах Передней Азии, у арабов Средневековья; отчасти это относится и к истории языкознания в Индии. Всю историю языкознания до XIX в. обычно сводят к истории развития грамматических воззрений древних греков и римлян в странах Европы. Это знать необходимо, но это не есть «история языкознания», а один лишь ее краткий раздел.

Разработать нужный курс истории развития языковедческой мысли — дело сложное: оно требует немало труда и времени (целого коллектива). Ссылаясь на сложность и неразработанность курса «Общее языкознание», а также на отсутствие учебника по данному предмету, отдельные товарищи предлагают включить в «Историю языкознания» «Общее языкознание». Но «История языкознания» еще менее разработана, чем «Общее языкознание». Такое объединение может привести лишь к одному: более изученные разделы истории языкознания (как-то: обзор различных течений современной зарубежной лингвистической мысли, история изучения различных групп индоевропейских языков) заслонят собою проблемы «Общего языкознания», но никакой цельной «Истории языкознания» не получится.

Если уж необходимо объединять, то не «Общее языкознание» следует подключать к неопределенному курсу «Истории языкознания», а, наоборот, наиболее разработанные разделы «Истории языкознания» надо распределить между «Введением», «Общим языкознанием» и спецкурсами. Во «Введение в языкознание» следует включить историю развития грамматических воззрений (до зарождения историко-сравнительного языкознания), а историю изучения славянских, германских, романских, иранских и т. д. языков надо давать в виде спецкурса или семинара на соответствующих специальностях (нет смысла иранисту давать историю изучения романских языков или наоборот: студент мало что вынесет из истории языков, конкретным материалом которых он не владеет).

Остается материал о течениях современной лингвистической мысли. С ним студент познакомится в курсе «Общего языкознания» в процессе систематического анализа соответствующих проблем (предмета, специальных методов, теорий построения грамматики...).

Следовательно, в системе общелингвистического цикла место «Общего языкознания» ясно очерчено, необходимость данной дисциплины очевидна (для специалистов языка).

Что же касается «Истории языкознания», то она пока не имеет даже программы и вряд ли может быть реализована должным образом. Однако «История языкознания» — предмет, нужный для студентов-лингвистов. Как самостоятельный предмет общелингвистического цикла этот курс следует готовить: разработать программу, составить учебник. Но, как выяснилось из выступлений товарищей на страницах журнала «Вопросы языкознания», здесь много неясного, хотя и было высказано немало ценных соображений (см., например, статью Э. А. Макаева). В этой связи нам бы хотелось остановиться на некоторых вопросах истории языкознания.

Содержание курса «История языкознания» прежде всего зависит от того, что понимается под языкознанием, т. е. что является существенным для науки о языке. Сведения о языке — до возникновения языкознания — содержались в грамматиках (филологической, рациональной или философ-

ской) и философии. Грамматика изучала конкретный материал (письменных языков) или с точки зрения филологических норм, или же с точки зрения логических (рациональных) установок. Философия излагала вопросы сущности языка, взаимоотношения мышления и речи, происхождения языка, развития языков. В то же время большой интерес вызывала этимологизация слов (еще со времен римских). Этимологии эти строились на произвольном расчленении слов и произвольном толковании расчлененных элементов (например, *vulpes* «лисица»: *vol-pes* «quod volat pedibus» «что летает ногами»). Эти этимологии были так же произвольны, ненаучны, как и этимологии Н. Я. Марра на основе четырехэлементного анализа.

Философские суждения о сущности языка свободно уживались с произволом этимологических толкований. Ни в чем так ярко не проявляется уровень мышления о языке (до XIX в.), как в донаучной этимологии. Ни в чем так ясно не сказалось новое понимание фактов, как в научной этимологии, созданной на основе историко-сравнительной грамматики. Произволу в анализе и толковании слов, создавшему фантастическую этимологию древних, приходит конец с возникновением историко-сравнительной грамматики. Место произвола занимает закономерное. Это — факт фундаментального значения. Кто в полной мере не учитывает этого обстоятельства, для того вряд ли будет ясным, что знаменует собой зарождение научной этимологии на основе исторической грамматики и чем по существу она отличается от донаучной этимологии, с одной стороны, и от марровской элементной палеонтологии — с другой.

Если научное познание языка внутренне связано с историческим подходом, если историзм представляет собою необходимую предпосылку выявления научных закономерностей, то история языкознания прежде всего должна показать, как народилась эта историческая точка зрения, к чему она привела и какие успехи обеспечила. Без этого никакой научной истории языкознания не получится: принцип историзма — основа советской науки о языке, а не декоративная деталь.

Сравнение языков без истории следует резко отличать от сравнения на базе истории и в целях установления истории. Такие понятия, как «родство языков», «родственные языки», бытовали задолго до возникновения историко-сравнительной грамматики: родство определенных языков (например, языков Европы) подмечалось (порою даже правильно) на основе простого сопоставления, родственные языки выделялись, но правильное перемежалось со странными утверждениями, так как не было метода. С этой точки зрения особого внимания заслуживают XVII и XVIII вв.— преддверие историко-сравнительной грамматики.

На протяжении многих веков теория языка разрабатывалась философией. Философские теории языка со всеми предпосылками соответствующей философской системы проникали и проникают в грамматику, в языкознание, своеобразно сочетаясь с эмпирическим материалом описательного и историко-сравнительного изучения языков. Не одно положение философских теорий языка вошло в лингвистический обиход. Языковедами не всегда учитывается, откуда они идут. «История языкознания» не может обойти молчанием вопроса о развитии философских теорий языка, в частности XVII—XVIII вв.

Курс «История языкознания» не может ограничиться анализом, пусть даже подробным, развития системы филологической грамматики (и далее — рациональной грамматики). Необходимо дать сведения о грамматической системе Востока (китайцев, индийцев, арабов): это поможет преодолеть односторонность греко-римской точки зрения. (Выше отмечалось, что уже

студенту-первокурснику нужно знать, как развивалась грамматическая система греков на протяжении веков).

Итак: 1) грамматическая мысль Востока, 2) филологическая грамматика греков, римлян..., 3) рациональная (философская) грамматика, 4) философские теории о языке (до XIX в.), 5) зарождение историко-сравнительной грамматики (XVII—XVIII вв.) — таковы необходимые разделы истории возникновения научной точки зрения на язык.

6) Историзм в языковедческой практике и теории (основы научной этимологии, вопросы о звуковых соответствиях, о строении основ, о принципах классификации языков и т. п.), судьбы историзма, взаимоотношение «историко-лингвистического» и «философско-лингвистического» на протяжении последнего столетия является проблемой, одинаково важной для специалистов по любым языкам. Это — основная проблема истории лингвистической мысли за время существования историко-сравнительного языкознания. Из шести упомянутых разделов относительно лучше разработан второй (филологическая грамматика греков, римлян). Все остальные разделы требуют монографической разработки ряда основных вопросов. Эту работу необходимо вести; но одновременно следует готовить детализованную программу по вопросам, которые на нынешней ступени изученности более ясны.

*

В типовом учебном плане филологических факультетов, разработанном в 1955 г. Министерством высшего образования СССР, предусматривается общелингвистический предмет «Основы языкознания» для всех студентов-филологов — как специалистов языка, так и специалистов литературы. Программа по данному предмету еще не разработана; о содержании данного курса пока ничего сказать нельзя. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: курс «Основы языкознания» читается на первом, втором и девятом семестрах. Отсюда ясно, что он не может представлять собою один цельный курс: разрыв в шесть семестров — дело немыслимое и научно, и особенно методически, если речь идет о двух частях одного и того же курса. Если же это не один курс, какой смысл обозначать одним названием то, что не является единым.

Если уж объединять, то естественнее называть весь курс просто «Языкознание» с необходимым членением:

1) «Введение в языкознание» (I—II сем.);
2) «История языкознания» (V или VI сем.);
3) «Общее языкознание» (VII—VIII сем.).

«Введение в языкознание» — элементарный курс общего языкознания, пополненный разделом по истории развития грамматической мысли — образует законченный самостоятельный предмет, входящий в минимум филологического образования.

«Общее языкознание» — систематический курс — завершает лингвистическое образование филологов, специалистов по языку. Курс «История языкознания» в типовом учебном плане должен оставаться, по крайней мере, как предмет факультативный.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1956

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

Организованное редакцией журнала «Вопросы языкознания» обсуждение курса «Современный русский язык»[1] выявило несколько центральных вопросов, верное решение которых имеет определяющее значение для направления этого курса в целом, для того чтобы он занял в вузовском преподавании то место, которое должен занимать как один из ведущих курсов в системе филологического образования. Вопросы эти следующие: задачи и содержание курса; его место в кругу других лингвистических дисциплин; программа курса и построение его основных разделов; отношение лекционного теоретического курса к спецкурсам, спецсеминарам и практическим занятиям, а также к учебной литературе. Вокруг этих основных вопросов группируются другие, более частные.

1. «Современный русский язык» — курс теоретический, и по своим задачам и содержанию он должен быть единым для всех филологических факультетов университетов и факультетов русского языка пединститутов[2]. Этот курс ни при каких условиях не должен подменяться практическим курсом современного русского языка — курсом, совершенно отличным по своим задачам, целенаправленности, содержанию и методике построения. Естественно, что и практические занятия по этому курсу не могут превращаться в занятия по освоению норм языка, плохо изученных в средней школе правил правописания или по приобретению элементарных навыков грамматического разбора. Задача теоретического курса — подробная, научно обоснованная характеристика звукового, лексического и грамматического строя русского литературного языка в его современном состоянии и в основных тенденциях его развития. В процессе слушания и усвоения такого курса, чтение которого может быть поручено только высококвалифицированному специалисту, разрешается и другая, производная, но очень существенная задача — первое ознакомление студентов со структурой языка в ее конкретном проявлении.

Очевидно, что такое понимание назначения и содержания курса требует отказа от ряда других задач, которые выдвигались отдельными участниками дискуссии. Овладение нормами языка, овладение навыками анализа текста, навыками исследовательской работы — все это отнюдь не задачи теоретического курса: для этого нужны специальные и совсем в ином плане поставленные занятия.

Недостаточно отчетливое понимание задач курса отрицательно сказывается на постановке его и в национальных вузах, где смешение разных — и часто несовместимых — задач фактически приводит к тому, что теоретический курс произвольно подменяется изложением

[1] См. статью «От редакции» — ВЯ, 1955, № 1, а также статьи и заметки участников обсуждения — ВЯ: 1955, № 2—5; 1956, № 1 и 2.

[2] С теми же задачами, но в ином объеме и по особой программе должен читаться курс «Современного русского языка» в институтах иностранных языков и на факультетах иностранных языков педвузов.

правил элементарной грамматики, а практические занятия по этому курсу — дублированием школьных занятий (очень часто — и по школьным пособиям). Нет сомнения, что там, где студенты приходят в вуз с недостаточным знанием русского языка, должны быть организованы специальные практические занятия, восполняющие собою пробелы школьного обучения, которые пока еще, к сожалению, столь часто мешают нормальной подготовке специалистов-языковедов.

Возвращаясь к вопросу о задачах теоретического курса, следует отметить, что требование подробной научной характеристики строя современного русского литературного языка отнюдь не означает, что в лекционный курс следует включать и весь тот фактический материал, который без каких-либо затруднений может быть усвоен студентами по существующим учебным пособиям. Так, например, курс должен быть освобожден от описания парадигм склонения и спряжения, подробных перечней словообразовательных морфем разных частей речи, всех видов глагольных и именных словосочетаний и т. п. По всем подобным вопросам учебники, справочники и специальная литература должны явиться обязательным для слушателей дополнением теоретического курса.

2. Каково место курса «Современный русский язык» в кругу лингвистических дисциплин и в общей системе филологического образования? Следует считать общепризнанным, что этот курс должен читаться после курса «Введение в языкознание», до известной степени представляющего собою основу всех лингвистических курсов. Курс «Старославянский язык» также целесообразно читать перед курсом «Современный русский язык»: знание основ старославянской грамматики поможет студентам глубже и лучше понять строй русского языка, основные тенденции его развития.

Большинство участников обсуждения высказалось за то, чтобы историческая грамматика русского языка и история русского литературного языка читались после того, как прочитаны основные разделы курса «Современный русский язык». Действительно, нет необходимости в чтении этого курса после «Исторической грамматики русского языка»; ведь историческое освещение фактов современного языка вовсе не требует ссылок на данные исторической грамматики; оно состоит, как это неоднократно подчеркивалось в ходе обсуждения, в выявлении живых тенденций развития всего строя языка в целом или отдельных его сторон. Кроме того, при чтении исторических дисциплин до курса «Современный русский язык» преподавателю исторической грамматики часто приходится самому интерпретировать и современное состояние русского языка или же ссылаться на то, что студентами еще не изучалось.

Выдвигаемая рядом участников обсуждения идея непрерывного чтения курса «Современный русский язык» в течение всего или почти всего времени пребывания студентов в вузе (так, чтобы данный курс стал завершающим в системе лингвистического образования) не может быть реализована уже по той причине, что, работая в спецсеминарах, слушая спецкурсы и проводя уроки во время педагогической практики, студенты должны владеть основным материалом теоретического курса современного русского языка. Следует, наоборот, стремиться к тому, чтобы сделать этот курс, особенно в университетах, по возможности более сконцентрированным: он должен быть основным содержанием лингвистической подготовки студента-русиста на II и III курсах. Курс «Современный русский язык» следует начинать в университетах не раньше второго семестра I курса и читать в течение пяти семестров, заканчивая его на III курсе. Не следует забывать, что «Современный русский язык» для студентов-филологов — не пропедевтическая или подсобная, а основная, профилирующая дисциплина, которая должна быть главным предметом их лингви-

стического образования на II—III курсах, когда решается вопрос о специализации. Совершенно не соответствует признанию этого курса «центральным», а, напротив, свидетельствует об известной недооценке его значения то, что изучение этого курса завершается одним экзаменом (как это имеет место в учебном плане МГУ), тогда как по курсу истории русской литературы XIX в., который читается в течение 8 семестров, проводится восемь экзаменов. Следует также иметь в виду, что сконцентрированное на II и III курсах чтение современного русского языка дает возможность студентам, с одной стороны, выйти на педагогическую практику теоретически достаточно вооруженными и, с другой стороны, получить необходимую подготовку для слушания спецкурсов и для активного участия в работе спецсеминаров.

3. Структура и характер программы курса — один из центральных вопросов, подвергшихся активному обсуждению. Почти все участники обсуждения совершенно правильно указывают на необоснованное включение в программу по современному русскому языку ряда вопросов, которые изучаются в курсе «Введение в языкознание» или входят в программы других дисциплин русского языковедческого цикла. Для устранения такого дублирования необходимо провести внутреннее согласование всех программ по языковедческим дисциплинам.

Программа по курсу «Современный русский язык», несомненно, должна быть углублена и детализирована. Но едва ли закономерно требование изложить программу так, чтобы она своими формулировками направляла к определенному, одностороннему истолкованию материала. Современная наука о русском языке богата разными теориями, многообразными и оригинальными истолкованиями отдельных явлений языковой системы. Программа не может и не должна навязывать читающему курс лишь какую-то одну, определенную точку зрения. Курс нужно строить творчески. Лектор должен для себя научно оценить разные взгляды, разные толкования фактов и, проверив их на материале, излагать слушателям те теоретические положения и открывать перед ними те пути интерпретации материала, которые соответствуют современному уровню научных знаний.

В чем же может выразиться углубление и конкретизация программы курса? Прежде всего, в тщательной детализации, подробном перечне всех тех вопросов, которые составляют содержание основных разделов курса. Все согласны, что формулировки программы носят слишком общий, «заголовочный» характер, что за ними часто стоят целые разделы науки о тех или иных сторонах современной системы русского языка. Такие формулировки не помогают читающему курс разработать планы лекций, не помогают и студентам углубленно изучать соответствующие разделы, привлекать дополнительную литературу, находить в ней те важные детали — и не всегда только детали, которые относятся к изучаемой теме. Поэтому следует рекомендовать такую перестройку программы, которая превратит ее из голого списка самых общих вопросов в рабочий документ, способный стать конкретной основой плана изложения отдельных частей курса. Основным содержанием программы должен быть построенный на научной основе расчлененный и систематизированный перечень всех подлежащих освещению вопросов в их логической соподчиненности.

Из пожеланий, относящихся к содержанию программы, следует принять предложение о выделении в ней особого раздела «Словообразование», в котором должны быть охарактеризованы основные типы современного русского морфологического, морфолого-синтаксического и семантического словообразования. Закономерно включить в данный раздел учение о морфологическом составе слов в русском языке, о разграничении не-

производной и производной основ, о явлениях опрощения и переразложения, о фонетических чередованиях при словообразовании. Без этих общих сведений по словообразованию и составу слова трудно систематически излагать раздел лексики. Раздел «Словообразование» должен включать в себя вопросы, общие для образования разных частей речи; его следовало бы поместить перед разделом «Лексика и фразеология».

Что касается вопросов орфографии и пунктуации, то очевидно, что подробным изложением этих разделов не нужно загружать лекционный курс. В теоретическом курсе необходимо лишь раскрыть морфологические основы русской орфографии и показать органическую связь пунктуации с синтаксическим строем русского языка. Нет необходимости включать в программу курса и раздел, посвященный истории научной разработки современного русского языка; правильнее было бы введение особого — обязательного для всех слушателей—спецкурса по истории научного изучения звукового и грамматического строя русского языка.

Внимательной и в большинстве случаев обоснованной критике подверглись все разделы программы курса. В частности, правильно отмечалась необходимость раскрыть в разделе «Введение» само понятие современного русского литературного языка. Действительно, для верного направления курса очень важно, чтобы во вводной части было разъяснено понятие литературного языка в его отношении к общенародному языку в целом, установлено принципиальное отличие литературного языка от языка художественной литературы, раскрыто понятие общенациональной литературной нормы, охарактеризованы основные тенденции развития современного русского языка в XIX—XX вв.

Чтение основных разделов курса «Современный русский язык» целесообразно начинать с фонетики, как раздела, трактующего о первооснове языка, о его звуковой материи. Приступая к изучению русской фонетики, студенты должны быть уже знакомы из курса «Введение в языкознание» с элементами общей фонетики, с основами фонологии, с принципами классификации гласных и согласных, с понятием фонемы, с фонетической транскрипцией; это поможет избежать ненужного дублирования в изложении материала и направит внимание слушателей на анализ фонетических явлений именно русского языка. Участники обсуждения правильно подчеркивали необходимость введения в данный раздел программы указаний на связь фонетики и правописания, фонетики и основ русской графики. Основная задача раздела «Фонетика» — охарактеризовать звуковой состав и фонетические средства современного русского литературного языка, специфический характер русского вокализма и консонантизма с присущей ему системой позиционных чередований, установить нормы русского литературного произношения, принципы современного русского слогоделения и слогоударения.

Как на главный недостаток раздела «Лексикология» справедливо указывалось на его перегруженность разнообразной тематикой, зачастую не имеющей непосредственного отношения к изучению словарного состава современного русского литературного языка. Этот раздел, действительно, нуждается в наибольшей перестройке. Прежде всего его необходимо освободить от анализа проблем общей лексикологии, которые должны быть уже освещены в курсе «Введение в языкознание», где изучаются вопросы о системе лексики и о расслоении лексического состава языка, проблема слова и соотношения его значений, сущность омонимии, синонимии и т. п. Вопрос о составе лексики современного русского языка с точки зрения исторических путей его формирования более целесообразно перенести в курс истории русского литературного языка: только в этом курсе возможно последовательное уяснение исторической роли церковнославя-

низмов и иноязычных слов в развитии словарного состава русского языка. Не имеет рационального оправдания включение в курс «Современный русский язык» и вопроса о профессиональной и диалектной лексике. Различия между устаревшей и новой лексикой и стилистическое расслоение современной русской лексики должны быть показаны в курсе «Современный русский язык» путем анализа конкретного словарного материала, а углубленное освещение исторического процесса развития русской лексики в современную эпоху следует перенести в курс «История русского литературного языка».

Ядром раздела «Лексикология» оказываются, таким образом, вопросы о составе лексики и фразеологии современного русского литературного языка и о семантической структуре русского слова. Здесь прежде всего должны быть рассмотрены основные вопросы, связанные со спецификой лексических значений слова в современном русском языке. Отсутствие разработанной теории слова в применении к современному русскому языку лишает возможности читающего данный курс дать развернутое учение о системе лексических значений слов разных категорий; здесь приходится ограничиваться анализом основных номинативных значений слов, иллюстрировать на отдельных примерах различие между свободными, конструктивно обусловленными и фразеологически связанными значениями.

С проблемами состава и специфических особенностей системы русской лексики непосредственно связаны вопросы русской фразеологии — выделение основных фразеологических единиц и уяснение разнообразных связей слова и типов фразеологического сочетания слов. Поскольку словарный и фразеологический состав современного русского языка находит отражение в толковых словарях, постольку в раздел «Лексикология» должна войти и характеристика важнейших русских толковых словарей последнего времени. Таким образом, наиболее целесообразным планом данного раздела мог бы быть следующий: 1) особенности семантической структуры слова и типы значений слов в современном русском языке; 2) состав русской литературной лексики в современную эпоху, пути ее развития и пополнения; стилистическое расслоение современной русской лексики; 3) современная русская фразеология и тенденции ее развития; основные типы фразеологических сочетаний; 4) толковые словари современного русского языка, их виды и принципы их построения.

По разделам программы, посвященным грамматике, участниками обсуждения было высказано много замечаний как о необходимости восстановления ряда пунктов, снятых в последних изданиях программы, так и о включении новых разделов. Однако отдельных, иногда и очень существенных, критических замечаний еще недостаточно: должны быть выдвинуты и некоторые общие принципиальные положения. Прежде всего необходимо выдвинуть принцип самостоятельного положения в программе раздела «Морфология».

Морфология в курсе «Современный русский язык» должна развертываться как грамматическое учение о слове; поэтому ее содержанием должно быть учение о частях речи, способах их формо и словообразования и свойственных им грамматических категориях. При этом, чтобы изучение морфологии русского языка не сводилось к усвоению классификации разрядов частей речи, инвентаря форм и механизма формообразования, необходимо раскрывать значения морфологических категорий не только в парадигме словоизменения и в структуре словосочетаний, но и в контексте предложения. Это вовсе не значит, что таким образом грамматические категории частей речи и их значения будут получать в морфологии синтаксическое освещение. Ведь «... морфологические свойства слова не соз-

даются его синтаксическим отношением к другим словам, а лишь обнаруживаются в таком отношении»[1].

Части речи как лексико-грамматические разряды слов должны изучаться в составе морфологии в той системе соотношений, которая устанавливается между объединяющими и расчленяющими их грамматическими категориями разного типа[2]. В пределах же каждой из основных частей речи — имени существительного и глагола — необходимо раскрыть внутреннюю связь присущих им грамматических категорий: рода, числа, падежа — у имен существительных; залога, вида, лица, наклонения и времени — в структуре глагола. Углубленного внимания требует также уяснение элементов аналитизма в грамматическом строе русского языка — в формировании кратких прилагательных и слов «категории состояния», в широком развитии предложных сочетаний, в грамматическом оформлении связки как отдельной частицы речи и как форматива слов «категории состояния» и кратких прилагательных.

С другой стороны, очень важно найти правильную точку зрения при освещении в грамматическом учении о слове явлений словообразования. Так как общие принципы и основные типы словообразования будут освещены в разделе «Словообразование», на долю «Морфологии» остается изучение продуктивных словообразовательных моделей имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий и уяснение взаимных связей словообразовательных категорий разных частей речи. Таким образом, в составе морфологии как грамматического учения о слове должны быть освещены: 1) система частей речи в русском языке и тенденции ее развития; 2) структура грамматических категорий, свойственных частям речи; 3) словообразование частей речи.

В синтаксисе отчетливо разграничиваются три раздела: 1) синтаксис словосочетания; 2) синтаксис простого предложения и 3) синтаксис сложного предложения.

В разделе «Синтаксис словосочетания» нуждается в разъяснении характер и объем структурных типов словосочетаний в связи с различными видами синтаксической связи слов. Совершенно очевидно, что в работе над синтаксисом словосочетания в высшей школе необходимо, указывая на существующие разногласия в разрешении проблемы словосочетания, последовательно проводить единую точку зрения на природу последнего и не смешивать вопросов строения словосочетания с вопросами строения предложения. Изучение темы «Словосочетание» в условиях вуза, понятно, не должно сводиться к дробному описанию различных видов словосочетаний, а ограничиваться анализом только основных, ведущих моделей. В синтаксисе простого предложения следует раскрыть понятие о предикативности как основном признаке предложения — в трех ее основных аспектах, которые представлены синтаксическими категориями модальности, времени и лица[3]. Что касается изучения второстепенных членов предложения и способов их выражения, то здесь оказывается наиболее важным — в теоретическом плане — показать, каким образом члены словосочетания при включении их в строй предложения выделяются в его структуре, подчиняясь особым правилам синтаксического функционирования.

В анализе сложного предложения следует исходить из принципа струк-

---

[1] «Грамматика русского языка», т. II, ч. I, М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 7.

[2] См. статьи В. В. Виноградова по вопросам словообразования; ср. также Н. С. Поспелов, Соотношение между грамматическими категориями и частями речи. (На материале современного русского языка), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 77—78.

[3] См. «Грамматика русского языка», т. II, ч. I, стр. 78—83.

турного единства любого типа сложного предложения — сложноподчиненного, сложносочиненного, бессоюзного. Трудной задачей в данном разделе программы является разъяснение основных различий структуры сложноподчиненного предложения. Здесь, конечно, нельзя ограничиться распределением сложноподчиненных предложений по разным группам, в зависимости от синтаксической или смысловой функции придаточной части или в зависимости от того или другого типа синтаксической связи между частями сложного предложения. Подчеркивая структурное единство сложного предложения как коммуникативной единицы, необходимо указать на многообразие структурных типов сложного предложения, на соотношение в нем видо-временных форм глагольных сказуемых, на наличие лексических соответствий и повторов, устойчивых синтаксико-фразеологических связей между частями сложноподчиненного предложения, на порядок его частей и конструктивные особенности словорасположения внутри этих частей[1].

При обсуждении постановки преподавания курса «Современный русский язык» в высшей школе был назван целый ряд дискуссионных вопросов, не получивших до настоящего времени единообразного решения. Таковы, например, вопросы о второстепенных членах предложения, о границах составного сказуемого, о соотносительном объеме морфологии и синтаксиса, о «категории состояния»[2]. Перечень таких вопросов можно было бы продолжить. К ним следует отнести и общий вопрос о системе частей речи в русском языке, о категории залога, о соотношении систем формообразования и словообразования, об отношении словообразования к лексикологии и грамматике, о языковой природе свободных и фразеологических словосочетаний и т. п.[3] Однако дискуссионность подобных вопросов не может служить препятствием для изложения в аудитории различных точек зрения по соответствующим спорным проблемам.

4. При обсуждении курса вполне обоснованно подчеркивалась серьезность тех задач, которые ставятся перед практическими занятиями не только по закреплению и углублению сведений, сообщаемых студентам на лекциях, но и по усвоению ими нового, не затронутого в лекциях материала. Вполне очевидно и значение спецсеминаров в процессе приобретения студентами элементарных навыков самостоятельной работы над научной литературой и лингвистического анализа языкового материала. Как правильно отмечалось при обсуждении, практические занятия должны иметь свое собственное содержание, обусловленное «в первую очередь наиболее прямыми и обязательными требованиями будущей специальности студентов»[4]. Вместе с тем «основное содержание практических занятий должно быть определено программой»[5], чего, как известно, в действующей программе не делается. Практические занятия должны иметь и собственно образовательное значение: на эти формы занятий может быть переключено изучение отдельных вопросов программы курса «Современный русский язык». Разумеется, изучению тем и вопросов, наиболее актуальных для студентов-филологов как будущих преподавателей русского языка в средней школе, на семинарских и практических занятиях должно быть уделено специальное внимание.

---

[1] См. В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР («Доклады советской делегации на Международном совещании славяноведов в Белграде»), М., 1955, стр. 25—27.

[2] См. статью «От редакции», ВЯ, 1955, № 1, стр. 90.

[3] Ср. В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, стр. 11.

[4] ВЯ, 1956, № 1, стр. 113.

[5] Там же, стр. 112.

Практические занятия по современному русскому языку должны осуществляться систематически, хотя бы и при ограниченном числе часов. Практические занятия по фонетике, естественно, сводятся к фонетическому и фонологическому анализу; фонетический анализ необходимо закреплять тщательно подготовляемыми упражнениями по фонетической транскрипции. Занятия по лексике и фразеологии целесообразно проводить главным образом по толковым словарям русского языка, материал которых дает возможность осветить все основное в программе по лексикологии. По разделу морфологии наиболее актуальны упражнения в распознавании частных значений грамматических и словообразовательных категорий имени и глагола. На занятиях по синтаксису требуют наибольшего внимания анализ структурных и модальных типов и разновидностей простого предложения, разнообразные формы выражения сказуемого, переходные явления в области второстепенных членов предложения, разграничение различных способов осложнения простого предложения и структурных типов сложноподчиненного предложения.

В построении работы семинаров очень важно обеспечить постепенность перехода от более легких к более трудным заданиям по мере приближения к выпускному году, когда осуществляется дипломная работа. В просеминаре II курса по фонетике студент может заниматься самостоятельным фонетическим анализом текстов, проводить записи устной речи, построенные по определенной инструкции, а также выполнять комбинированные задания по лексике на материале «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова или «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. На III курсе можно переходить к первым опытам самостоятельной научно-исследовательской работы по анализу морфологических, словообразовательных или синтаксических категорий. На IV курсе учитываются индивидуальные лингвистические интересы студента и семинарские занятия по современному русскому языку получают специальный характер: под руководством преподавателя осуществляется самостоятельно поставленная студентом работа по лексике, фонетике, морфологии или синтаксису. Работа в специальном семинаре на IV курсе является естественной подготовкой к дипломной работе студента на V курсе, завершающей его университетскую лингвистическую подготовку.

Тематика спецсеминаров и спецкурсов, носящая до сих пор пестрый и в значительной мере случайный характер, требует уточнения и известной унификации. В частности, следует поддержать мысль о введении — в качестве обязательного — спецкурса, посвященного истории русских грамматических учений. Другой семинар — также обязательный — может быть выбран студентом по его желанию из нескольких с разной тематикой. Специальные курсы могут иметь различный характер. Спецкурсы одного типа, отражая, в известной мере, индивидуальные научные интересы преподавателя, ведущего курс, рассчитаны на то, чтобы привлечь студента к научно-исследовательской работе в определенном направлении. Другие спецкурсы могут иметь типовой характер. Их цель — углублять и дополнять программу общего теоретического курса специальной разработкой и подробным изложением наиболее трудных вопросов и, таким образом, расширять кругозор студента, давая ему специальную подготовку по тому или другому разделу курса. Таковы, например, спецкурсы, которые рекомендуются участниками обсуждения: «Современное русское литературное произношение», «Теория и история русской орфографии», «Система словообразования», «Части речи в русском языке», «Синтаксис словосочетания», «Учение о сложном предложении» и др. Для спецкурсов с таким назначением можно было бы предложить еще и следующие темы: «Основные типы лексических значений слова в русском

языке», «Состав русской фразеологии», «Толковые словари современного русского языка», «Грамматические категории имен существительных», «Категория глагольного вида», «Категория времени в структуре русского глагола», «Проблема залога в русской грамматике», «Вопрос о словах „категории состояния", их составе и структуре», «Система предлогов и основные тенденции ее развития в современном русском языке», «Продуктивные способы образования служебных слов в русском языке», «Синтаксические функции инфинитива», «Виды неполных предложений», «Проблема синтаксического обособления в русской грамматике», «Однородные и неоднородные определения», «Виды бессоюзных сложных предложений», «Присоединительные конструкции в современном русском языке», «Несобственная прямая речь и ее разновидности», «Основы русской пунктуации», «Проблема сложных синтаксических единств в русской грамматике», «Синтаксическая структура диалогической речи», «Синтаксическая структура и виды периода» и т. п. Спецкурсы и спецсеминары должны рассматриваться как формы углубления отдельных трудных и ответственных разделов основного курса.

В числе вопросов, не нашедших вполне удовлетворительного разрешения в практике преподавания обсуждаемого курса, был затронут вопрос об использовании учебников в качестве материала, необходимо дополняющего лекции. Справедливо указывалось на отсутствие таких учебников по курсу «Современный русский язык», которые бы в полной мере отвечали возросшим требованиям к вузовскому учебнику. Основательной критике подверглись существующие учебные пособия, предназначенные для практических занятий студентов-русистов. Нельзя не согласиться с пожеланием в ближайшее время подготовить силами наиболее квалифицированных преподавателей новые пособия для практических занятий по современному русскому языку.

Основательное усвоение курса «Современный русский язык» в филологических вузах и углубленное изучение актуальных проблем современного русского языка на спецкурсах и спецсеминарах возможно только при условии действительно центрального положения данного курса в учебном плане. При отсутствии этого условия ни переработка программы, ни нормализация работы спецкурсов и спецсеминаров, ни повышение уровня практических занятий по данному курсу не обеспечат решительного перелома в преподавании этого ответственного курса на филологических факультетах гуманитарных вузов.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ

Одной из сторон интересной и сложной проблемы взаимоотношения сознания и мышления с языком и речью, проблемы, имеющей большое теоретическое и практическое значение, является вопрос о связи языка и мышления в условиях многоязычия.

Как известно, в общем виде эта проблема получила свое марксистское разрешение в положении о единстве языка и мышления. Рассмотрение природы языка с учетом факта неразрывной связи языка и мышления позволяет нам сделать ряд важных выводов относительно того, как надо понимать положение о единстве языка и мышления при двуязычии или многоязычии.

Думать (мыслить) можно только на определенном языке. Кто знает только один язык, тот думает только на этом языке, а кто говорит на нескольких языках, тот думает на этих различных языках в зависимости от того, кто именно является его мысленным собеседником. Этот вывод может быть подтвержден не только теоретическими соображениями, но и в результате самонаблюдения людей двуязычных или многоязычных, а также и косвенным путем, посредством наблюдения над такими лицами.

Как известно, процесс мышления протекает в форме так называемой внутренней речи. Внутренняя речь отражает различные конкретные ситуации речевого общения людей. При знании только одного языка ситуативный характер внутренней речи не так ярко проявляется, но все же может быть хорошо прослежен в выборе различных речевых стилей этого языка, в частности также и в отборе языковых средств от чисто диалектных до вполне литературных. Выбор языковых средств прочно ассоциируется с определенной ситуацией речевого общения.

Подтвердим сказанное некоторыми конкретными примерами. В тюркских деревнях Томского района происходит любопытная смена языка: старое томско-тюркское наречие аборигенов, относившееся к западносибирской группе тюркских языков, вытесняется татарским языком, который выступает здесь в положении литературного. Носители старого наречия, старшее поколение, разговаривают между собою, пользуясь еще старым наречием, в речевом же общении с молодежью или с чужими те же люди пользуются довольно чистым татарским языком, сохранившим только отдельные особенности старого наречия. Наши наблюдения показывают, что и внутренняя речь у этих людей развертывается то на диалектной основе, то на литературной.

Нам много раз приходилось наблюдать речевое общение в условиях двуязычия (русский язык+немецкий, русский язык+тюркский, русский язык+селькупский, русский язык+эвенкийский). Оказывается, у двуязычных людей внутренняя речь развертывается то на родном, то на другом языке, в зависимости от ситуации ее развертывания. Особенно интересны в этом смысле случаи полной смены языка, например смены чулымско-тюркского языка на русский. Старшее поколение пользуется в общении между собой чулымско-тюркским языком, молодежь—русским; но в общении с молодежью старшие тоже пользуются русским языком. Двуязычность старшего поколения отражается во внутренней речи.

Автор часто наблюдал явление развертывания мысли на разных языках и диалектах на себе самом. Выбор языка для развертывания мысли определяется обычно не только мысленным собеседником, но и сферой применения данного языка или диалекта. Так, например, чем более абстрактным становится содержание мысли, тем больше шансов, что она будет развертываться не на диалекте, а на литературном языке — национальном или русском. Это объясняется тем, что языковая система диалекта не дает таких готовых возможностей выражения, какие заключены в литературном национальном или литературном русском языке. Кроме того, разговор на такие абстрактные темы происходит обыкновенно в условиях, которые и без того требовали бы применения литературного национального или литературного русского языка.

Некоторые языковеды и методисты склонны рассматривать процесс мышления и речи, при пользовании несколькими языками, не единым, а двух- или многоступенча-

тым; мысли при активной речи возникают будто бы сперва на базе родного языка и лишь после этого как бы перебазируются на другой, чужой язык, а при рецептивной речи (т. е. при слушании) мысли понимаются только при условии замены чужого языка родным.

Необходимо подчеркнуть, что во всех наблюдавшихся случаях двуязычия в нормальных условиях естественного *речевого общения* нельзя было заметить двуступенчатости в процессе мышления часто уже потому, что такая двуступенчатость вообще невозможна: национальным литературным языком или языком русским пользуются в этих случаях потому, что на диалекте или на своем национальном языке соответствующие мысли из-за отсутствия готовых адекватных средств трудно выразить. Следует *добавить*, что элементов «перевода» с литературного языка на свой родной диалект или с русского языка на свой родной язык обычно нельзя заметить и при наличии готовых адекватных средств выражения (не считая, разумеется, перевода слов или выражений для первоначального осмысления чужого непонятного слова). Даже при очень слабом владении чужим языком говорящий старается избежать подобной ненужной операции, тормозящей процесс общения. Поэтому моментов перевода нет также и во внутренней речи. Все сказанное объясняет тот факт, что, зная в совершенстве два языка, часто затрудняешься в переводе отдельных слов или выражений с одного языка на другой, если до этого не было специальной тренировки в переводе, в результате которой искусственно создаются непосредственные связи между словами-эквивалентами разных языков.

Возникновение внутренней речи на основе чужого языка вовсе не предполагает, как некоторые думают, предварительной, очень длительной тренировки, а только наличие особой мысленной ситуации, требующей применения этого языка. Сколько раз приходится наблюдать, что в речевом общении пользуются даже языком, которым слабо владеют, если обстоятельства вынуждают применять именно этот язык. Новые слова в таком случае очень быстро переходят из пассивного запаса в активный. Процесс перехода слов из пассивного запаса в активный является длительным только при отсутствии практической нужды в них. В практике преподавания часто приходится убеждаться в том, что ученики или студенты, даже при посредственном знании иностранного языка, наталкиваются на значительные затруднения в подборе слов и выражений на своем родном языке, когда у них выработалась привычка с данным лицом (например, преподавателем) говорить только на иностранном языке.

Приведенные факты и теоретические соображения позволяют нам сделать вывод, что единство языка и мышления представляет собой единство мышления и одного определенного языка только при одноязычии; при многоязычии положение о единстве языка и мышления следует понимать как единство мышления и одного из языков, которым соответствующий человек владеет. Следует заметить, что мысли, конечно, не могут возникнуть и существовать одновременно на основе двух языков, но они возникают и существуют в мозгу одного и того же человека попеременно на основе нескольких языков.

*

Рассмотренный нами вопрос тесно связан с другим, разрешение которого имеет важное значение, а именно, с вопросом о том, как следует понимать положение о единстве языка и мышления в условиях национального многообразия языков.

Разработка этого вопроса имеет длинную историю, на которой мы не можем здесь останавливаться. Для нас важно только отметить, что многие современные языковеды, неправильно толкуя *различные языковые факты*, постулируют единство мышления и языка только как единство мышления и одного определенного (родного) языка. При этом, отождествляя язык и мышление и ссылаясь на своеобразие каждого отдельного языка, эти языковеды говорят, что единого человеческого мышления не существует, а что человеческое мышление существует только в национально ограниченной форме. Сравнивая значение некоторых слов и грамматических категорий в различных языках, сторонники подобных взглядов приходят к выводу, что один из этих языков нередко отмечает без всякой надобности детали, которые в другом языке отмечаются только при наличии необходимости, что один язык «подсказывает» своим словом наиболее обобщенное понимание соответствующего факта действительности, в то время как другие языки отводят от этого наиболее обобщенного осмысления. Так, например, природа слов *savoir*, *connaître* во французском языке или *wissen*, *kennen* в немецком якобы затрудняет образование на базе этих языков понятия «знание вообще». Неправильно толкуя факты различного оформления мысли в разных языках, эти исследователи доходят до признания различия самих мыслей в зависимости от строя языка, до признания определенных границ для мышления, устанавливаемых языком; они утверждают, будто бы структура языка не дает возможности замечать известные моменты действительности, а различные языки наталкивают людей «на образование не вполне одинаковых мыслей», что приводит их к разной классификации элементов действительности.

Мы считаем, что если народы, языки которых сравниваются, достигли одинаковой ступени культурного развития в соответствующих областях, то их понятия, являющиеся отображением относящихся сюда предметов или их взаимосвязей, никакого различия не будут иметь, как бы велики ни были расхождения в их языке.

Указанные выше ошибки имеют своим источником отождествление семантики словарных единиц языка и его грамматических форм с мышлением. Правда, необходимо признать, что семантика языка имеет большое значение для возникновения и развития мысли. Та или иная конкретная мысль об определенном предмете или отношении возникает у человека в результате сложного процесса отражения в его сознании соответствующих элементов действительности и знания семантики определенных единиц языка, в которой отразилась и закрепилась познавательная работа предыдущих поколений, их опыт и практика в обмене мыслями посредством языка[1]. Но только с большой натяжкой можно говорить о том, как это иногда делают, что семантика оформляет мысль; а уже совершенно неправильно было бы говорить, что семантика содействует определенному строению мысли, установлению определенных ее границ. Дело в том, что не все, что содержится в языковой единице, составляя ее внутреннюю сторону (семантику), является целью или предметом сообщения. В содержании многих слов и грамматических категорий можно выделить, как мы увидим дальше, помимо вещественного значения и такое, которое имеет чисто формальный характер. Так как в этих случаях семантика используется только как форма, то такое значение часто называется (вполне уместно!) внутренней формой слова или грамматической категории. Особенность внутренней формы слова или грамматической категории состоит в том, что она не является ни целью, ни предметом сообщения и поэтому может даже полностью отсутствовать.

Возьмем пример. Лексическое значение слов: русского *семьдесят пять* и французского *soixant-quinze*—одно и то же, но различной является их внутренняя форма: семьдесят-пять: шесть-десят-пятнадцать. Здесь можно говорить о различном оформлении мысли. *Однако различие в оформлении мысли заключается не в различном строении* понятия числа, а только в различном выборе признака для его наименования. Насколько мало существенны такие признаки в названиях чисел видно из того, что они обычно *не* замечаются даже тогда, когда их строение противоречит построению счетных приборов или наборного механизма телефона.

Другой пример. Русскому выражению *ему пошел шестой десяток* соответствует в немецком языке выражение: *er ist in den fünfzigern*. Оба выражения обозначают один и тот же возраст, но в немецком языке с использованием числительного *пятьдесят*, а в русском — с использованием числительного *шестой* (десяток). Внутренняя форма этих выражений различна. Однако это различие, конечно, не может навести на мысль русского человека, для которого это выражение подходит, что он старше своего одноголка-немца только потому, что русское выражение «звучит» старше.

Сущность внутренней формы применительно к названиям хорошо характеризуется в следующей цитате, приводимой В. И. Лениным: «Что же такое название? Служащий для различения знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его целостности»[2].

Национальное своеобразие внутренней формы слова отражает, конечно, специфику общественного опыта данного народа в его конкретной истории, но следует отметить, что выбор признака обыкновенно является в большей или меньшей степени произвольным и часто не имеет принципиального значения[3]. Правда, мы можем говорить о более удачной или менее удачной внутренней форме смотря по тому, является ли признак, положенный в основу наименования, более или менее существенным свойством предмета.

Следует признать, что множество слов имеет очень удачную внутреннюю форму, например, русские слова *млекопитающее, грызун, водохранилище, пятилетка*. Немецкое слово *Bewusstsein* «сознание» содержит прямое указание в своем составе на то, что сознание — это осознанное бытие. Надо, однако, сказать, что конкретное смысловое содержание внутренней формы в известных пределах остается безразличным; мы пользуемся нередко даже словами, в основе которых лежит признак случайный и несущественный или даже неверный, основанный на неправильном понимании предмета или явления в прошлом (ср., например, *восход, заход* солнца). Дело, однако, никогда не доходит до того, чтобы внутренняя форма слова приводила к установлению определенных границ для мысли. Если говорящий резко ощутит противоречие между внутренней формой слова и его лексическим значением, то также слово заменяется новым словом; если же это противоречие особенно резко не выступает, тогда говорящий не

---

[1] Ср. А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, О лингвистических основах преподавания иностранных языков, «Ин. яз. в шк.», 1954, № 3, стр. 43.

[2] См. В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 320.

[3] Ср. Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953, стр. 10.

обращает внимания на внутреннюю форму и забывает ее (ср., например, *столяр* — делающий столы; *плотник* — делающий плоты; *гражданин* — житель города)— происходит деэтимологизация слова. Забвению старой внутренней формы, которая стала рассматриваться как неправильная или неуместная, способствует разрушение старой внешней (звуковой) формы слова, являющейся носительницей этой внутренней формы. Так, например, *масло*, *мешок* потеряли свою связь с корнями *мазать* и *мех* совершенно. Как выяснено на многих примерах Л. А. Булаховским[1], условия для деэтимологизации особенно благоприятны, когда из употребления исчезает основное слово и остаются лишь производные (ср.: *окно—око*, *устье* — *уста*).

В каждом языке имеется множество слов с разрушенной или утерянной внутренней формой — разрушенной или утерянной потому, что она оказалась неправильной или неуместной. В таких словах, лишенных внутренней формы, лексическое значение выражено данным звукосочетанием непосредственно. Надо думать, что наличие большого количества слов, лишенных внутренней формы и вследствие этого и з о л и р о в а н н ы х этимологически одно от другого, в какой-то степени усложняет процесс говорения и мышления. Поэтому мы наблюдаем случаи создания внутренней формы вновь, когда она почему-либо отсутствовала (явление э т и м о л о г и з а ц и и, или народной этимологии). Мы видим, таким образом, что внутренняя форма слова, представляя собой мотивировку названия, оказывается полезной не только для понимания предмета, но и для запоминания его названия. К дифференциации же самой мысли она не приводит.

Расхождение между различными языками нередко проявляется в том, что какое-либо понятие в одном языке получает свое выражение в особом слове, в то время как в другом языке такого слова может не быть. Например, в английском или во французском языке имеется особое слово для обозначения кисти руки: *hand/main*, а в русском языке такого слова не имеется, и поэтому русскому слову *рука* соответствует в английском и французском либо *hand/main*, либо *arm/bras*. Однако сделать отсюда вывод, что указанные языки, в силу именно э т о г о их своеобразия, выделяют разные объективно существующие моменты действительности и, таким образом, наталкивают людей на образование не вполне одинаковых мыслей, было бы неправильным. Дело в том, что оба осмысления того же самого факта действительности (верхней конечности): «объединяющее» (рука в целом) и «разделяющее» (передняя часть, кисть руки) русским языком одинаково обеспечиваются, несмотря на наличие одного только слова. Это видно из следующих примеров: *Он взял ребенка на руки*, *Отнялась правая рука* (здесь мы имеем дело, очевидно, с «объединяющим» осмыслением верхней конечности); *Снять с руки кольцо*, *Отроду не брал он карты в руки* («разделяющее» осмысление). Отсюда, кроме того, отнюдь не следует, что русское слово *рука* направляет наше внимание прежде всего на всю данную конечность как целое. Не располагая вообще особым словом для обозначения передней части верхней конечности человека, русский язык обозначает и то и другое одним и тем же словом *рука*, предоставляя слушателю вывести из контекста или ситуации, что́ именно конкретно имеется в виду; при наличии же особой необходимости слово *рука* для обозначения всей руки противопоставляется словосочетанию *кисть руки* для обозначения части ее.

В чулымско-тюркском языке нет особых слов, выражающих понятия «шерсть», «перо», «чешуя». Все эти понятия выражаются словом *тӱгӱ*; это слово означает шерсть (точнее: «его шерсть»), оперение или чешую, смотря по тому, идет ли речь о кожном покрове птицы, рыбы или зверя. Вряд ли можно говорить здесь о том, что *тӱгӱ* представляет собой более высокое обобщение, чем то значение, которое заключено в русском слове *перо*, *шерсть* или *чешуя*. В то же самое время отсутствие особых слов для выражения понятий «перо», «шерсть» и «чешуя» отнюдь не ведет к смешению этих понятий, к отступлению от правильного осмысления действительности. Различение понятий «чешуя», «шерсть», «перо» имеет для рыболовов и охотников огромное практическое значение, и поэтому они, не имея в своем языке соответствующих слов-наименований, умеют точно определить по клочкам шерсти, перьям или чешуе, когда они их находят, вид животного, которому они принадлежали.

Приведем еще другой пример. В немецком языке (как и во многих других языках) отсутствует специальное слово для обозначения суток. Но сделать отсюда вывод, что язык этим самым затрудняет наиболее обобщенное осмысление данного промежутка времени, было бы неправильно. При наличии особой необходимости сутки могут быть обозначены словосочетанием *Tag und Nacht* «день и ночь», *24 Stunden* «24 часа» и другими способами. Обычно же значение, заключенное в слове *сутки*, передается словом *Tag*; например: *Der Tag hat 24 Stunden* «Сутки имеют 24 часа»; *Er lebte danach nur noch drei Tage* «Он прожил после этого только трое суток». Надо сказать, что и в русском языке, имеющем особое слово для выражения «целого» (*сутки*), вовсе не всегда употреб-

---

[1] См. Л. А. Б у л а х о в с к и й, Деэтимологизация в русском языке, «Труды Ин-та русского языка», т. I, М—Л., 1949.

ляется именно данное слово; часто в этом значении применяется слово *день*: *В январе 31 день*; *Он пять дней болел*.

В подобных случаях, когда слово с более узким значением (*Tag* «день») функционирует в языке в значении более широком (*Tag* «сутки»), можно рассматривать первое значение как внутреннюю форму для второго, и тогда вопрос о расхождении между языками сводится опять-таки к расхождению во внутренней форме слов, как и в предыдущем случае. Интересно при этом отметить, что такая внутренняя форма, полученная на основе прежнего лексического значения слова, может остаться живою, как в приведенном примере, или же не осознаваться больше, как, например, в выражении *пять лет*.

Последний пример показывает также, что два слова могут различаться по своей внутренней форме и в своем употреблении (*один год, одного года, два года, двух лет, пять лет, к пяти годам*), имея совершенно одинаковое лексическое значение (промежуток времени в 12 месяцев). Такие случаи могут затруднять усвоение данного языка, но не дают никакого основания говорить о различном содержании мысли. Отметим между прочим, что и древненемецкий язык мог обозначать год словами, выражавшими фактически только его часть. Ср., например, в песне о Гильдебранде: *Ih wallôta sumaro enti wintro sehstic ur lante* «Я странствовал 60 зим и лет за рубежом». Мы имеем здесь дело не с разным осмыслением действительности, а с различными способами выражения одного и того же понятия времени (*год*).

Другой случай расхождения языков, обусловленный их национальным своеобразием, может заключаться в том, что каждый из этих языков имеет свое особое слово для известного понятия, но объем лексического значения данных слов не совпадает. Так, например, русскому *иди* может соответствовать в немецком *geh*, в алтайском *бар*. Однако значение этих слов не совпадает. Русское *иди* предлагает слушателю отправиться пешком, но не указывает, в каком направлении; немецкое слово *geh* обозначает то же самое, но указывает еще направление, а именно: в сторону, прочь от говорящего; алтайское слово сходится с немецким в том отношении, что указывает то же самое направление, но, в отличие от русского или немецкого слова, не дает указания насчет способа передвижения: *отправляйся* (пешком ли, на телеге, на лодке — безразлично). Само собой разумеется, что реальная действительность осмысливается говорящим во всех этих случаях одинаково точно, независимо от языка, на основе которого происходит это осмысление. Кроме того, следует подчеркнуть еще, что если известен контекст или ситуация, всегда возможен точный перевод, т. е. точная передача содержания мысли с одного языка на другой. Отсутствие в русском или немецком языке такого обобщающего слова, как *бар* «идти, ехать», не лишает нас возможности иметь и выразить соответствующее понятие, подобно тому как человек, говорящий на французском или немецком языке, может легко мыслить и выразить знание «вообще», несмотря на то, что в этих языках лексически дифференцируются два вида знания: *savoir/wissen, connaître/kennen*.

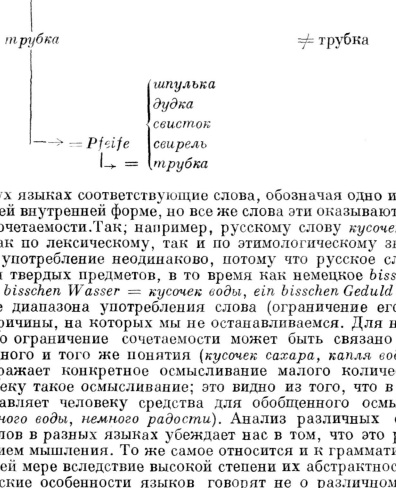
Приведенное выше алтайское слово *бар* «иди (туда)» имеет свои полный антоним в слове *кел*, которое может означать в русском «иди (сюда)». В немецком языке этому слову *kel* соответствует слово *komm*, которое, однако, не является полным антонимом упомянутого выше немецкого слова *geh*, потому что означает передвижение не только на ногах, но и другими способами. Русское *иди* в зависимости от контекста может иметь два противоположных значения, одно из которых точно совпадает с немецким («иди туда»=*geh*); но ни одно из обоих значений русского слова *иди* точно не совпадает (вне контекста) с алтайскими словами *бар* и *kel*.

Имеется немало других случаев расхождения семантики слов в различных языках. Очень часто при этом бывает так, что эквивалентность слов и выражений является односторонней, т. е. необратимой. Так, например, русскому слову *трубка* может соответствовать в немецком языке иногда *Pfeife* («курительная трубка»); иногда же и *Rohr* («медная трубка»). Если же мы возьмем слова *Pfeife* или *Rohr*, то увидим, что им в русском языке в тех или иных случаях соответствуют разные другие слова, а не слово *трубка*; русское слово *трубка* является эквивалентом только для одного из различных лексических значений этих слов. Совершенно очевидно, что обобщение, которое содержится в русском слове *трубка*, не является вместе с тем обобщением того, что содержится в немецких словах *Pfeife* и *Rohr*, поскольку *камыш, ствол, чубук, паровозный свисток, дудка* и т. д. по-русски *трубкой* не называются. Все это можно изобразить схематически (см. схему на стр. 84).

К сказанному необходимо добавить еще, что не следует смешивать обобщение, содержащееся в словах языка («значение»), с понятием. Понятие становится четко отработанным при наличии определения, т.е. выраженного особым предложением суждения, в котором указывается ближайший род (или класс) предметов, куда относится данный, и перечисляются его существенные отличительные признаки. Лексическое значение слова совпадает с понятием только у терминов, т. е. у таких слов, которые выражают четко определенные понятия. Отсюда вытекает между прочим, что все понятия, которыми мы располагаем, существуют в речи; огромные фонды понятий, не-

объятные для одного человека, заключены в произведениях письменности; другие же, гораздо менее обширные, существуют в психике людей, а именно: в речевых произведениях или отрезках речи, отложенных в их памяти.

Надо признать, что семантика слов и грамматических форм в различных языках, пожалуй, чаще всего (это зависит от степени родства языков) в чем-нибудь различается.



Бывает так, что в двух языках соответствующие слова, обозначая одно и то же понятие, сходятся даже по своей внутренней форме, но все же слова эти оказываются различными из-за различия их сочетаемости. Так, например, русскому слову *кусочек* соответствует в немецком языке как по лексическому, так и по этимологическому значениям слово *bisschen*. Однако их употребление неодинаково, потому что русское слово сочетается только с названиями твердых предметов, в то время как немецкое *bisschen* сочетается с любым словом (*ein bisschen Wasser* = *кусочек воды*, *ein bisschen Geduld* = *кусочек терпения*). Ограничение диапазона употребления слова (ограничение его сочетаемости) имеет свои особые причины, на которых мы не останавливаемся. Для нас здесь важно только отметить, что ограничение сочетаемости может быть связано с лексической дифференциацией одного и того же понятия (*кусочек сахара*, *капля воды*, *немного радости*), которая отражает конкретное осмысливание малого количества. Но язык не навязывает человеку такое осмысливание; это видно из того, что в случае необходимости он предоставляет человеку средства для обобщенного осмысливания (ср.: *немного сахара*, *немного воды*, *немного радости*). Анализ различных случаев расхождения семантики слов в разных языках убеждает нас в том, что это расхождение не является расхождением мышления. То же самое относится и к грамматическим формам (и даже в еще большей мере вследствие высокой степени их абстрактности).

Такие специфические особенности языков говорят не о различном осмысливании людьми действительности, а только о различном о ф о р м л е н и и этого осмысливания средствами языка. Все эти внутренние особенности языков, названные К. Марксом «духом» языка[1], связаны с мышлением, но не составляют его содержания.

А. П. Дульзон

КОНВЕРСИЯ В СОВРЕМЕННОМ МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ

Словарный состав языка находится в процессе непрерывного движения. Одни слова появляются, другие исчезают. В результате непрерывного изменения некоторые слова претерпевают *ряд фонетических и морфологических преобразований*.

Аффиксы как словообразовательные элементы играют одну из главных ролей в обогащении молдавской лексики. Так, посредством суффикса *-мат-е* из прилагательных образуется целый ряд существительных с абстрактным значением (*дрепт* «справедливый» — *дрептате* «справедливость»; *ноу* «новый» — *ноутате* «новость» и др.). Такой способ образования слов является весьма продуктивным в современном молдавском языке. Префикс *дис-*, *диз-* придает некоторым глаголам противоположное значение по сравнению со значением бесприставочного глагола (*а коасе* «шить» — а *дискоасе* «распарывать, отпарывать»; *а компуне* «составлять» — *а дискомпуне* «разлагать на состав-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произведения, т. I, Госполитиздат, 1948, стр. 212.

ные части» и др.). Иногда и суффиксы, и приставки одновременно, присоединяясь к той или иной основе, образуют новые слова. Ср. образование отглагольного прилагательного *ын-сэмынц-ат* «засеянный» от существительного *сэмынц-э* «семя».

Однако морфологические средства не являются единственным путем пополнения словарного состава молдавского языка. Имеются и другие средства словообразования. Довольно часто то или иное слово переходит из одной грамматической категории в другую, не претерпевая при этом никаких морфологических изменений. Такой переход слов из одной части в другую относится к морфолого-синтаксическим способам словообразования и объясняется тем, что в процессе развития грамматического строя языка части речи накапливают все новые и новые грамматические и семантические качества, создающие возможности для новой классификации слов по частям речи. Так, в молдавском языке прилагательное может приобрести лексико-семантическое значение и выполнять синтаксическую функцию существительного или наречия, существительное может переходить в категорию прилагательных, наречий или даже местоимений и т. д. Если прилагательное, приобретая лексико-семантическое значение и выполняя синтаксические функции существительного, переходит в грамматический разряд последнего, то такой процесс называется субстантивацией или субстантивизацией (лат. substantivum «существительное»[1]. Если же прилагательное или существительное переходит в категорию наречий, то этот процесс называется адвербиализацией (лат. adverbium «наречие»). Можно говорить также о прономинализации, вербализации и т. д.

Имеется, однако, и общий термин, который применяется тогда, когда речь идет вообще об этом особом виде словообразования, т. е. когда лексические единицы формируются без использования морфологических словообразовательных элементов в виде суффиксов и префиксов. Таким термином следует считать конверсию (лат. conversio «обращение, превращение»), который хотя и не получил еще в лингвистической литературе широкого применения (его употребляют преимущественно в отношении английского языка[2]), но представляется весьма удобным и точным, так как указывает на определенный, специальный способ словообразования, относящийся к различным частям речи.

Явление конверсии играет значительную роль в обогащении словарного состава языка новыми средствами выражения и образует особый раздел словообразования. Тем не менее, если мы обратимся к различным пособиям не только по молдавскому и румынскому, но и по другим языкам, то нигде не найдем ни постановки указанной проблемы в целом, ни систематического ее изложения. Обычно, когда трактуется та или иная часть речи, вскользь затрагиваются и вопросы возможности ее перехода из одной категории в другую[3]. В некоторых грамматиках румынского языка этот взаимопереход излагается в специальной главе о словообразовании[4], однако в них не дается обширного и глубокого изложения этого вопроса.

Задача настоящей статьи дать краткий анализ (на материале молдавского и других романских языков) взаимоотношений существительного, с одной стороны, и прилагательного, глагола и наречия, с другой, с точки зрения их взаимоперехода, учитывая при этом морфологическое оформление, синтаксическую функцию в предложении и лексико-семантическое значение данных частей речи. Мы оставляем в стороне систематическое описание субстантивации, адъективизации, прономинализации, вербализации, адвербиализации и прочих явлений, имеющих довольно широкое распространение в молдавском и других восточнороманских языках. Мы не касаемся также вопроса исторического происхождения этих явлений.

---

[1] См.: Л. Б. Шерльмуттер, Переход прилагательных в существительные, «Р. яз. в шк.», 1948, № 1; А. М. Барзилович, Субстантивация прилагательных в русском языке. Автореф. канд. дисс., Киев, 1952; З. Черепанова, Имена существительные современного русского языка, возникшие благодаря субстантивации имен прилагательных и причастий, «Ученые записки Вологод. пед. ин-та», т. 13, 1953; М. Я. Немировский, К вопросу о так называемой субстантивации, сб. «Вопросы славянского языкознания», кн. 3, Львов — Харьков, 1953.

[2] В. Н. Ярцева, например, употребляя этот термин, ставит его в кавычки и с пометой «так называемый» (см. В. Н. Ярцева, О внутренних законах развития языка.., ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 3, стр. 194). А. И. Смирницкий в первой, специально посвященной этой проблеме статье, в заглавии также снабжает этот термин оговоркой: «Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке» («Ин. яз. в шк.», 1953, № 5, стр. 21); вторую свою статью «По поводу конверсии в английском языке» («Ин. яз. в шк.», 1954, № 3) он озаглавливает без оговорки.

[3] См.: A. Philippide, Gramatica elementară a limbii române, Iaşi, 1897; I. Iordan, Gramatica limbii române, Bucureşti, [1937] (2-a ed. — 1946); «Gramatica limbii române», vol. I, ed. Akad. R. P. R., Bucureşti, 1954.

[4] См.: I. A. Candreá, Cours complet de grammaire roumaine, Bucarest, «Cartea românească», б. г., стр. 268—275; A. Scriban, Gramatica limbii româneşti. (Morfologia), Iaşi, 1925, стр. 164—166.

*

При определении и выделении той или иной лексической единицы как отдельного слова учитывается прежде всего система сосуществующих, обусловливающих друг друга и функционально объединенных форм[1].

Исходя из общего правила о порядке слов в предложении в молдавском языке, прилагательное как определяющее слово стоит после определяемого существительного. В данном случае прилагательное мужского рода имеет одну форму для единственного числа и другую для множественного, для всех падежей, независимо от того, употреблено ли существительное без артикля, с неопределенным или с определенным артиклем. Ср. прилагательное *болнав* (ед. число), *болнавь* (мн. число).

Прилагательное женского рода имеет также две формы, с той лишь разницей, что одна служит для им.-вин. падежа ед. числа, а другая — общая для род.-дат. падежа ед. числа и для всех падежей мн. числа. Ср. *болнавэ* — *болнаве*.

В качестве стилистического приема, для того чтобы выделить особо значение прилагательного, в молдавском (как и в румынском) языке имеется возможность ставить определяющее прилагательное не после определяемого существительного, а перед ним. В данном случае прилагательное изменяется по падежам (*ун болнав, а унуй болнав, болнавул, болнавулуй* и т. д.), а существительное оформляется как прилагательное, когда оно стоит на втором месте, т. е. существительное мужского рода имеет одну форму для ед. числа (*ом*) и другую для мн. числа (*оамень*), а существительное женского рода — одну для им.-вин. падежа ед. числа (*фемее*) и другую — общую для род.-дат. падежа ед. числа и для всего множественного числа (*фемей*).

Возможность такого препозитивного использования прилагательного и послужила, видимо, исходным пунктом для употребления определенной группы прилагательных в качестве существительных. Надо отметить, что нет ни одной формы прилагательного типа *болнав* (ед. число муж. род), *болнавэ* (ед. число жен. род), не совпадающей с соответствующими формами этого же слова (*болнав* и т. п.) в качестве существительного. Указанное явление объясняется тем, что такие слова в молдавском языке изменяются при посредстве артикля (неопределенного — проклитического и определенного — энклитического). При склонении артикль изменяется по падежам, родам и числам, а имена (как существительные, так и прилагательные) остаются, собственно говоря, без всяких морфологических изменений. При этом артикль употребляется один раз при слове, которое стоит на первом месте[2]. Вся система сосуществующих морфологических форм в указанном использовании полностью совпадает. Слово *болнав* как прилагательное не имеет никаких особых форм, не совпадающих с формами того же слова *болнав*, использованного как существительное. Совпадает даже и форма обращения, выраженного таким препозитивным прилагательным, хотя оно и не субстантивируется, например: «Ох, дрептуле пэринте, — браминул а рэспунс» (А. Донич, Браминул) «О, справедливый отец, — ответил брамин».

Положение дел не меняется и в том случае, если имеется необходимость употребить два прилагательных в препозиции. Артикль употребляется все равно только один раз, при первом прилагательном; например: «Весела верде кымпие аку-й тристэ, вештежитэ» (В. Александри, Сфыршит де тоамнэ) «Веселая зеленая нива теперь приуныла и поблекла».

Прилагательное, будучи оформленным при посредстве определенного артикля, сохраняет свою самостоятельность в отношении своего расположения в предложении. Между определяющим прилагательным и определяемым существительным могут стоять и другие слова (притяжательные местоимения и т. д.), например: «Стропя ку судоаре, Микул сэу огор» (В. Александри, Моара де вынт) «Потом обливал он свою небольшую ниву».

Учитывая указанное совпадение сосуществующих форм, можно ли говорить о том, что мы имеем дело в данном случае с одним и тем же словом, т. е. можем ли мы отождествить *болнав* как прилагательное и *болнав* как существительное?[3] Конечно, нет. Слово оформляется не только морфологически, но и синтаксически. Кроме того,

---

[1] См. В. В. Виноградов, О формах слова, ИАН ОЛЯ, 1944, вып. 1, стр. 36.

[2] Оформление обоих компонентов словосочетания, как, например, *юбитул кастелул меу* «мой любимый дворец» (К. Стамати, Уник к бабочке.., сб. «Поэзия Молдавии», Кишинев, 1954, стр. 12, [на молдав. яз.]) не соответствует молдавским синтаксическим правилам. Видимо, здесь графическая ошибка; должно быть *юбитул кастел эл меу* или же *юбитуя, кастелуя меу*.

[3] Рассматривая очень близкие по своей морфологической форме прилагательное *худой* и наречие *худо*, акад. Л. В. Щерба писал: «...такие слова, как *худой* и *худо*, мы очень склонны считать формами одного слова, и только одинаковость функций слов типа *худо* со словами вроде *вкось, наизусть* и т. д. и отсутствие параллельных этим последним прилагательных создают особую категорию наречий и до некоторой степени отделяют *худо* от *худой*» (Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, сб. «Русская речь», Новая серия, II, Л., 1928, стр. 19).

различают слова и распределяют их по частям речи, исходя также из лексико-семантического значения данной лексической единицы.

Для того чтобы отличить прилагательное *болнав* от существительного *болнав*, следует учитывать лексико-семантические особенности и синтаксическую функцию данных слов[1]. В примере *Ел ый ун ом болнав* «Он человек больной» слово *болнав* выражает качество, свойство предмета, названного существительным *ом*, т. е. *болнав* выражает лексико-семантическое значение прилагательного.

Однако слово *болнав* употребляется и самостоятельно, т. е. без существительного (*Болнавул с'а инсэнэтошит* «Больной выздоровел», *Медикул л-а визитат пе болнав* «Врач посетил больного» и т. д.). В данных случаях слово *болнав* уже не определяет качества какого-либо предмета, а непосредственно называет предмет, имеющий то или иное качество. Иначе говоря, в данных примерах слово *болнав* выражает значение существительного точно так же, как и любое другое существительное. Оно приобретает основное лексико-семантическое значение существительного — предметность и называет самостоятельный предмет, охарактеризованный с точки зрения его доминирующего качества, или же выражает определенное качество, представленное как самостоятельное понятие.

Кроме того, при переходе прилагательного в существительное происходит процесс сужения и конкретизации лексико-семантического значения имени прилагательного. «Образование существительных от прилагательных,— писал А. А. Потебня,— состоит в переходе от того состояния мысли, когда качественное имя прилагается к разнородным вещам, служа только непосредственным или предикативным аттрибутом к тому состоянию, когда оно начинает прилагаться лишь к одной вещи или и многим, но однородным и становится субъектом или объектом»[2].

В молдавском языке прилагательное выражает какой-либо признак или свойство, которое, обычно, может относиться к самым различным предметам. Так, прилагательное *болнав* может относиться и к людям (*ом болнав* «больной человек»), и к животным (*кал болнав* «Больной конь»), и даже к абстрактным понятиям (*нэлучирь болнаве* «нездоровые иллюзии»). При переходе в существительные *болнав* сужает свое значение и относится почти исключительно к людям. Такой процесс сужения и конкретизации лексико-семантического значения слова происходит в ряде прилагательных, перешедших в существительные: *сэтул* «сытый», *флэмынд* «голодный», *богат* «богатый», *сэрак* «бедный» и др. Например: *Богатул ну креде ничодатэ челуй сэрак, ничи сэтулул челуй флэмынд* (пословица) «Богатый бедного и сытый голодного не разумеет».

Слово *болнав*, употребленное в качестве существительного, приобретает и все грамматические черты существительных. Как и у всех существительных, род и число становятся лексико-грамматическими категориями[3]. Так, в приведенном примере *Медикул л-а визитат пе болнав* «Врач посетил больного» слово *болнав* мужского рода единственного числа. Мы можем заменить данную форму словом женского рода единственного числа *болнавэ* (*Медикул а визитат-о пе болнавэ* «Врач посетил больную»), или формой мужского рода множественного числа *болнавь* (*Медикул й-а визитат пе болнавь* «Врач посетил больных»), или, наконец, формой женского рода множественного числа *болнаве* (*Медикул ле-а визитат пе болнаве* «Врач посетил больных»). Несмотря на то, что в данных примерах лексическое значение меняется, все же синтаксические отношения между словами остаются одними и теми же. И *болнав*, и *болнавэ*, и *болнавь*, и *болнаве* являются прямыми дополнениями глагола-сказуемого *а визитат*.

Совершенно по-иному обстоит дело, если слово *болнав* употребляется в качестве прилагательного, т. е. когда оно выполняет типическую и основную функцию всякого прилагательного — функцию согласуемого определяющего слова к имени существительному[4]. Ср., например, *Медикул л-а визитат пе товарэшул болнав* «Врач посетил больного товарища». В данном примере слово *болнав* выполняет роль прилагательного, т.е. определяет качество существительного *товарэш*. Теперь уже нет возможности заменить слово *болнав* формами *болнавэ*, *болнавь*, *болнаве*, потому что у прилагательного род и число зависят непосредственно от грамматических категорий определяемого существительного.

Падежные формы слова, употребляемого в функции существительного, становятся самостоятельными. Ср. *Еу л-ам визитат пе болнав* «Я посетил больного», *Еу м'ам дус ла болнав* «Я пошел к больному», *Еу вин дела болнав* «Я иду от больного» и т. д. В имени-

---

[1] Известно, что акад. А. А. Шахматов разграничивал слова по частям речи прежде всего по синтаксическому принципу. Он писал: «... категория грамматическая познается в синтаксисе...» (А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 420).

[2] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, III, Харьков, 1899, стр. 72.

[3] Ср. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 155.

[4] См. В. В. Виноградов, Вопросы изучения словосочетаний, ВЯ, 1954, № 3, стр. 7.

тельном падеже слово *болнав* может употребляться в качестве подлежащего; ср. *Болнавул с'а ынсэнэтошит* «Больной выздоровел». В косвенных падежах оно играет роль различных второстепенных членов предложения; ср. *Диета. болнавулуй ый аспрэ* «Диета больного строга». Как и любое существительное, *болнав* приобретает способность иметь определительные и поясняющие слова, выраженные как прилагательными, так и предложными конструкциями. Например: *Болнавий дин спитале ыс ынгрижиць ку мултэ луаре аминте де медичь* «Стационарные больные пользуются особой заботой врачей».

Сейчас, конечно, нельзя говорить о полной, стабильной, постоянной субстантивации и, значит, о конверсии в собственном смысле этого слова, рассматриваемой как «вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова»[1].

В приведенных примерах из молдавского языка наблюдается не только совпадение «основных» (изначальных) форм, но и абсолютное тождество всех форм прилагательного типа *болнав*, перешедшего в разряд существительных. Такие взаимоотношения между прилагательными и существительными в молдавском и румынском языках являются ярким примером так называемой «окказиональной» или синтаксической субстантивации[2]. Окказиональность субстантивации доказывает и факт невозможности образования уменьшительной формы от слова *болнав*, употребленного как существительное, в то время как *болнэвьор* — уменьшительная форма от прилагательного *болнав*.

Такие примеры взаимоотношения между словами, употребляемыми как прилагательные, и словами, употребляемыми как существительные, не являются единичными в восточнороманских языках. Конечно, не все молдавские или румынские прилагательные могут играть двоякую синтаксическую роль и выражать значение двух частей речи (прилагательного и существительного), не претерпевая при этом никаких особых морфологических изменений. Только особая группа молдавских прилагательных с определенным лексическим значением имеет эту возможность.

Однако такие прилагательные, которые употребляются и в качестве существительных, составляют довольно продуктивную группу. Они относятся к названиям лиц по происхождению, по профессии, по социальному положению, по их внутреннему или внешнему признаку. Сюда относятся также названия животных по их внешнему признаку, цвету и т. д.

В эту категорию входят такие слова: *алб* «белый» (*албул окюлуй* «белок глаза», *албул омэтулуй* «белизна снега»); *богат* «богатый», *болнав* «больной», *бэлан* «белый» (кличка лошади, собаки, вола), *бэтрын* «старый, старик»[3], *векь* «старый» (*лупта ноулуй ымпотриса векюлуй* «борьба нового против старого»), *друмец* «прохожий, проезжий», *комсомолист* «комсомольский, комсомолец», *кэлэрец* «наезднический, наездник», *лат* «широкий, ширина» (*латул пынзий* «ширина полотна»), *лунг* «длинный, длина» (*лунгул насулуй* «длина носа»), *милитар* «военный», *негру* «черный, негр, чернота» (*а фаче албул негру ши негрул алб* «сделать из белого черное и из черного белое»), *пустиу* «пустынный, пустой, пустыня», («Дар ятэ дин пустиурь ун алб вырстеж кэ вине» (В. Александри, Дан, кэпитан де плай), буквально: «Но вот из пустыни вихрь белый идет»], *сурд* «глухой», *сурдомут* «глухонемой», *трудитор* «трудящийся» [«Еу зыдеск ни ку фиече зы креште о касэ ын лок де руинэ, кан сэ поатэ ынтр'ынса трэи т р у д и т о р и й де-о самэ ку мине» (К. Кондря, Плата), буквально: «Я строю, и с каждым днем растет дом, вместо развалин, чтобы в нем могли жить такие же трудящиеся, как я»], *ынвэцат* «ученый», *ынцэлепт* «мудрый, мудрец» и др.[4]

Если можно говорить о том, что переход прилагательных в существительные носит зачастую временный, «окказиональный» характер, то это тем более относится к обратному процессу, т. е. к переходу некоторых существительных в категорию прилагательных. Такие примеры можно встретить преимущественно в поэзии, где следует их ин-

---

[1] А. Смирницкий, Так называемая конверсия.., стр. 24; ср. его же, По поводу конверсии в английском языке, стр. 12.

[2] Ср. К. А. Левковская, О словообразовании и его отношении к грамматике, сб. «Вопросы теории и истории языка...», стр. 169; ср. также М. Я. Немировский, указ. соч., стр. 61—63.

[3] Во французском языке имеются специальные слова: прилагательное *vieux* «старый», существительное *vieillard* «старик».

[4] В современном румынском языке субстантивируются и другие слова, которые в молдавском языке не выступают в этой функции. Ср. «Sovieticii mi pricepean de ce mă framînt» (M. Sadoveanu, Mitrea Cocor). «Советские люди не понимали, почему я волнуюсь» О возможности субстантивации некоторых прилагательных в румынской топонимике см. E. Petrovici, Etimologia toponimicelor *Doftana*, *Dofteana*, *Doftănet*, *Doftănița* și a cuvîntului *dohot*, «Studii și cercetări lingvistice», t. V, № 1—2, 1954.

терпретировать в большинстве случаев как своего рода поэтическую вольность, так как они не получили широкого распространения в языке.

Как и у прилагательных вообще, у таких адъективированных существительных категории падежа, рода и числа не выражают уже самостоятельных отношений, а служат только средством выражения зависимой связи данного адъективированного существительного от определяемого им слова, например: «Ла аварул поате 'нтра-вей, орь ла касэ к э м э т а р э» (Г. Асаки, Ла а мя пунгэ) «Ты попадешь, наверно, к какому-либо скряге или в р о с т о в щ и ч е с к и й дом»; «Сэ май привеск одатэ кымпия шнфлоритоаре, Че зылеле-мь к о п и л е ши албе ле-а пэсут Че аузи одатэ к о п и л а-мь мурмураре Че жокуриле-мь жуне, збурдаря мь-а вэзут» (М. Еминеску, Дин стрэинэтате) «Увидеть еще раз цветущее поле, которое выткало мои д е т с к и е и светлые дни, слышало мой д е т с к и й лепет, видело мои юные игры, мою резвость».

В новой синтаксической функции и с новым лексико-семантическим значением такие адъективированные существительные входят полностью в словоизменительную систему прилагательных. Они приобретают возможность иметь степени сравнения. Такое использование встречается как в устном народном творчестве, так и у писателей, например: «[Чобанул молдован] Аре ой май мулте Мындре ши корнуте, Ши кай ын - эцаць Ши кынь май б э р б а ц ь» (Миорица) «[Молдавский чабан] имеет больше овец красивых и рогатых, объезженных лошадей и б о л е е х р а б р ы х собак»; «М'ам фэкут м а й б э р б а т ши май ындрэзнец» (Дософтей — XVII в.) «Я стал б о л е е х р а б р ы м и более смелым». В современном румынском языке имеются и другие случаи употребления существительных в качестве прилагательных. Например: *hârtie elefant* «слоновая бумага», *hârtie smirghel* «наждачная бумага» и др.

Необходимо, однако, отметить, что такое использование существительных в определительной функции прилагательных является весьма ограниченным и носит зачастую архаический характер, а в современном языке совершенно «окказиональный».

***

Взаимоотношения по конверсии существуют не только между прилагательными и существительными. Они имеются также между существительными и глаголами.

В молдавском языке имеются две формы инфинитива[1]: краткая инфинитивная форма (*а бате* «бить», *а лукра* «работать» и др.) и полная инфинитивная форма (*батере, лукраре* и др.). В течение долгого времени, вплоть до XIX в., обе инфинитивные формы выполняли глагольные функции: отрицательного императива (типа *ну фачере* «не делай», *ну дучере* «не неси» и др.), и сложных временных форм (например, у летописца XVII в. Гр. Уреке: «Винерь де диминяцэ ау вынчепут а батере четатя»[2] «В пятницу с утра начал обстреливать крепость»). В некоторых устойчивых сочетаниях полная инфинитивная форма сохраняет и в современном языке свою глагольную функцию; ср., например, «Ымь ера акум а скэпаре де дынсул» (И. Крянгэ, Аминтирь) «Не знал, как отвязаться от него».

Кроме того, полная инфинитивная форма сохраняет свое глагольное значение в довольно редко употребляемых инверсированных формах настоящего времени условного наклонения. Такими формами выражается обычно какое-нибудь страстное желание, например:

кынтаре-аш «я бы пел»	*кынтаре-ам* «мы бы пели»
кынтаре-ай «ты бы пел»	*кынтаре-аць* «вы бы пели»
кынтаре-ар «он (она) бы пел (а)»	*кынтаре-ар* «они бы пели»

Полные инфинитивные формы употребляются также для выражения проклятия, в бранных выражениях типа: *фире-ар ел ал дракуляй сэ фие* «будь он неладен»[3] и др.

---

[1] Специфические черты инфинитива имеются в различных языках. Так, для русского инфинитива характерно преобладание глагольных свойств, вплоть до категории лица. «Инфинитив потенциально содержит в себе отношение к лицу. . .», — пишет акад. В. В. Виноградов («Русский язык», стр. 604). Что касается других языков, в частности романских, то инфинитив очень часто переходит при посредстве определенного артикля в разряд существительных.

[2] Ср. также у румынского писателя начала XIX в. Ион Будай-Деляну употребление полной инфинитивной формы вместо краткой формы инфинитива, вместо сослагательного и условного наклонений: «Unde norodul fără osăbire A vorbi şi sfătuire (= a sfătui) poate» «Где народ без особых различий может говорить и советоваться»; «Aşa noi voind întâlepţeşte A tocmire (= să tocmim) o dreaptă stăpânire» «Так как мы хотим по мудрому установить справедливое царство»; «Atunci numai şi eu m-aş plecare (= m-aş pleca) La monarhia cea lăudată» «Тогда и я подчинился хваленой монархии» (J. Budai-Deleanu, Ţiganiada, ed. J. Byck, 1953, X, 25, 36, 83).

[3] Ср. A. R o s e t t i, Grammaire de la langue roumaine, Bucarest, 1944, стр. 67.

Кроме этих случаев, составляющих исключение из общего правила, полная инфинитивная форма почти всех глаголов в современном языке целиком перешла в продуктивную категорию отглагольных существительных женского рода. Эта форма называет действия и состояния в предметном плане и очень часто утрачивает значение процесса, указывая на результат действия [1]. Например: *лукраре* «работа», *крештере* «рост, выращивание», *ведере* «зрение, взгляд», *клэдире* «здание, строительство» и т. п. при краткой инфинитивной форме *а кынта* «петь», *а лукра* «работать», *а креште* «расти», *а веде* «видеть», *а зиди* «строить » и т. д., сохранившей и поныне свои глагольные свойства.

Следует отметить, что перешедшие в разряд существительных некоторые полные инфинитивные формы могут иметь две формы для множественного числа, причем каждая имеет отдельное смысловое значение. Это ясно показывает, что данные слова полностью перешли в категорию существительных. Так, слово *мынкаре*, происходящее от глагола *а мынка* «есть, кушать» получило возможность иметь две формы множественного числа с разными конкретными значениями: 1) *мынкэрь* как название действия; в данной форме чувствуется еще понятие глагольности. Ср. пословицу: *Доуэ мынкэрь ну стрикэ* «Два раза поесть не мешает»; 2) *мынкэрурь* «блюда»; в этой форме уже совсем не чувствуется понятия действия [2].

Так как в подобных примерах имеется полная субстантивация, то заметны и некоторые семантические сдвиги в значении слова. Кроме того, перейдя в категорию существительных, субстантивируясь полностью, такие инфинитивные формы выступают как существительные и в отношении возможности образования уменьшительных форм и их сочетания с другими словами. Так, от *мынкаре* «еда» можно образовать уменьшительную форму *мынкэрикэ*, а также субстантивированную предложную конструкцию *демынкаре* [3] «еда, харчи», в свою очередь с уменьшительной формой *демынкэрикэ* «харчишки».

В современном молдавском языке функцию существительного выполняет также корневая часть глагола [4], включающаяся в парадигму определенной категории имен. Так образуется целый ряд отглагольных существительных. С точки зрения их морфологического оформления и распределения по родам данные существительные распадаются на две группы. Некоторые из них представляют корневую часть глагола без всякого морфологического оформителя, например: *а аузи* «слышать», *ауз* «слух»; *а кужета* «думать, мыслить», *кужет* «дума, мысль» ; *а скимба* «менять», *скимб* «обмен»; *а сэрута* «целовать», *сэрут* «поцелуй»; *а лынгеца* «замерзать», *лынгец* «стужа, мороз» и др.

Вторую группу образуют отглагольные существительные, входящие в разряд существительных женского рода и оформленные окончанием *-э*, например: *а лэуда* «хвалить», *лауд-э* «хвала»; *а руга* «просить», *руг-э* «просьба, молитва»; *а уры* «ненавидеть», *ур-э* «ненависть» и др.

Добавление окончания *-э* к корню глагола приводит иногда к фонетическим изменениям самого корня, например: *а гони* «гнать, преследовать», *гоанэ* «погоня, преследование, охота»; *а се теме* «бояться», *тэмэ* «боязнь» и т. д.

---

[1] В других романских языках также имеет место субстантивация инфинитива. В испанском языке инфинитив субстантивируется с артиклем мужского рода: *el hablar* «говорение, речь», ср. молд. *ворбире*; *el saber* «знание», ср. молд. *штире* «знание», «известие»; мн. число *los placeres* «удовольствия, наслаждения», ср. молд. *плэчере* «удовольствие»; мн. число *los cantares* «песни», ср. молд. *кынтаре* «песня». В португальском языке: *o escrever* «писание», ср. молд. *скриере*; *o fallar* «говорение», ср. молд. *ворбире*; мн. число *os plazeres* «удовольствия», ср. молд. *плэчере* «удовольствие»; *os cantares* «песни», ср. молд. *кынтаре* «песня». В итальянском языке *Lo scrivere* «писание», ср. молд. *скриере*, *il leggere* «чтение», ср. молд. *читире*. Примеры из испанского, португальского и итальянского языков позаимствованы у М. Я. Немировского, см. указ. соч., стр. 65. См также: Н. Е. Фролова, Субстантивация инфинитива как один из способов словообразования в современном испанском языке. Автореф. канд. дисс., Л., 1953; Ю. А. Карулин, Субстантивация инфинитива в современном итальянском языке. Автореф. канд. дисс., М., 1953; A. Andriesecu, Numirea acţiunilor prin infinitive lungi substantivate în terminologia ştiinţifică şi tehnică, «Limba romînă», 1954, № 3. О переходе инфинитива в существительные вообще в романских языках см.: F. Diez, Grammaire des langues romanes, 3-e ed., t. III, Paris, 1876, стр. 199 и сл.; W. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, t. II, Paris, 1895, стр. 173 и сл.

[2] Ср. I. Fischer, Unele probleme ale formarii cuvintelor în limba romînă, «Studii şi cercetări lingvistice», t. V, № 3—4, 1954, стр. 304.

[3] Соотношение между остатком глагольного значения и значением предметности выявляется довольно ярко в таких параллельных конструкциях: *а дуче де мынкаре* «нести поесть»; *а дуче демынкаря* «нести еду».

[4] В латинском языке, особенно в народной латыни, корневая часть глаголов также могла быть использована в качестве существительных. Например, *pugnare* «биться»— *pugna* «бой, борьба»; *probare* «испытывать» — *proba* «испытание» и др. (см. Э. Бурсье, Основы романского языкознания, М., 1952, стр. 166).

Таким образом, в истории молдавского глагола имело место выделение некоторых форм из глагольной системы и превращение их в самостоятельные слова, выражающие лексико-семантическое значение предметности.

Рассматривая вопрос о переходе некоторых глагольных форм в разряд существительных, мы видим, что в данном случае речь идет уже не о совпадении абсолютно всех форм данных частей речи, как это было в случае взаимоотношения между прилагательным и существительным. Так, с одной стороны, мы имеем глагольные формы изъявительного наклонения настоящего, прошедшего, будущего времени (*кынт*, *кынтам*, *вой кынта*), глагольные инфинитивные формы (*а кынта*, *кынтаре*), а с другой стороны, падежные и родовые формы, формы числа существительных (*кынтаре*, *кынтаря*, *кынтэрий*, *кынтэриле*) и т. д. Значит, своими основными и изначальными формами глагол и существительное входят в парадигму как одной, так и другой части речи, но затем они резко расходятся и по своим морфологическим свойствам, и по синтаксическому использованию, а также, конечно, по лексико-семантическому значению.

Кроме того, субстантивированная глагольная форма, включаясь в систему существительного, утрачивает глагольные категории лица, времени, наклонения, залога и т. д. и приобретает свойственные существительному категории рода и падежа. Что касается грамматической категории числа, то, как и у всех существительных, у субстантивированных глагольных форм число выражает другие отношения, чем эта же категория у глаголов. А с точки зрения лексико-семантического значения эти субстантивированные глагольные формы выражают предметность, обозначение предметов окружающей нас действительности.

*

В молдавском языке наречие также может перейти в категорию существительных. При субстантивации наречие становится изменяемой частью речи, принимает артикль и т. д., т. е. связывается с другими словами таким же образом, как и существительное, например, «Бинеле-й немуритор Рэул есте трекэтор... Кэ осында бинелуй Каде'н капул рэулуй» (Ем. Буков, Андриеш) «Добро бессмертно, зло преходяще... Ибо проклятие со стороны добра падает на голову зла».

Не только наречие образа действия, но и наречия времени, места и др. могут выполнять в определенных контекстах функцию существительного. Необходимо, однако, отметить, что данный способ образования существительных из наречий не продуктивен в молдавском языке. Однако обратный способ словообразования, т. е. образования наречий из существительных, является довольно продуктивным. Можно сказать, что одной из характерных черт грамматического строя молдавского (и румынского) языка является тот факт, что форма существительных женского рода с определенным артиклем, выражающая временное значение, употребляется в качестве наречия времени. Ср. *тоамна* «осенью», *диминяца* «утром», *зыуа* «днем», *лунь* «по понедельникам» и т. д.[1]

Характерной чертой такого перехода существительного в наречие является то, что эти формы отрываются от системы форм соответствующих существительных (*тоамнэ*, *диминяцэ*, *зы*, *лунь* и т. д.) и превращаются в самостоятельные слова с определенными грамматическими свойствами и лексико-семантическим значением. Морфологически эти слова, как и все наречия, характеризуются своей неизменяемостью, и этим самым они отличаются от изменяемых слов того же корня (*тоамнэ*, *тоамней* и т. д.)[2]. Что касается синтаксического использования, то адвербиализированные слова выполняют обстоятельственную функцию. Со стороны смыслового значения они являются словами, указывающими на признак действия, на внешние условия, при которых осуществляется действие, выраженное глаголом.

Для выражения обстоятельственных отношений существительные могут получить в молдавском (и румынском) языке и другую морфологическую оформленность, а именно — форму именительного падежа единственного числа без артикля. Такие существительные выполняют роль наречий образа действия и встречаются преимущественно в устойчивых сочетаниях как при глаголах, так и при прилагательных, например: *а дорми буитян*, *а рэмыне балта*, *мнеецат бокнэ*, *сэнэтос тун*, *урыт фок* и др. По всей вероятности, эти конструкции берут свое начало в сравнительных оборотах типа

---

[1] Употребление артикулированного с определенным артиклем беспредложного существительного в качестве наречия времени характерно и для других романских языков, в частности для французского. Ср. пример: *Je travaille le matin*, *la nuit je dors* «Я работаю днем, ночью я сплю» (см. О. И. Богомолова, Современный французский язык, М., 1948, стр. 96). Через посредство старофранцузского языка такая конструкция восходит к латинскому accusativus temporis (например, *bestiolae quaedam unum diem vivunt* «Некоторые насекомые живут один день») и к латинскому ablativus temporis (например, *nocte* «ночью», *vērē* «весною» и др.) (см. С. И. Соболевский, Учебник латинского языка, М., 1953, стр. 99—100).

[2] Ср. А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия...

а дорми ка ун буштян «спать как пень», *а рэмыне ка о балтэ*, буквально: «остаться как болото», *ынгецат ка о бокнэ* «замерзший как дубок», *сэнтос ка ун тун*, буквально: «здоровый как пушка», *урыт ка фокул*, буквально: «некрасивый как огонь» и т. д.[1]

Употребляясь в качестве наречия, беспредложное существительное без артикля приобретает грамматические свойства наречия: оно теряет свою способность изменяться по падежам и не может определяться прилагательным. Посредством примыкания такое адвербиализированное существительное выступает в качестве пояснительного слова при глаголах, прилагательных или других наречиях. Таким образом, и сейчас можно говорить о полной, постоянной или лексической конверсии, так как одна из форм указанных слов прочно адвербиализировалась и превратилась полностью в наречие.

*

Как явствует из приведенного материала, вопрос о конверсии в молдавском (и румынском) языке не может быть поставлен в одной плоскости, в одном плане для всех частей речи. Переход той или иной части речи из одного разряда в другой имеет свое своеобразие, свои специфические черты. Если иметь в виду одну из разновидностей конверсии — субстантивацию, то она хотя и представляет собой общее явление для всех частей речи, но вместе с тем каждая из них имеет и свои специфические особенности.

Общее для перехода всех частей речи в разряд существительных — это оформление перешедших слов при посредстве артикля. Для романских языков, особенно для молдавского и румынского, грамматическая категория артикля является одной из самых активных и характерных[2]. Поэтому нельзя говорить о субстантивации какой-либо части речи без ее соотношения с категорией артикля. Широкое распространение явления субстантивации в молдавском и румынском языках следует, видимо, объяснять тем, что артикль широко применяется и играет такую активную роль в грамматической системе этих языков[3].

Некоторые слова вообще не могут употребляться без артикля в качестве существительных, именно артикль и указывает на их переход в новый грамматический разряд. Кроме того, часть из этих слов используется только с определенным видом артикля. Наречие места *апроапе* «близко» субстантивируется только при посредстве определенного артикля: *апроапеле* «ближний», а субстантивация целого синтаксического комплекса возможна только при посредстве неопределенного артикля: *ун лэ-мэ-мамэ* «мямля», *ун згырие-брынзэ* «скупец», *о ну-мэ-уйта* «незабудка» и т. д.

Переход прилагательных в существительные характеризуется в первую очередь тем, что морфологически прилагательное не претерпевает никаких изменений. Форма прилагательного совершенно тождественна с формой существительного в любом соответствующем падеже, роде и числе. Прилагательное включается в парадигму существительного не только своей основной формой, но абсолютно всеми своими формами. Объяснять этот факт, видимо, надо тем, что обе эти части речи входят в категорию имен и весьма близки по своим грамматическим свойствам[4]. В связи с этим не исключена возможность и обратного перехода, т. е. существительных в прилагательные. Правда, такие случаи весьма ограничены, но все же имеются.

Нельзя сказать то же самое о взаимоотношениях между существительными и другими частями речи: глаголом, наречием и др. Глагол имеет свои особые грамматические категории: время, наклонение, лицо, залог и т. д., а существительное — категорию падежа, рода. Категория числа присуща как глаголу, так и существительному, однако она имеет у каждой из этих частей речи свои особенности. Поэтому при переходе определенных глагольных форм в разряд существительных имеется омонимия только в отношении отдельных форм, и глагольные формы в целом весьма четко отграничиваются от соответствующих форм существительных. Кроме того, если в современном молдавском языке и имеются полные инфинитивные формы, которые выполняют и глаголь-

---

[1] Имеется в восточнороманских языках и обратный процесс, когда неизменяемое слово-герундий субстантивируется. В этом случае, конечно, оно приобретает изменяемость по падежам и числам. Например, рум. *intrînd* «ниша», мн. число *intrînduri*. Одновременно имеет место и семантическая переосмысленность этой лексической единицы.

[2] Не говоря уже о том, что в молдавском (и румынском) языке имеются четыре вида артикля (определенный, неопределенный, прономинальный и адъективальный), в то время как во французском их три, а в остальных романских языках лишь два, и частотность употребления этой грамматической категории в восточно-романских языках на много значительнее, чем в других романских языках.

[3] В других языках, в грамматическом строе которых имеется категория артикля, явление субстантивации также имеет широкое распространение, но все же не в такой степени (см.: М. Я. Немировский, указ. соч., стр. 65—67; И. И. Толстой, К семантике гомеровского артикля, ИАН ОЛЯ, 1954, вып. 4).

[4] См. М. Я. Немировский, указ. соч., стр. 68—69.

ные функции, то это лишь как определенный результат исторического развития молдавского языка. А вообще полные инфинитивные формы, как и корневая часть глагола, целиком перешли в грамматическую категорию существительных как с грамматической, так и с лексико-семантической точки зрения.

Противопоставление существительного и наречия, когда идет речь о взаимопереходе этих частей речи, заключается в неизменяемости наречия и способности существительного изменяться по падежам, числам и родам. Если в составе наречия имеется застывшее падежное окончание (флексия), то оно уже не выражает различных отношений между данным словом и другими словами в предложении, а входит в состав основы адвербиализованного слова.

Конверсия в восточнороманских языках — весьма сложное явление. Она должна быть изучена также и со стороны ее исторического происхождения и развития. Такое широкое историческое исследование даст, несомненно, свои результаты как для изучения специфики романских языков, так и для выяснения некоторых вопросов общего языкознания.

Н. Г. Корлэтяну

ПРЕДИКАТИВНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ В НАНАЙСКОМ И ДРУГИХ ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ

Во всех тунгусо-маньчжурских языках имеется особая предикативно-притяжательная форма имен, при помощи которой может быть выражен признак предмета по его принадлежности другому предмету. Образуется эта форма суффиксальным путем от существительных, чаще всего — от названий людей, животных, человеческих коллективов, организаций, учреждений, населенных пунктов. При помощи тех же формантов образуется имеющая аналогичное грамматическое значение форма от личных и возвратных, а также замещающих их вопросительных местоимений. Для всех языков этой группы обе подлежащие рассмотрению формы имеют, несомненно, общее происхождение, но несколько варьируются в употреблении, причем вариации эти, как правило, не выходят за пределы вполне допустимых различий внутри одной грамматической категории.

Одни из специалистов по тунгусо-маньчжурским языкам считают эти формы словообразовательными, образующими от имен существительных притяжательные прилагательные, а от местоимений — самостоятельные притяжательные местоимения, другие же рассматривают их как словоизменительные формы имен существительных и местоимений. Одна из задач настоящей статьи — показать предпочтительность второй точки зрения[1].

Предикативно-притяжательная форма в нанайском языке регулярно образуется от существительных и местоимений предметного значения путем присоединения к ним суффикса *-нги*.

У имен существительных суффикс *-нги* обычно присоединяется к основе, материально совпадающей с формой именительного падежа (а также беспадежной формой) единственного числа, например: *найнги* «человечий, человека (принадлежит человеку), чужой», *маманги* «старухин, старухи (принадлежит старухе)», *Петянги* «Петин, Пети (принадлежит Пете)», *инданги* «собачий, собаки (принадлежит собаке)», *солинги* «лисий, лисы (принадлежит лисе)», *колхозанги* «колхозный, колхоза (принадлежит кол-

---

[1] Материал по интересующему нас вопросу имеется в следующих опубликованных работах: В. Г. Богораз, Материалы по ламутскому языку, «Тунгусский сборник», I, Л., 1931; А. Ф. Бойцова, Категория лица в эвенкийском языке, М.—Л., 1940; И. Захаров, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879; О. А. Константинова и Е. П. Лебедева, Эвенкийский язык, Л., 1953; W. Kotwicz, Les pronoms dans les langues altaïques, Kraków, 1936; P. G. Möllendorff, A Manchu Grammar, Shanghai, 1892; К. М. Мыльникова и В. И. Цинциус, Материалы по исследованию негидальского языка, «Тунгусский сборник», I, Л., 1931; Т. И. Петрова, Очерк грамматики нанайского языка, Л., 1941; Т. И. Петрова, Ульчский диалект нанайского языка, Л., 1936; G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, II — Formenlehre, Helsinki, 1952; О. П. Суник, О посессивных аффиксах и родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках, сб. «Язык и мышление», XI, Л., 1948; В. И. Цинциус, Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка, Л., 1947; В. И. Цинциус, Очерк морфологии орочского языка, «Ученые записки ЛГУ», Серия востоковедческих наук, I, 1949; Е. Р. Шнейдер, Краткий удэйско-русский словарь, Л., 1936.

хозу)», *школанги* «школьный, школы (принадлежит школе)», *Буринги* «Хабаровский, Хабаровска (принадлежит Хабаровску)».

Если обладателями оказываются несколько одноименных предметов, то предикативно-притяжательная форма может быть образована от формы множественного числа существительного, обычным показателем которой служит суффикс *-сал/-сэл*, например: *найсалнги* «людской (принадлежит людям)», *пиктэсэлнги* «детский (принадлежит детям)», *мапасалнги* «медвежий (принадлежит медведям)», *артельсалнги* «артельный (принадлежит артелям)».

У личных и замещающих их вопросительных местоимений суффикс *-нги* присоединяется к неизменяемым (прямым) основам, материально совпадающим с формой именительного падежа (а также с беспадежной формой), а у возвратного местоимения — к изменяемой основе в ее наиболее сокращенном варианте *мэ-*. У личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа и у возвратных местоимений суффикс *-нги* располагается между корнем и утратившими свой первоначальный смысл, омертвевшими притяжательными суффиксами. Привожу предикативно-притяжательные формы местоимений: *минги* «мой (принадлежит мне)», *синги* «твой (принадлежит тебе)», *нёангини* «его, её (принадлежит ему, ей)», *буэнги* «наш (принадлежит нам)», *суэнги* «ваш (принадлежит вам)», *нёангини* «их (принадлежит им)», *мэнгии* «свой (принадлежит одному субъекту действия)», *мэнгиэри* «свой (принадлежит нескольким субъектам одного действия)», *уйнги?* «чей (кому принадлежит)?», *хайнги?* «чей (чему принадлежит)?».

Основной и, повидимому, исторически исходной для нанайского языка синтаксической функцией предикативно-притяжательной формы является выражение сказуемого, в котором указывается на принадлежность предмета, обозначенного подлежащим. В этом случае слово в предикативно-притяжательной форме, как всякое вообще сказуемое, помещается после подлежащего (чаще всего — в самом конце предложения) и, как всякое именное сказуемое, берется в именительном падеже. Например: *Мэгдин кирадаани илиси дё —Семёнги*, буквально: «У края обрыва стоящий дом — Семенов (Семена, принадлежит Семену)»; *Бунду заводасал, фабрикасал гэрэн найсалнги очичи*, буквально: «У нас заводы и фабрики всех людей (общенародные) стали»; *Тэй огда сингину, аба-ну?* буквально: «Та лодка твоя ли, нет ли?»; *Эй дангса— уйнги?*, буквально: «Эта книга чья (кому принадлежит)?». Исключением из этого правила является лишь предикативно-притяжательная форма возвратного местоимения, которая сказуемого выражать не может из-за особенностей своего корневого значения.

Кроме того, всякая предикативно-притяжательная форма, не исключая и образованных от возвратного местоимения, может употребляться в роли обособленного определения, помещаясь при этом, как всякое обособленное определение, после определяемого и согласуясь с последним в падеже[1]. Например: *Колхозникасал тэй усимбэ, школангиева, эмун ини долани алдяламари ходихачи* «Колхозники тот огород, школьный (тот, что принадлежит школе), в течение одного дня пахать закончили»; *Эй дангсава, мингиева, минду бугуру* «Эту книгу, мою (ту, что принадлежит мне), мне отдай»; *Нёани тэй дёгду, мэнгидуи, эси бими осисини* «Он в том доме, своем (в том, что принадлежит ему, самому), теперь жить не хочет».

Наконец, всякая предикативно-притяжательная форма может употребляться заместительно, обозначая одновременно и принадлежность предмета, и сам принадлежащий предмет. Это бывает в тех случаях, когда название принадлежащего предмета оказывается известным из предшествующей речи или из ситуации, и его новое прямое упоминание нежелательно по стилистическим соображениям. Например: *Эй миочан—минги. Борисангива-тани уй-ну, уй-ну дяпахани* «Это ружье мое. А Борисово (то, что принадлежит Борису) кто-то взял»; *Мэнэ ангохамби дёгду бису, мингиду биуриэ-дэ эди мурчирэ*, буквально: «В построенном собой доме живи, в моем (в том, что принадлежит мне) жить и не думай»; *Ми дикаива мэнечиэри нонгиосу* «Мои деньги к своим (к тем, что принадлежат себе, т. е. вам) прибавьте».

В последних двух случаях форма на *-нги* не играет роли сказуемого, но некоторый оттенок предикативного значения у нее имеется и здесь.

Важно отметить, что предикативно-притяжательная форма существительного может иметь при себе те определения, которые вообще могут быть отнесены к имени существительному: *Си ичэйси дё — эй сагди мапанги*, буквально: «Дом, который ты видишь, этого старого старика (принадлежит этому старому старику)»; *Эй еру—аоданду балди солисалнги* «Эта нора — на лугу живущих лисиц (принадлежит луговым лисицам)»; *Эй тоиду би огда — чисэниэ дичин илан найсалнги* «Эта на берегу (у берега) находящаяся лодка — вчера прибывших трех людей (принадлежит трем прибывшим вчера людям)».

Предикативно-притяжательная форма ни в коем случае не может употребляться в роли прямого (необособленного) определения. По-нанайски нельзя сказать в значении

[1] Необособленные же определения в нанайском языке могут стоять только перед определяемым, причем с последним не согласуются.

«колхозный невод» *колхозанги адоли*, в значении «наша лошадь» *буэнги морин* и т. п. Прямые определения по принадлежности выражаются не предикативно-притяжательной, а беспадежной формой существительного и местоимения, материально тождественной основе и в то же время форме именительного падежа. Такая беспадежная форма употребляется в роли первого члена (определения по принадлежности) притяжательного словосочетания, при обязательном условии, что второй член притяжательного словосочетания (определяемое по принадлежности) имеет притяжательную форму— лично-притяжательную или возвратно-притяжательную[1], например: *колхоз адолини* «колхозный невод, невод колхоза», *Петя дангсани* «Петина книга», *соли еруни* «лисья нора, нора лисы», *буэ моримпу* «наша лошадь», *си огдаси* «твоя лодка», *мэнэ апомби* «свою шапку», *уй дёнгни* «чей дом», *хай кумтэни* «чего (от чего) крышка».

Вместе с тем беспадежная форма не может выражать сказуемого, обозначающего признак по принадлежности, и обособленного определения и не может употребляться заместительно, потому что материально тождественная форма (именительный падеж) существительного и местоимения, находясь вне притяжательного словосочетания или являясь вторым его членом, за единичными исключениями, имеет значение предмета как самостоятельной субстанции, а не признака.

Если бы мы попытались употребить беспадежную форму существительного или местоимения в роли сказуемого, обособленного определения или заместительно, то она неизбежно вышла бы из состава притяжательного словосочетании, а потому перестала бы быть беспадежной и обозначать признак. Она стала бы формой того или иного (в частности, именительного) падежа, обозначающей независимый предмет. Например, если бы мы решили перестроить предложение *Ми боатонго миочамбани дяпахамби* «Я охотника ружье (ружье охотника; ружье, принадлежащее охотнику) взял» таким образом, чтобы наименование признака ружья оказалось сказуемым («Ружье, которое я взял, принадлежит охотнику»), или обособленным определением («Я ружье, принадлежащее охотнику, взял»), или заместителем носителя признака («Я принадлежащее охотнику взял») и при этом оставили слово *боатонго* «охотник» в форме, материально совпадающей с основой, или изменили ее в соответствии с формой определяемого или замещаемого слова *миочан* «ружье», то у нас получилось бы совсем не то, что нам нужно, а именно: *Ми дяпахамби миочан — боатонго* «Ружье, которое я взял, — охотник»; *Ми миочамба, боатонгова дяпахамби* «Я ружье и охотника взял»; *Ми боатонгова дяпахамби* «Я охотника взял».

Таким образом, оказывается, что беспадежная форма в составе притяжательного словосочетания и предикативно-притяжательная форма служат для выражения одного и того же содержания — признака предмета по принадлежности, но области их синтаксического применения строго разграничены: беспадежная форма может выражать только прямое определение, но не может выражать сказуемого и обособленного определения и употребляться заместительно, в то время как предикативно-притяжательная форма, наоборот, может выражать сказуемое, обособленное определение и употребляться заместительно, но не может выражать прямого определения. Эти две формы, как мы видим, взаимно дополняют друг друга. Исторически развитие их шло разными путями, но в современном языке они стали рядом, образовав замкнутую парадигму изменения слов предметной семантики.

Интересно сравнить синтаксические функции этих двух форм слов предметной семантики с синтаксическими функциями слов, по своей природе предназначенных для выражения признаков (прилагательных, имен качества, числительных и некоторых других).

Имя прилагательное, например, может выражать прямое определение: *Эй—сикун дангса* «Это новая книга», *Ми сикун дангсава гачимби* «Я купил новую книгу», может выражать сказуемое: *Эй дангса сикун* «Эта книга новая». Эти две функции, особенно — первая из них, для прилагательного являются основными и исходными. Но, кроме этого, прилагательное может выражать обособленное определение, занимая в этом случае место после определяемого и согласуясь с ним в падеже: *Ми дангсава, сикумбэ, гачимби* «Я книгу, новую, купил», и может употребляться заместительно, принимая на себя в этом случае синтаксическую роль и падежную форму замещаемого существительного: *Си тэтэузи элэ-дэ гудэкнини, эси сикумбэ гаговорива гэлэй* «Твоя одежда уже изорвалась, теперь новую [одежду] купить нужно».

Употребление в речи предикативно-притяжательных форм существительных и местоимений имеет много общего с употреблением прилагательных. Их различает то, что прилагательное не только может употребляться, но чаще всего и употребляется в роли прямого определения, а употребление предикативно-притяжательной формы имени существительного и местоимения в роли прямого определения недопустимо.

Употребляясь же в роли сказуемого, обособленного определения и заместительно, и прилагательное, и форма на *-нги* несут на себе в равной мере логический акцент, кото-

[1] Следует иметь в виду, что формы «притяжательные» и «предикативно-притяжательные» — вещи различные.

рого не могут иметь ни прилагательное в роли прямого определения, ни существительное или местоимение беспадежной формы в роли определений по принадлежности. Иными словами, при всяком прямом определении логически акцентируется определяемое, т. е. носитель признака, а при необходимости переноса логического акцента на название признака оно употребляется как сказуемое, обособленное определение или заместительно. Поскольку предикативно-притяжательная форма может употребляться только в последних трех функциях, есть основание думать, что семантико-грамматическим основанием для ее существования в языке как раз и является ее способность выражать логически акцентируемые признаки по принадлежности.

Но между прилагательными и предикативно-притяжательными формами существительных и местоимений имеются весьма существенные различия.

Во-первых, в отличие от прилагательных, у предикативно-притяжательной формы существительного или местоимения сохраняется полностью предметное значение и отсутствует оттенок качественности, который характерен для прилагательных.

Во-вторых, если прилагательное способно без специально приуроченного для этого самостоятельного изменения формы обозначать как выделяемый особым логическим акцентом признак, так и признак логически не акцентируемый (последнее — основная ее функция), то предикативно-притяжательная форма может обозначать только такой признак по принадлежности, на который падает логический акцент.

К числу существенных отличий предикативно-притяжательных форм имен существительных и местоимений от прилагательных относятся также: способность образовываться от форм множественного числа существительных; способность принимать определения, допустимые только при именах существительных; отсутствие способности выражать прямое определение; наличие обязательного элемента предикативности.

Признаки, по которым предикативно-притяжательные формы отличаются от прилагательных, объединяют их с особыми формами словоизменения существительных, близко стоящими к склонению, в первую очередь с так называемой формой обладания. Сохранение ими чисто предметного значения при выражении признаков вызывает к жизни ряд других перечисленных выше особенностей, которые свидетельствуют о том, что образование предикативно-притяжательных форм не влечет за собой перехода существительного в прилагательное, а личного, возвратного или вопросительного местоимения — в особый разряд притяжательных местоимений. Особенно показательной в этом отношении оказывается установленная выше соотносительность этих форм с беспадежными формами существительных и местоимений, играющими роль первых членов (определений) в составе притяжательных словосочетаний.

Итак, форма на *-неи* в современном нанайском языке является словоизменительной формой существительных и местоимений, парадигматически противопоставленной беспадежной форме тех же частей речи как по синтаксической функции, так и в отношении передачи логического акцента.

Все тунгусо-маньчжурские языки в приемах выражения принадлежности обнаруживают много общего, что с несомненностью свидетельствует об исторической общности этих приемов и служит дополнительным подтверждением исторической общности самих этих языков. Вместе с тем каждый из языков этой группы имеет в интересующей нас области немало своеобразного и даже такого, что на первый взгляд может показаться коренным образом разграничивающим эти языки. Однако уже самый элементарный сравнительный анализ — если под ним понимать установление не одних только фонетических соответствий, но также и соответствий в значениях и употреблении грамматических форм — со всей очевидностью показывает, что приемы выражения принадлежности во всех тунгусо-маньчжурских языках имеют общие корни, уходящие в отдаленные времена материального единства этих языков.

Во всех тунгусо-маньчжурских языках имеются аналогичные нанайским предикативно-притяжательные формы существительных и местоимений[1]. Образуются эти формы путем присоединения специального суффикса к основам имен существительных и местоимений предметного значения, которые материально совпадают с беспадежной формой. Возможно также образование их от форм множественного числа существительных. В маньчжурском языке они образуются, как правило, от форм родительного падежа имен существительных и местоимений[2]. Суффиксальный показатель предикативно-притяжательной формы имеет несколько незначительно различающихся фонетических вариантов: *-нгэ* [-нгє] (маньчжурский язык)~ *-неи* [нги] (нанайский, ульч-

---

[1] Под вопросом остается лишь солонский язык, в котором исследователями эта форма не была отмечена, и орокский язык, материалами по которому автор не располагает.

[2] Из всех тунгусо-маньчжурских языков категорией родительного падежа обладают только маньчжурский и солонский.

ский) ~ *-нги* [-ŋи] (эвенкийский, эвенский) ~ *-нги* [-ŋи] || *-ŋгу* [-ŋу] (удэйский, орочский) ~ *-ни* [-н'и] (негидальский)[1].

Отмеченная выше для нанайского языка парадигматическая противопоставленность предикативно-притяжательной формы, как формы выражения логически акцентированных признаков, другой форме, выражающей признак, лишенный логического акцента, при том же разграничении синтаксических функций, оказывается в общих чертах характерной и для остальных тунгусо-маньчжурских языков.

Главнейшие различия состоят в следующем:

1. В маньчжурском языке, как и в солонском, прямое определение по принадлежности выражается формой родительного падежа существительных и местоимений. Поэтому предикативно-притяжательная форма в маньчжурском противостоит не беспадежной форме, которой нет, а соответствующей ей по значению форме родительного падежа.

2. Беспадежной формой личных местоимений в нанайском, удэйском и орочском языках является форма, материально тождественная их именительному падежу (ее часто именуют неизменяемой или несклоняемой основой), в эвенском и ульчском — форма, материально совпадающая с основами для косвенных падежей (ее часто именуют изменяемой или склоняемой основой), в негидальском на равных основаниях используются и та, и другая формы. О маньчжурском языке сказано выше, об эвенкийском будет сказано позднее. Беспадежной формой имен существительных и вопросительных местоимений во всех языках, кроме маньчжурского (и солонского), является форма, материально совпадающая с именительным падежом.

3. Предикативно-притяжательная форма образуется от беспадежной формы единственного или множественного числа во всех языках, кроме маньчжурского, где она образуется обычно от формы родительного падежа, но в некоторых случаях — и от основы, совпадающей с формой именительного падежа. Поэтому для личных местоимений в нанайском, удэйском и орочском языках она образуется от «неизменяемой основы», которую правильнее было бы называть прямой формой, в эвенском и ульчском языках — от «изменяемой основы», которую правильнее было бы называть косвенной формой, в негидальском — и от той, и от другой форм. В эвенкийском языке эта форма образуется от косвенной основы личных местоимений, которая в качестве самостоятельного слова не употребляется, но материально соответствует косвенной форме личных местоимений в других языках.

4. В эвенкийском языке, правда, не во всех его говорах, предикативно-притяжательная форма употребляется не только для обозначения акцентируемых признаков (в роли сказуемого, инверсированного определения и замещающего слова), но и для выражения прямого определения, причем личные и возвратные местоимения выполняют эту функцию только в предикативно-притяжательной форме, а существительные и вопросительные местоимения могут быть в этой форме, но значительно чаще употребляются для этой цели в беспадежной форме.

5. Во всех языках, обладающих беспадежной формой, последняя в роли прямого определения по принадлежности категорически требует наличия у своего определяемого притяжательных суффиксов, отражающих лицо и число определения. В эвенкийском языке того же требует и предикативно-притяжательная форма, если она употреблена в роли определения, тем более прямого.

6. В маньчжурском языке объем функций предикативно-притяжательной формы шире, чем в остальных языках. Он выходит за пределы способов выражения принадлежности, но об этом — несколько ниже.

Таким образом, если мы отвлечемся от некоторых частных отклонений в отдельных языках, то перед нами предстанет общая для всех тунгусо-маньчжурских языков система способов выражения принадлежности: разграничение неакцентируемых и акцентируемых определителей признака по принадлежности; обозначение первых прямыми определениями, а вторых — сказуемыми, обособленными (инверсированными) определениями и замещающими словами; выражение прямых определений беспадежной формой или соответствующей ей формой родительного падежа, а сказуемых, обособленных определений и замещающих слов — предикативно-притяжательной формой; образование второй формы от первой. Иначе говоря, становится ясным, что предикативно-притяжательная форма в современных языках существует прежде всего как специальное морфологическое средство для выражения различными синтаксическими приемами нескольких разновидностей логически акцентируемого признака по принадлежности.

Сходная картина наблюдается в тюркских и монгольских языках, что позволяет предполагать наличие общеалтайской основы интересующих нас способов выражения признаков по принадлежности.

В тюркских языках широко употребляются особые формы «субстантивированных», или «самостоятельных», притяжательных местоимений и — менее широко — анало-

[1] Подробная сводка и анализ приемов образования этих форм в тунгусо-маньчжурских языках, а также некоторые сведения о происхождении, значении и употреблении этих форм имеются в упомянутых выше работах А. Ф. Бойцовой и Г. Рамстедта.

гичные первым особые формы притяжательных прилагательных. Формы эти в материальном отношении чрезвычайно близки к предикативно-притяжательным формам тунгусо-маньчжурских языков[1]. Образуются они от живых или омертвевших форм родительного падежа местоимений и существительных при помощи аффикса *-ки*∼ *-ги*, имеющего ряд фонетических вариантов. По мнению некоторых тюркологов, упомянутый формант *-ки*∼*-ги* представляет собой аффикс отношения или, по другой терминологии, аффикс относительных прилагательных. При его помощи образованы слова такого типа, как каракалпакские *тийкăр-ги* «основной» (*тийкăр* «основа») *тыс-къы* «внешний» (*тыс* «внешняя сторона, внешность»), *къыс-къы* «зимний» (*къыс* «зима»)[2] или шорские *кышкы* «зимний», *часкы* «весенний», *эртенги* «утренний», *кедерги* «принадлежащий коростелю»[3].

Подобного рода слова имеются и в монгольских языках, например в бурятском, где они образуются посредством суффикса *-хи* от имен в форме родительного и дательно-местного падежей, а также от наречий места и времени, например: *манайхи* «наш», *абынхи* «отцовский, принадлежащий отцу», *москвагайхи* «московский, принадлежащий Москве», *москвадахи* «московский, находящийся в Москве», *эндэхи* «здешний», *гэртэхи* «находящийся в юрте», *маргаашахи* «завтрашний»[4].

Возможно, прав был Г. Рамстедт, распространив такую трактовку интересующей нас формы на все алтайские языки[5]. Соглашаясь с ним, мы должны признать, что эта форма возникла на общеалтайской почве как средство словообразования, но в современных тунгусо-маньчжурских языках уже почти окончательно перешла в разряд средств словоизменения, сохраняя пережиточно лишь некоторые связи со словообразованием.

Особого рассмотрения заслуживает положение дела в маньчжурском и эвенкийском языках, поскольку в них имеются существенные отклонения от изображенной выше системы.

В эвенкийском литературном языке, вернее в тех говорах, на которые он ориентируется, предикативно-притяжательная форма употребляется для всех четырех синтаксических способов выражения признака по принадлежности, включая и прямое определение. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в разговорном языке предикативно-притяжательные формы, образованные от имен существительных, в роли прямых определений используются редко. Эту роль чаще всего выполняют существительные в беспадежной форме. Только для местоимений (личных первых двух лиц и возвратных) в этой функции предикативно-притяжательная форма оказывается обязательной. Но и это правило выдерживается далеко не во всех говорах эвенкийского языка. В восточных говорах, на которых говорит значительная часть эвенков, предикативно-притяжательная форма служит лишь для обозначения акцентируемых признаков, а в роли прямого определения употребляются только беспадежные формы как существительных, так и местоимений. Специалисты по эвенкийскому языку (А. Ф. Бойцова, О. А. Константинова и Е. И. Лебедева) обратили на это внимание и сделали совершенно правильный вывод о том, что распространение функций предикативно-притяжательной формы на прямое определение есть вторичное явление. Следовательно, эвенкийский язык лишь несколько отошел в сторону от общей линии развития всей группы родственных языков, причем произошло это отклонение, повидимому, относительно недавно.

В качестве дополнительного свидетельства можно привести сочетания личных местоимений с так называемыми определительно-притяжательными, характерные не только для восточных, но и для западных говоров: *би мэнми* «я сам», *си мэнни* «ты сам», *нунган мэнин* «он сам» и т. д. (ср. в восточных говорах: *би сенми* «мое ухо», *си сенни* «твое ухо», *нунган сенин* «его ухо» и т. д.). Если сопоставить эти сочетания с соответствующими им маньчжурскими: *мини бэе* «я сам» (буквально: «моя персона»), *сини бэе* «ты сам (твоя персона)», *ини бэе* «он сам (его персона)» и т. д., то можно предположить, что приведенные выше эвенкийские сочетания слов означают в дословном переводе «моя самость», «твоя самость», «его самость» и т. д., то есть что эти словосочетания

---

[1] См., например: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 55, 108—110; Н. Н. Дыренкова, Грамматика шорского языка, М.—Л., 1941, стр. 74—75, 85—86; Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, ч. I, М., 1952, стр. 196—197, 263—265; А. Н. Кононов, Грамматика турецкого языка, М.—Л., 1941, стр. 55—56; его же, Грамматика узбекского языка, Ташкент, 1948, стр. 42, 130—131; Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, ч. I — Фонетика и морфология, Якутск, 1947, стр. 124—125, 165.

[2] См. Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 196.

[3] См. Н. Н. Дыренкова, указ. соч., стр. 73.

[4] См.: А. Д. Руднев, Хори-бурятский говор, вып. 1, Пг., 1913—1914, стр. CX; Г. Д. Санжеев, Грамматика бурят-монгольского языка, М.—Л., 1941, стр. 37; его же, К проблеме частей речи в алтайских языках, ВЯ, 1952, № 6, стр. 88; его же, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М., 1953, стр. 126.

[5] G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 26—27, 234—253.

являются по своему происхождению притяжательными. Определительная часть в них выражена личными, а не притяжательными местоимениями, что соответствует уже утраченным западными говорами нормам.

Следовательно, и для эвенкийского языка первичным можно считать противопоставление предикативно-притяжательной формы, как средства выражения акцентируемого признака по принадлежности, беспадежной форме, как выразителю признака по принадлежности, лишенного логического акцента. Больше того, современный эвенкийский язык свидетельствует, что вначале беспадежная форма не только существительных, но и местоимений совпадала с формой именительного падежа и лишь впоследствии приобрела для личных местоимений форму, совпадающую с основой для косвенных падежей. Последнее обстоятельство находит подтверждение также и в эвенском языке, ряд говоров которого (говоры западного диалекта и охотский говор восточного диалекта) продолжает использовать для выражения прямого определения личные местоимения в форме именительного падежа (точнее, в беспадежной форме, материально тождественной форме именительного падежа)[1].

В маньчжурском языке беспадежной форме остальных родственных ему языков полностью соответствует по значению и употреблению форма родительного падежа, которая, как уже было отмечено ранее[2], повидимому, выросла на базе беспадежной формы в составе притяжательного словосочетания.

Возникает вполне естественный вопрос: каким путем шло развитие предикативно-притяжательной формы уже после того, как она сложилась на общеалтайской почве? Некоторый свет на этот вопрос может пролить маньчжурский язык, который вместе с тем ставит под некоторое сомнение традиционную точку зрения об адъективной природе интересующей нас формы, позволяя видеть в ней скорее субстантивное начало.

Как отмечается в работах по маньчжурскому языку, формант *-нгэ* или *-нингэ* (последнее — сочетание суффикса родительного падежа *-ни* с интересующим нас суффиксом *-нгэ*) употребляется в следующих случаях:

1. При предикативном и заместительном употреблении слов, обозначающих принадлежность, например: *Эрэ боо мининнгэ* «Этот дом — мой»; *Тэрэ сэчжэнь нялмайнгэ* «Та повозка — человеческая (т. е. чужая)»; *Эчжэнь нингэ бэ умэчжафара* «Царское (то, что принадлежит царю) не бери». Этот случай, как мы видим, полностью соответствует тому, что имеется в нанайском и других родственных языках. Ниже будут перечислены случаи, специфические для маньчжурского языка.

2. При заместительном употреблении порядковых числительных, указательных местоимений и причастий, например: *Суньчжачингэ дэ гойха* «В пятые (на экзамене) попал»; *Эсэйнгэ бэ би сараку* «Этих я не знаю»; *Чжидэрэнгэ айнаха нялма?* «Пришедший что за человек?»

3. Для выражения наивысшей степени качества при прямом (не заместительном) употреблении качественных прилагательных, например: *тоньдонгэ нялма* «самый верный, преданнейший человек», *амтангангэ чжака* «самая вкусная, наивкуснейшая вещь».

4. Для подчеркивания субстантивного значения и субъектной или (реже) предикативной роли причастий, например: *Сайса бэ хувэкебурэнгэ сайнь байта*, буквально: «Лучших поощрение (то, что поощряют) хорошее дело»; *Форгошоронгэ умэси худунь*, буквально: «Перевод (на другую должность) очень быстр»; *Тачирэ урсэй битхэ хуларангэ умай хафань оки сэрэнгэ вака* «То, что ученики читают книги, вовсе не значит, что они намерены стать чиновниками», буквально: «Учащимися людьми книг чтение вовсе чиновником стать намерение не есть».

Есть еще один грамматический случай, когда возможно употребление суффикса *-нгэ*. Это образование прилагательных качественного или относительного значения от имен существительных, например: *элдэнгэ* «светлый» (*элдэнь* «свет»), *эрдэмунгэ* «добродетельный» (*эрдэму* «добродетель»), *кумунгэ* «веселый» (*кумунь* «музыка»). Но это — лишь омоним интересующего нас суффикса. Об этом свидетельствует не только существенное различие в их значениях, но также и то, что при образовании отыменных прилагательных суффикс *-нгэ* может быть только при основах с гласными *э*, *у*. При основах же с гласным *а* употребляется суффикс *-нга* (*госинга* «милостивый», *моринга* «конный»), а при основах с гласным *о* — суффикс *-нго* (*бочонго* «цветной», *хоронго* «могущественный»). Следовательно, *-нгэ* в этом случае есть лишь один из трех фонетических вариантов суффикса отыменных прилагательных *-нга/ -нгэ/ -нго*. Интересующий же нас суффикс никаких фонетических вариантов не имеет.

---

[1] См. В. И. Цинциус, Л. Д. Ришес, Краткий очерк грамматики эвенского (ламутского) языка, в кн.: В. И. Цинциус и Л. Д. Ришес, Русско-эвенский словарь, М., 1952, стр. 728.

[2] См. О. П. Сунник, О поссессивных аффиксах и родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках, сб. «Язык и мышление», XI, М.—Л., 1948, стр. 285—287, 290—291.

Нетрудно заметить, что маньчжурский суффикс *-нгэ* может участвовать в обозначении принадлежности, но далеко не ограничивает этим свои функции; он может оформлять и чаще оформляет слова со значением признака в предикативном и заместительном употреблениях, но вместе с тем употребляется и в словах, играющих роли подлежащих и прямых определений.

Имеется ли какой-либо общий семантический фундамент под столь различными случаями применения суффикса *-нгэ*? Мне кажется, что таким общим фундаментом можно считать выражение логического акцента, стремление усилить и подчеркнуть значимость слова как в семантическом, так и в функциональном отношениях.

Не исключена возможность, что маньчжурский язык сохранил в наиболее полном виде следы первоначального значения и употребления предикативно-притяжательной формы, которая возникла как специальное средство выражения особого логического акцента, как средство подчеркивания известной самостоятельности в данном предложении тех слов, которые от природы такой самостоятельностью не обладают. В процессе дальнейшего развития другие родственные языки, видимо, сузили и специализировали значение и употребление этой формы.

В. А. Аврорин

№ 3 1956

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. К. ДМИТРИЕВ И СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ[1]

Имя Николая Константиновича Дмитриева широко известно востоковедам не только в нашей стране, но и за ее пределами. Еще при его жизни оно вошло в историю тюркологии советского периода. Как ученый и организатор Н. К. Дмитриев сформировался в первое десятилетие после Великой Октябрьской революции. Его молодость совпала с молодостью нового общественного уклада, с молодостью первого пролетарского государства. Это было горячее и страстное время смелых дерзаний и напряженных поисков новых установок в самых различных областях духовной деятельности. В значительной мере в бурной эпохе 1917—1930 годов с ее пытливыми творческими исканиями следует видеть источник ранней научной зрелости Н. К. Дмитриева, которая невольно бросается в глаза при чтении его первых работ. Одно из первых историко-фонетических исследований, свидетельствующее о полной зрелости научных взглядов Н. К. Дмитриева и его превосходной эрудиции,— его кандидатская диссертация «Этюды по сербо-турецкому языковому взаимодействию». Эта работа была в окончательной редакции готова, когда ее автору было 25 лет, но начата значительно раньше, наверное еще в Лазаревском институте, задумана же еще раньше — в те годы, когда Н. К. Дмитриевым был подготовлен русский перевод известного собрания сербских сказок Вука Караджича.

Когда мы сравниваем взгляды Н. К. Дмитриева в начале и конце его научного пути, перед нами встает облик необычайно цельного в своих убеждениях ученого, чуждого теоретических шатаний и компромиссов, последовательного в отстаивании своих теоретических взглядов. Однако это вовсе не означает, что он остался вне широкого потока развития советской тюркологии за истекшие три с лишним десятилетия. Он сам был в центре этого потока; его взгляды на важнейшие вопросы, относящиеся к структуре тюркских языков, проделали значительную эволюцию. Но направление этой эволюции во всех случаях находилось в полном соответствии с общелингвистическими и тюркологическими концепциями Н. К. Дмитриева.

В настоящее время, когда нам стал доступен научный архив Н. К. Дмитриева, мы можем наглядно проследить, как вырабатывались его взгляды на важнейшие вопросы строя тюркских языков. В качестве примера можно было бы сослаться на развитие его учения о придаточном предложении. Еще в 30-х годах в своих неопубликованных исследованиях, относящихся к синтаксису туркменского, кумыкского, балкарского и некоторых других языков, Н. К. Дмитриев был склонен относить к придаточным предложениям все глагольно-именные (или, как у нас нередко называют их, причастные) конструкции (в том числе и те, где субъект оформлен в родительном падеже) на основании общей предикативной семантики этих конструкций. Однако в «Грамматике кумыкского языка» мы уже отмечаем серьезное внимание к форме подлежащего при выделении придаточных предложений. Обращаясь к более поздним работам, также не увидевшим света, мы можем проследить дальнейшую разработку вопроса о придаточном предложении и основных его членах — подлежащем и сказуемом, и, наконец, в «Грамматике башкирского языка» Н. К. Дмитриев формулирует в окончательном виде положение о придаточном предложении в тюркских языках.

О глубоко содержательном научном наследии Н. К. Дмитриева и его месте в истории тюркологии можно говорить много[2]. Однако в рамках краткой журнальной статьи приходится выбирать лишь то, что более всего существенно для нынешнего состояния и перспектив развития нашей советской тюркологии.

Одним из наиболее важных достижений, которыми советская тюркология обязана

---

[1] Доклад на заседании, посвященном памяти Н. К. Дмитриева, 22 декабря 1955 г. в Институте языкознания Академии наук СССР.

[2] См., например, Э. В. Севортян, Из истории развития советской тюркологии. (Памяти Н. К. Дмитриева), ИАН ОЛЯ, 1955, вып. 2.

Н. К. Дмитриеву, является созданная им схема описания структуры тюркских языков и принципы, лежащие в основе этой схемы. Схему описательной грамматики тюркских языков Н. К. Дмитриев выработал уже к тому времени, когда начало становиться на ноги самостоятельное тюркское языкознание в основных центрах тюркоязычного населения нашей страны. В главных чертах схема Н. К. Дмитриева была разработана к началу 30-х годов и распространялась на первых порах через лекционные курсы в ЛГУ, через семинары и циклы лекций, читавшихся ученым на периферии (Уфа, Симферополь и другие города), наконец, через курсы переводчиков. Но свое первое печатное выражение грамматическое построение Н. К. Дмитриева получило лишь в 1939 г. в брошюре «Строй турецкого языка».

Чем же отличается описательная схема Н. К. Дмитриева от описательных грамматик русской дореволюционной тюркологии?

Она отличается как принципом своего построения, так и объемом. В основу структурного описания тюркских языков Н. К. Дмитриев положил учение о грамматической категории, т. е учение о структурных элементах грамматики, обладающих определенными значениями и формами. Элементы такого структурного описания тюркских языков можно найти еще в работах отечественных тюркологов дооктябрьского времени, последовательнее всего у П. М. Мелиоранского, а также в лучших трудах зарубежных тюркологов (например, у проф. Ж. Дени). Но только в советское время и впервые в трудах Н. К. Дмитриева грамматическая категория становится исходным пунктом структурного описания тюркских языков. В настоящее время это положение, как и многое другое, внесенное в советскую тюркологию Н. К. Дмитриевым, настолько прочно вошло в повседневную языковедческую работу, что все новые и новые поколения советских тюркологов и даже в некоторых случаях специалисты более старших поколений подчас забывают или же не знают, что автором распространеннейшей у нас схемы является Н. К. Дмитриев. Правда, общие контуры схемы были выработаны не одним только Н. К Дмитриевым, как не были открыты одним В. В. Радловым или его учениками принципы, на которых строились грамматические описания в русской дооктябрьской тюркологии.

В новой схеме структурного описания тюркских языков нашли свое отражение передовые идеи русского языкознания, в частности некоторые идеи акад. А. А. Шахматова, так же как в описательных работах основоположников современной тюркологии нашли свое преломление идеи отечественных или зарубежных ученых, принадлежавших к младограммати́ческой школе. Но новая модель описания тюркских языков была не слепком с описательной грамматики русского языка, а результатом творческого применения некоторых ее принципов к тюркологическому материалу — результатом, органически вытекавшим из фактического материала тюркских языков, в противовес схеме описательной грамматики, широко распространившейся в 30-х годах в практике составления школьных учебников по тюркским языкам и механически копировавшей стабильный учебник по русскому языку, против чего Н. К. Дмитриев всегда выступал самым решительным образом.

Новая схема структурного описания отличалась от дооктябрьской, как было сказано, также и своим объемом. Мы имеем в виду синтаксический раздел, который встречался очень редко в дореволюционных грамматиках. В советское время синтаксис становится непременной частью грамматических описаний, и заслуга Н. К. Дмитриева в этой области состоит в том, что он прежде всего установил самый состав синтаксиса, включив сюда ряд разделов, отсутствовавших в старых грамматиках, и удалив разделы, дублировавшие известные части морфологии.

С выработкой общей схемы описательной грамматики тюркских языков и вовлечением в исследование нового материала, мало известного или почти неизвестного в дооктябрьской тюркологии (башкирский, кумыкский, туркменский, карачаево-балкарский), должна быть поставлена в связь разработка Н. К. Дмитриевым тех вопросов научной грамматики тюркских языков, которые в старой тюркологии оставались не вполне ясными или же открытыми. Можно было бы указать на такие важнейшие вопросы, как учение о сложноподчиненном предложении, о частях речи — наречии, местоимении, сложных и подражательных именах, об историческом соотношении трех типов определительных сочетаний (так называемый «тюркский izafet» — термин, заимствованный из арабской грамматики и, строго говоря, лишь частично применимый к грамматике тюркских языков), категории определенности и неопределенности, служебные имена, грамматическая (словоизменительная) система глагола и др.

Коснемся вкратце истории разработки перечисленных вопросов. Проблема сложноподчиненного предложения как одна из центральных тем научного описания тюркских языков дооктябрьской тюркологией специально не ставилась. А между тем практика школьной работы на родном языке очень скоро после установления советской власти поставила перед языковедами-тюркологами неотложную задачу выяснения грамматической природы целого ряда словосочетаний, которые никак не удавалось подвести под привычные и хорошо знакомые тюркологам синтаксические схемы русской грамматики. Решение вопроса можно было найти лишь на пути теоретического анализа указанных словосочетаний. В отличие от других тюркологов, которые в конце 30-х годов также

начали включаться в разработку вопросов сложноподчиненного предложения как особой проблемы практической и теоретической тюркологии и безуспешно пытались найти решение вопроса путем выяснения формы сказуемого придаточного предложения, Н. К. Дмитриев скоро понял, что вопрос о синтаксической природе специфических словосочетаний в тюркских языках может быть решен лишь на базе общей теории предложения, лишь при признании предикативной связи подлежащего и сказуемого фундаментом предложения вообще, в том числе и придаточного. Не сразу далась Н. К. Дмитриеву эта мысль, но он шел именно в этом направлении и в 1949 г. в «Грамматике башкирского языка» сформулировал хорошо известные специалистам положения о придаточном предложении в тюркских языках и его структурных частях. Не лишне напомнить, что наиболее вдумчивым и глубоким грамматистам на Западе, таким, например, как проф. Ж. Дени, в анализе специфических турецких словосочетаний не удалось подняться выше понятия «quasi-proposition», т. е. квази-предложений, что означает, конечно, отказ от определения грамматической природы специфических словосочетаний в тюркских языках.

В вопросе о наречии среди тюркологов дооктябрьского и послеоктябрьского времени преимущественно господствовало, и в некоторых случаях и сейчас еще господствует, убеждение в том, что наречие в тюркских языках морфологически недоразвито. Н. К. Дмитриев не отвергал этого положения, но его больше занимал другой вопрос, остававшийся в старых грамматиках в тени, вопрос о значении наречий и их связи с другими частями речи, в первую очередь с местоимением и другими именными частями речи.

Для анализа наречий, в первую очередь пространственных, определяющее значение имело исследование Н. К. Дмитриевым указательных местоимений в тюркских языках. В старых работах тюркологи ограничивались лишь номенклатурой и классификацией тюркских местоимений, либо этимологизацией их отдельных разрядов. Н. К. Дмитриев, как и в других случаях, и в этом вопросе перенес центр тяжести научного исследования на вопрос о семантических отношениях в группе указательных местоимений и о связи последних с другими частями речи, в первую очередь с наречиями. К теме о местоимениях Н. К. Дмитриев обращался дважды: в начале своей научной деятельности — к местоимениям турецкого языка, и во второй раз в конце сороковых годов — к местоимениям в башкирском языке. Результаты, к которым он пришел в своих исследованиях, общеизвестны, и повторять их нет надобности.

Категория сложных, в первую очередь парных слов составляла одно из тех «белых пятен» в описании тюркских языков, которых осталось немало в наследии дооктябрьской тюркологии. Из весьма немногочисленных исследований, специально посвященных этой теме, ко времени появления исследования Н. К. Дмитриева можно было бы назвать статью Карла Фоя[1] и отчасти статью Луиджи Бонелли[2], выступившего с рецензией на работу К. Фоя. Но Фой, как и большинство его западных коллег, больше интересовался фонетическими особенностями парных слов и меньше их строением и семантикой, не говоря уже о месте этой категории в структуре тюркских языков. В исследовании Н. К. Дмитриева, выполненном им на материале башкирского языка, были освещены все указанные стороны парных слов и определено место этой древнейшей и специфической категории тюркских языков.

Н. К. Дмитриеву удалось сказать свое, нужное слово и в такой, казалось бы, исчерпывающе разработанной Н. И. Ашмариным области, как подражательные слова в тюркских языках. Новое, внесенное Н. К. Дмитриевым в изучение подражательных слов, состоит в том, что он определил место подражательных слов в системе частей речи в тюркских языках и выделил их в качестве особой словообразовательной категории в системе междометий. За недостатком места мы не имеем возможности остановиться на других исследованиях Н. К. Дмитриева в области словообразования. Добавим к сказанному лишь то, что в трудах Н. К. Дмитриева принципиальные вопросы словообразования получили ясное и глубокое освещение.

В числе важнейших вопросов структуры тюркских языков, разработанных Н. К. Дмитриевым, выше была названа также проблема исторического соотношения трех типов определительных сочетаний существительных. Старая тюркология не имела достаточной возможности для постановки этого вопроса, так как не был еще выяснен другой, предварительный вопрос о положении всех трех типов атрибутивного сочетания имен в разных тюркских языках. В советское время благодаря усилиям тюркологов в центре и на местах этот вопрос удалось выяснить с достаточной полнотой, и значительная доля участия в этой исследовательской работе принадлежит самому Н. К. Дмитриеву. Но он кроме того, правильно наметил историческую преемственность между аффиксаль-

---

[1] K. Foy, Studien zur osmanischen Syntax. I— Das Hendiadyoin und die Wortfolge *ana baba*, «Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. II Abt.—Westasiatische Studien», Berlin — Stuttgart, 1899.

[2] L. Bonelli, Della iterazione nel turco volgare, «Giornale della Società Asiatica Italiana», vol. XIII.

ными и безаффиксальным типами определительных сочетаний существительных в тюркских языках.

Категория грамматической определенности и неопределенности, хорошо известная в западноевропейских языках, тюркологами до Н. К. Дмитриева не выделялась. Он первый обосновал необходимость ее выделения и включил этот вопрос в учение о структуре тюркских языков, установив, таким образом, внутреннюю связь между указательными местоимениями, именем и категорией падежа.

В анализе категории служебных имен Н. К. Дмитриев сделал решающий шаг после акад. В. А. Гордлевского, морфологически отделив их от собственно послелогов. Но не это составляет наиболее существенную сторону его трактовки служебных имен. Новое и ценное в исследовании служебных слов, проведенном Н. К. Дмитриевым на материале турецкого языка, состоит в том, что он выделил служебные имена как систему, в которой все они взаимосвязаны, и дал семантико-грамматический анализ этой системы. Разработку системы грамматических (словоизменительных) форм глагола (т. е. системы наклонений, модальностей, времен и аспектов), начатую и значительно продвинутую вперед акад. В. А. Гордлевским на материале турецкого языка, Н. К. Дмитриев довел до конца, уточнив, дополнив и частично изменив трактовку отдельных частей в описании системы грамматических форм глагола, и, проверив ее на материале разных тюркских языков, обобщил свою схему для всей тюркской группы в целом.

Можно было бы назвать еще ряд вопросов грамматики тюркских языков, которых коснулся в своих работах Н. К. Дмитриев.

Как ни различны вопросы, которые были затронуты выше, они все внутренне связаны и методом их анализа, и единством грамматической схемы Н. К. Дмитриева в целом. Мы говорили о двух отличиях описательной грамматики, разработанной Н. К. Дмитриевым, от традиционной. Третье ее отличие заключается в том, что описываемые явления рассматриваются автором в известной перспективе их развития. Как это ни парадоксально, но тем не менее остается фактом, что дооктябрьская тюркология, сосредоточившая свое внимание на вопросах исторического языкознания, при описании современных языков редко обращалась к историческому аспекту излагаемого ею материала. Правда, в грамматических трудах Н. К. Дмитриева историзм обычно проявляется не в оснащении их ссылками на показания памятников тюркских языков, ссылками, которые служат, по мнению иных тюркологов, чуть ли не единственным доказательством историзма. Историзм в описании грамматического явления Н. К. Дмитриев понимает как передачу с о д е р ж а н и я процесса развития грамматической категории. Это, конечно, историзм истинный, далекий, с одной стороны, от начетнического эмпиризма, а с другой стороны, от вульгарно-механистического, по существу антиисторического схематизма, сводящего все исторические изменения в тюркских языках ко всякого рода заимствованиям друг у друга и, таким образом, отрицающего собственное развитие этих языков.

Задаче исторического осмысления и изучения фактов тюркских языков подчинена была в конечном счете, по мысли Н. К. Дмитриева, и большая отрасль языкознания, в которой он выступил выдающимся организатором и новатором. Речь идет о диалектологии. Н. К. Дмитриеву обязана диалектология в Башкирии, Дагестане, Туркмении и в других местах переходом на современные методы полевой работы и последующей обработки материала. Вопросник и паспортизация, разбивка отрядов и групп по определенным разделам диалектографирования и т. д. — все это сегодня само собой разумеющиеся, можно сказать, элементарные правила организации диалектологической экспедиции. Но в конце 20-х, первой половине 30-х годов, когда осуществлялся переход на новые методы, понятие об этом имели лишь отдельные тюркологи на периферии.

Диалектографические описания Н. К. Дмитриев рассматривал лишь в качестве материала для более глубокой и важной задачи изучения истории становления современных тюркских языков. В одной из своих неопубликованных работ, подытоживающей опыт проведенных под руководством Н. К. Дмитриева пяти диалектологических экспедиций, он специально подчеркивает, что основной задачей диалектологии является решение вопросов, связанных с историей тюркских языков.

Четвертым отличием грамматических исследований Н. К. Дмитриева от старых работ является его метод. В тюркологических работах дооктябрьского времени исследователи не ставили перед собой задачу выяснения внутренних связей внешне изолированных явлений тюркских языков. Н. К. Дмитриев в своих исследованиях, наоборот, стремился выяснить внутреннюю связь и отношения различных категорий, образующих элементы структуры этих языков. Таким подходом к исследуемому материалу Н. К. Дмитриев всецело обязан благотворному влиянию на него марксизма, который он старался внедрить в работе как своей лично, так и руководимых им коллективов.

Характеристика лингвистических позиций Н. К. Дмитриева будет неполной без упоминания его взглядов на отношения тюркских языков между собой. Вместе с немногими тюркологами старшего поколения он бережно сохранил и развил одно из кардинальных положений дооктябрьской тюркологии — положение о генетическом единстве тюркских языков. Без сомнения, признание единства происхождения всех тюркских языков лежит в основе всей тюркологической деятельности Н. К. Дмитриева.

Надо было обладать мужеством и твердостью, чтобы в обстановке подозрительности и недоверия, а то и прямой неприкрытой вражды к идее изначальной общности тюркских языков, столь распространенных в 30-х и даже 40-х годах на местах и даже отчасти в центре, открыто и смело защищать словом и делом эту идею, не боясь обвинения в пантюркизме, с которым нередко отождествляли в языковедческой практике на местах идею генетического единства тюркских языков. Идее изначальной общности тюркских языков был подчинен также большой план научных исследований, о котором речь будет идти ниже.

В трудах Н. К. Дмитриева и в руководимых им коллективных исследованиях его сотрудников положение о единстве тюркских языков нашло новое подтверждение и дальнейшее развитие, что выразилось в специальном и детальном изучении значений и соотношений общих структурных категорий тюркских языков, в выяснении модификаций одних и тех же грамматических или лексических категорий в различных тюркских языках или их более тесных группах.

Весьма значителен и принципиально нов вклад, внесенный Н. К. Дмитриевым в тюркскую лексикологию. Это — старейшая ветвь тюркологии, более ранняя, чем грамматика. В области лексикологии пробовали свои недюжинные силы и О. Сенковский, и А. Мухлинский, и М. Казем-Бек, и И. Березин и другие. Но то были лишь первые опыты, во многом теперь уже устаревшие. Лишь с Л. Будагова начинается у нас современная научная лексикология, получившая наибольший размах и научное обоснование в замечательных трудах В. В. Радлова, П. М. Мелиоранского, Ф. Е. Корша и их выдающихся учеников В. А. Гордлевского и С. Е. Малова. Однако на том этапе лексикологических разысканий основное внимание наших классиков, за исключением В. В. Радлова, сосредоточивалось на вопросах тюркских заимствований в русском языке. В трудах Н. К. Дмитриева центр тяжести лексикологических исследований перемещается в область разработки вопросов собственно тюркской лексикологии. По его инициативе и по его начертаниям тюркологический коллектив Института языкознания АН СССР приступает к большой коллективной работе, посвященной важнейшим элементам общего словарного фонда тюркских языков. Ныне эта работа завершена, но ее организатора и вдохновителя среди нас уже нет, и его авторитетной оценки мы уже не услышим.

В трудах Н.К.Дмитриева была продолжена и старая линия отечественной тюркологии в области словарных заимствований.Но Н.К.Дмитриев внес сюда и некоторые новые установки. Они заключаются в том, что при исследовании тюркских заимствований в русском языке необходимо выяснять, по возможности, общие условия и эпоху заимствования, определять конкретный тюркский язык, откуда заимствовано исследуемое слово. Эти особенности лексикологических трудов Н. К. Дмитриева должны быть хорошо известны специалистам, так как в его опубликованных статьях установки автора и его методика выражены с достаточной четкостью. Однако лучшие исследования Н. К.Дмитриева из области тюркских заимствований в русском языке пока не опубликованы. Не опубликована, в частности, его большая работа о тюркских элементах в лексике русского языка. Это превосходное исследование после войны было сдано в печать. Но затем сборник, где была помещена работа Н. К. Дмитриева, не вышел, и исследование не увидело света. Можно надеяться, что в конце концов оно станет известным и русистам, и тюркологам, если только удастся осуществить задуманное Академией наук издание избранных сочинений Н. К. Дмитриева.

Н. К. Дмитриев пришел в науку в то время, когда литературные тюркские языки в своей громадной части начали только еще складываться, когда во многих национальных областях с тюркоязычным населением по существу еще не было ни своей художественной литературы, ни своего литературоведения. Для изучения языка перед лингвистом оставался все тот же старый дореволюционный путь скрупулезного собирания живого языкового материала,в первую очередь образцов неиссякаемого народного творчества — фольклора. Сегодня, пожалуй, выглядело бы анахронизмом, если бы тюрколог для изучения общенародного тюркского языка — татарского, башкирского, узбекского, каракалпакского, кумыкского и других — вдруг отвернулся от художественной литературы и национальной прессы на этих языках и стал строить свои будущие наблюдения и заключения на основании собранных им самим фольклорных материалов, записанных на разных диалектах. Но в 20-х годах приходилось идти именно этим путем, ибо другого не было. Широкая практика собирания материалов из уст народа вскоре привела Н. К. Дмитриева в область тюркского фольклора, который с того времени стал одной из специальностей Н. К. Дмитриева. Фольклорные труды Н. К. Дмитриева — его многочисленные вступительные статьи и весьма компетентные комментарии к турецким, башкирским, алтайским и туркменским сказкам слишком хорошо известны широким кругам читателей, чтобы о них была надобность говорить подробно в данной статье. Значительное число фольклорных работ Н. К. Дмитриева, посвященных поволжско-татарскому, крымско-татарскому, азербайджанскому, башкирскому и туркменскому фольклору, опубликовано им на французском, немецком и итальянском языках в зарубежных изданиях.

Отличительной чертой Н. К. Дмитриева как ученого является ориентированность

всей его деятельности на вопросы и задачи социалистического строительства. Откликаясь на мелкие и мельчайшие нужды повседневной практической языковедческой работы на местах, Н. К. Дмитриев умел в то же время заглядывать в завтрашний день практической и научной тюркологии и в соответствии с этим строить планы научных исследований и подготовки кадров для многочисленных пунктов востоковедной работы в нашей стране.

Н. К. Дмитриев был выдающимся и крупнейшим руководителем и организатором советской тюркологии. Он прекрасно знал историю своей науки, ее современное состояние, сильные и слабые стороны тюркологии, ее нерешенные проблемы и очередность последних; отлично знал кадры советских тюркологов и потребность в них.

Н. К. Дмитриев был решительным противником забегания вперед, противником научного прожектерства и авантюризма. Он всегда считал, что наука может ставить перед собой лишь выполнимые задачи, что она не может развиваться без синтетических работ, но синтетические работы должны быть подготовлены новыми фактами, новыми наблюдениями, вносящими существенные изменения и дополнения в сложившиеся представления о тюркских языках. Всякий очередной синтез в тюркологии и должен быть выражением вновь накопленных наблюдений, изменений и дополнений, переходом на новый этап научных исследований. Именно так был задуман Н. К. Дмитриевым большой план тюркологических исследований в руководимом им коллективе тюркологов Института языкознания Академии наук СССР — план, рассчитанный на три пятилетки: в первой пятилетке — исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, во втором пятилетии — сравнительная лексикология тюркских языков, в третьем пятилетии — тюрко-монгольские языковые взаимоотношения. И все это, вместе взятое, должно было стать подготовкой для перехода на новый, высший этап тюркологических исследований — этап сравнительно-исторического изучения тюркских языков в целом с конечной целью этих исследований — созданием сравнительно-исторической грамматики тюркских языков, которую Н. М. Мелиоранский более полувека тому назад назвал «одной из основных задач тюркологии»[1].

Свою педагогическую деятельность Н. К. Дмитриев начал в одном из старейших очагов русского и мирового востоковедения — бывшем С.-Петербургском, ныне Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова. Здесь были созданы им многочисленные курсы по самым разнообразным языкам тюркской семьи: турецкому, туркменскому, узбекскому, татарскому, башкирскому, кумыкскому, карачаево-балкарскому, якутскому и другим. Именно из этих лекционных курсов выкристаллизовалась и отстоялась описательная схема Н. К. Дмитриева, о которой говорилось раньше. В значительной мере благодаря Н.К. Дмитриеву так окрепла и завоевала себе широкую популярность и заслуженный авторитет кафедра тюркской филологии в ЛГУ.

И все же выдающиеся качества Н. К. Дмитриева как педагога и ученого-организатора ярче всего проявились в стенах Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, куда Н. К. Дмитриев перенес свою научно-педагогическую деятельность с начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Как известно, востоковедение в МГУ никогда не имело прочных и непрерывных традиций. Оно неоднократно возникало в Московском университете и после непродолжительного существования исчезало, будучи связанным не столько с деятельностью школ, сколько с деятельностью отдельных лиц. Тюркологическая же ветвь востоковедения вообще не имела никогда корней в Московском университете. Выдающейся заслугой Н. К. Дмитриева является то, что он заложил прочные основы востоковедческого, в частности тюркологического образования в стенах МГУ, отстоял и укрепил созданное им Восточное отделение филологического факультета МГУ. Все, связанные с Восточным отделением со дня его рождения, живо помнят, с каким мужеством, упорством и верой в насущную необходимость его существования боролся Н. К. Дмитриев со всеми трудностями и препонами в жизни Восточного отделения, отдавал все силы своего большого и пламенного сердца любимому им делу подготовки советских востоковедческих кадров.

Н. К. Дмитриеву посчастливилось еще при жизни увидеть плоды организованного им востоковедного образования в МГУ. В настоящее время почти половина первых выпусков молодых тюркологов, воспитанных Н. К. Дмитриевым и его сотрудниками, находится на научной или научно-прикладной работе, с честью оправдывая звание выпускников Восточного отделения филологического факультета Московского государственного университета. Кафедры тюркской и иранской филологии Восточного отделения МГУ хорошо известны далеко за пределами Москвы.

Не менее значительны заслуги Н. К. Дмитриева в области подготовки собственно научных кадров тюркологов через аспирантуру. Ведущие основные кадры ученых тюркологов Москвы, Ленинграда, Казахстана, Туркмении, Киргизии, Азербайджана, Татарии, Башкирии, Дагестана, Хакассии и Якутии — это в значительной своей части ученики Н. К. Дмитриева, прошедшие у него аспирантуру.

---

[1] П. М. Мелиоранский, Арабфилолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. I.

Хочется вспомнить, как готовил Н. К. Дмитриев к научной работе своих аспирантов. Обо всем, естественно, невозможно сказать. Но о главном в методах воспитания будущих ученых сказать необходимо. Главное заключается в том, что Н. К. Дмитриев старался с первых же шагов привить начинающим специалистам навыки научной работы, предоставлял своим ученикам возможность максимального выявления своих способностей. Он никогда не навязывал аспирантам своих научных взглядов и относился с полным уважением к мнению молодого начинающего специалиста.

Н. К. Дмитриев принадлежал к передкому в нашей советской действительности высшему типу научных руководителей, у которых личное неотделимо от науки. Советская тюркология, советское востоковедение были глубоко личным делом Н. К. Дмитриева. Судьбы науки, ее трудности и достижения так же глубоко волновали или радовали его, как огорчает и радует горе или радость близкого и дорогого человека. В последние годы Н. К. Дмитриев отдавал много времени и сил реализации большого плана исследовательских работ, о которых было сказано выше. Первая проблема — «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» — была разработана под его руководством в течение 1945—1950 гг., и результаты этой работы сданы в печать. Разработка второй проблемы — «Исследования по сравнительной лексикологии тюркских языков»— заняла следующее пятилетие и была завершена уже после смерти Н.К. Дмитриева. Третья проблема ожидает своей очереди.

Н. К. Дмитриеву не удалось довести до конца всех задуманных им больших начинаний. Но главное он сделал: вместе со своими учителями он заложил незыблемый фундамент советской тюркологии, помог созданию тюркологических очагов на местах, заботливо вынестовал научные кадры для многочисленных тюркоязычных народов СССР и оставил нам свои глубоко содержательные труды по всем основным разделам и вопросам, относящимся к строю тюркских языков. Советские тюркологи всегда будут с чувством глубокой благодарности вспоминать имя мудрого и заботливого учителя, чуткого и верного товарища и друга Николая Константиновича Дмитриева.

Э. В. Севортян

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ П. К. УСЛАРА ДЛЯ СОВЕТСКОГО КАВКАЗОВЕДЕНИЯ

В 1955 г. исполнилось 80 лет со дня смерти П. К. Услара—одного из выдающихся русских языковедов XIX в. Его замечательные монографии по иберийско-кавказским языкам стоят рядом с наиболее значительными лингвистическими работами того времени.

Одним из важнейших достижений языкознания XIX в. является исследование родственных языков в сравнительно-историческом плане путем применения нового научного метода — сравнительно-исторического. Услар хорошо знал это направление в языкознании, его достижения. Вся лингвистическая деятельность Услара развертывалась в плане реализации глубоко осознанных целей и задач сравнительно-исторического языкознания, первым этапом решения которых в области кавказского языкознания Услар считал глубокий статический анализ структуры отдельных языков, сопровождаемый сравнительно-историческими наблюдениями.

Петр Карлович Услар был пионером в изучении кавказских языков. Все горские кавказские языки в то время были бесписьменными. При этом следует учесть, что они обладают очень сложной и трудной для изучения фонетической системой, а также чрезвычайно своеобразным грамматическим строем. И все же в старых учебных пособиях по языкознанию, по истории науки о языке совершенно незаслуженно, несправедливо обходят имя Услара. Европейская наука знала о деятельности Услара только по отчетам акад. А. А. Шифнера, писавшего их по-немецки. В этом отношении судьба Услара в известной мере напоминает судьбу датского языковеда Р. Раска[1]. Благодаря усилиям соотечественников роль Раска в истории языкознания XIX века была восстановлена. К сожалению, этого не сделано до сих пор в отношении деятельности Услара. А ведь именно из трудов Услара впервые стало совершенно ясно, что горские кавказские языки не родственны

[1] «К сожалению,—писал В. Томсен,—Раск вне Дании почти неизвестен и неоценен по заслугам; причина этого заключается несомненно в том, что почти все свои работы он писал на датском языке...а так как часть его основных достижений попала в общеевропейскую науку через посредство вторых лиц... то иностранные ученые... слишком часто забывают его имя» (В. Томсен, История языковедения до конца XIX века, М., 1938, стр. 57).

ни тюркским, ни индоевропейским, ни финно-угорским языкам, что они представляют собой «особое семейство языков».

Значение П. К. Услара как исследователя-языковеда не ограничивается кавказоведением. В его трудах был поднят и освещен ряд проблем общелингвистического характера. На материале горских кавказских языков Услар правильно поставил проблему природы звука человеческой речи как лингвистической единицы.

Труды П. К. Услара представляют большой интерес с точки зрения методологии и методики исследования. Опираясь на наиболее приемл мые методологические основы прогрессивного языкознания своего времени в их применении к изучению иберийско-кавказских языков, он разработал методику исследования этих языков с учетом их специфики, состояния и возможности статического и исторического их изучения[1].

Попытки Услара создать письменность для бесписьменных народов Кавказа, его высказывания о роли родного языка в просвещении народных масс имели большое значение для развития национального самосознания представителей горских народов Кавказа, уяснения ими роли родного языка. У него мы находим много весьма ценных положений, не потерявших своего значения и в наше время, относительно воспитания чувства дружбы между народами, о приобщении свободолюбивых горцев Кавказа к великой русской культуре[2]. Эти положения занимают почетное место в истории русской педагогической мысли и широко используются советскими учеными-педагогами в исследованиях, посвященных истории развития просвещения на Кавказе.

Мы остановимся на характеристике деятельности Услара преимущественно в области языкознания. В его работах много ценного, поучительного и для языковедов нашего времени.

1

В период, непосредственно предшествовавший деятельности П. К. Услара, Кавказ представлял собой своеобразные «джунгли» даже для такого корифея языковедческой науки, каким был один из основателей сравнительно-исторического языкознания Фр. Бопп. Достаточно сказать, что Бопп полагал, будто картвельские языки относятся к индоевропейским. Языковеды, историки, этнографы того времени, не имея возможности разобраться в этом «конгломерате» племен и языков, продолжали разделять заявления древних писателей и средневековых арабских путешественников об исключительном многоязычии Кавказа (например, Страбон писал, что на Кавказе около трехсот языков, а Массуди называл Кавказ «горой языков»).

Записанные крайне плохо, без учета фонетических особенностей кавказских языков, скудные языковые материалы акад. Гюльденштедта, Клапрота и некоторых других мало могли дать для того, чтобы разобраться в сложной и запутанной лингвистической карте Кавказа. Наука о языке не имела достаточно обоснованной, сколько-нибудь полной характеристики фонетики, морфологии, синтаксиса или лексики какого-нибудь из горских кавказских языков.

В таких условиях было бы безрассудно углубиться в эти «лингвистические джунгли» без заранее разработанных плана и методики языковедческих исследований. Дилетантские попытки изучения отдельных языков и групп языков не могли дать желаемых результатов. Это понимали некоторые члены созданного в 1851 г. Кавказского отдела Русского географического общества. Одним из них был и П. К. Услар. Правда, среди членов Кавказского отдела были и такие, которые придерживались иной точки зрения. Так, Г. Бартоломей считал, что нужно составить в течение двух-трех лет сравнительные словари того типа, какие существовали до возникновения сравнительно-исторического языкознания. П. К. Услар видел в замыслах Г. Бартоломея стремление попрежнему поверхностно, по-дилетантски изучать кавказские языки, выхватывая отдельные слова из лексики кавказских языков. Бартоломей не был знаком с последними достижениями мирового языкознания, не понимал их значения для изучения кавказских языков и не учитывал их в исследовательской практике, что глубоко возмущало П. К. Услара.

П. К. Услар был сторонником методически-последовательного, глубокого и всестороннего изучения кавказских языков. Лишь таким путем можно было бы достичь желаемой цели. Для этого нужно было обладать талантом, глубиной научного мышления, методичностью, упорством в достижении цели и трудолюбием Услара. Вместе с тем

---

[1] Ср. А. С. Чикобава, П. Услар и вопросы научного изучения горских иберийско-кавказских языков (к 80-летию со дня смерти), сб. «Иберийско-кавказское языкознание», т. VII, Тбилиси, 1955.

[2] Следует, однако, отметить, что в деятельности П. К. Услара как высокопоставленного чиновника, представителя царской власти на Кавказе иногда чувствовалось вредное влияние господствовавших в то время политических и общественных взглядов. И все же в постановке и разработке научных проблем по истории и филологии верх брало более передовое, прогрессивное по сравнению с тем, что тогда писали историки, филологи, этнографы о Кавказе и кавказских народах.

необходимо было так же хорошо знать Кавказ, как его знал Услар. Только исследовательская практика, должным образом учитывающая достижения мировой лингвистики и базирующаяся на вышеуказанных основах, могла продвинуть вперед кавказское языкознание. Услар был в известной мере подготовлен к такой исследовательской практике всей своей предшествующей деятельностью.

Прекрасно владея древними классическими языками, он хорошо знал и новые европейские языки, например немецкий и французский, а родной ему русский язык любил великой любовью.

После окончания инженерного училища Генерального штаба П. К. Услар, занимаясь военно-статистическими описаниями сначала родной ему Тверской (он родился в 1816 г. в деревне Курово бывшего Вышневолоцкого уезда), а затем Вологодской и других губерний, тщательно изучал и учитывал данные истории, этнографии, языкознания. Впоследствии все это сказалось весьма положительно на его лингвистических исследованиях.

К изучению кавказских языков П. К. Услар приступил не в качестве путешественника, случайно приехавшего на Кавказ на короткое время и имевшего лишь поверхностное представление о стране, а после 12—13-летнего пребывания на Кавказе в роли одного из руководящих работников Кавказской армии. Непосредственно участвуя в военных действиях на Кавказе, составляя военно-статистические описания Ереванской губернии и некоторых других районов Кавказа, Услар объездил вдоль и поперек почти весь Кавказ.

Наконец, заслуживает пристального внимания его прекрасная осведомленность в основных проблемах современного ему языкознания. Любой вопрос, который Услар начинал изучать, он изучал упорно, методично, глубоко и основательно. На всем, чем он занимался, он оставлял печать своего яркого, оригинального, самобытного таланта.

2

В 1858 г. на П. К. Услара было возложено составление истории Кавказа. Это обстоятельство послужило непосредственной причиной, заставившей Услара вплотную заняться изучением кавказских языков, которыми он давно интересовался. В то время историки, этнографы, антропологи находили в истории народов Кавказа много таинственного и экзотического. Иоган Фридрих Блуменбах, например, в своей классификации человеческих рас утверждал, что белую расу, к которой относятся европейцы, следует называть кавказской, потому что наиболее древними и чистыми представителями этой расы являются коренные народы Кавказа. Находились и такие ученые, которые полагали, что коренные народы Кавказа — это остатки европейских народов, сохранившиеся там со времени их движения из Азии в Европу и т. д. Таким образом, даже в научной литературе по вопросу о древнейшей истории Кавказа было много фантастичного. Услар, разумеется, не верил в эти басни и искал ключ к научному объяснению истории народов Кавказа.

Но его глубокому убеждению, при отсутствии у подавляющего большинства народов Кавказа исторических письменных памятников наиболее ценным и надежным источником их истории является язык. Об этом П. К. Услар прямо говорит в письме к А. П. Берже в 1859 г.: «С каждым днем я убеждаюсь в том, что была бы возможность написать удовлетворительно *историю целого Кавказа*, если бы были подготовлены к тому материалы. Цель истории объяснить, почему народ формировался *так*, а не *иначе*. Но сформирование его определяется вовсе не случайностями, из которых до сих пор лепится история, а элементами постоянными и которые можно изучить... Летописи и предания, на недостаток которых так жалуются, составляют самое сомнительное и скудное пособие для изучения древней истории народа, которую считаю я весьма важною, потому что в ней легче подсмотреть коренные этнические свойства... Но ни языка, ни местности подделать нельзя. Это суть правдивые, неисчерпаемые выводами летописи; таковыми летописями обладают все кавказские народы, как и все народы на земле. Из этих летописей можно создать настоящую народную историю... Пока не будет проложен путь к разумной истории Кавказа, кавказские исторические действователи будут преследуемы ироническим вопросом: „Из-за чего беснуетесь вы эдак?“ »[1]

Подготовительным материалом к истории Кавказа должны были послужить, по мнению Услара, исследования по кавказским языкам. Эту работу нужно было организовать в следующей последовательности: сначала исследовать каждый язык в отдельности, независимо от количества населения, говорящего на нем. «Быть может, — писал Услар, — какому-нибудь неизвестному языку, которым говорят два, три десятка семейств в глуби Дагестана, суждено бросить нежданный свет на доисторические времена. Для филолога нет языка незанимательного (разрядка наша.— *Ю. Д.*); подобным образом, геологу окаменелая раковина, отпечаток водоросля

[1] П. К. Услар, Письма, в кн. «Этнография Кавказа. Языкознание», II, Тифлис, 1888, стр. 6—7 первой пагинации.

повествует о тайнах землездания»[1]. Для Услара характерно именно такое глубокое понимание значения лингвистических исследований.

3

Всесторонние исследования отдельных языков должны были заложить основу для последующего сравнительно-исторического изучения кавказских языков. Такую задачу ставил Услар перед собой, перед кавказским языкознанием. Это ясно видно из его характеристики сравнительно-исторического языкознания. По словам Услара, «исследование каждого особого языка должно представиться в виде *части: целого* т. е. исследования целого семейства кавказских языков,но для исследования ц е л о г о необходимо исследовать предварительно *все* части: каждый язык открывает чрезвычайно много нового *для целого*»[2].

Такая целеустремленность П. К. Услара была обусловлена прекрасным знанием достижений сравнительно-исторического языкознания того времени. «Неистощимое средство для изучения древнейшего времени представляет *язык*, — писал он в начале 60-х годов прошлого столетия.— Нет никаких письменных сказаний о том, что главнейшие европейские народы и индусы одного происхождения, а между тем сравнительное изучение языков доказывает это неопровержимым образом»[3]. Об отношении Услара к сравнительно-историческому языкознанию свидетельствует и следующее его высказывание в письме к А. П. Берже в 1859 г.: «...Если тем, что я напишу, мне удастся хотя несколько способствовать указанию настоящего пути для будущих исторических исследований на Кавказе, вроде исследований Гримма, Боппа, Лассена, Потта и других, то уже заслуга моя будет велика»[4].

Таким образом, уже в самом начале лингвистической деятельности Услара, вернее в период его подготовки к этой деятельности, определилась методология, теоретические основы его языковедческих исследований. Услар оценивал свои конкретные исследования с точки зрения сравнительно-исторического языкознания. Именно поэтому после завершения работы над монографиями о трех кавказских языках, он в письме к А. П. Берже от 10 февраля 1864 г. смог решительно заявить: «Теперь уже утвердительно можно сказать, что к великим семействам языков старого света... должно присоединить еще с о в е р ш е н н о с а м о с т о я т е л ь н о е с е м е й с т в о языков *кавказских* (разрядка наша. — *Ю. Д.*), так как все эти языки, при изумительном разнообразии, представляют глубокие родственные черты. Армянский язык есть язык индоевропейский; грузинский, повидимому, есть язык кавказский и, по всей вероятности, самый замечательный в целом семействе. Без очерка грамматического строения грузинского языка замышляемый мною *Caucase polyglotte* будет незамкнут»[5]. Из сказанного видно, что Усларом широко был задуман план исследования иберийско-кавказских языков.

Высоко оценивая исследование грамматического строя языка, П. К. Услар в то же время хорошо понимал, что для воссоздания картины древнейшего состояния кавказских языков и изучения законов их развития недостаточно одной сравнительной грамматики. Необходима и сравнительная лексикология, поскольку основу языка образуют грамматический строй и основной словарный фонд. «Сравнительный словарь всех кавказских языков и наречий, каковы бы ни были недостатки его, как первого опыта, как бы мало ни имел он притязаний на полноту, — составит знаменательное явление в области всемирного языкознания»[6],— утверждал он.

Однако Услар никогда не ставил знака равенства между общим языкознанием и сравнительно-историческим изучением языков. У него не было пренебрежительного отношения к всестороннему статическому анализу языка, ибо он хорошо понимал, что основой основ общего и сравнительно-исторического языкознания является статический *анализ языка*. Для него было т е о р е т и ч е с к и м всякое лингвистическое исследование, независимо от того, великому или малому языку, диалекту или говору оно посвящалось, если в нем выявлялись еще никем не изученные частные и общие закономерности. Для Услара теоретическими были и такие лингвистические исследования, в результате которых устанавливались элементы описания и истории данного языка или группы языков. В этом смысле теоретическими были все монографии Услара по кавказским языкам, так как в них впервые в истории монографически давался статический анализ этих языков.

Такова была методология, таковы были теоретические принципы, положенные в основу задуманного Усларом Caucase polyglotte.

---

[1] П. К. У с л а р, Письма.., стр. 15.
[2] Там же, стр. 45—46.
[3] П. К. У с л а р, Древнейшие сказания о Кавказе, Тифлис, 1881, стр. XXI.
[4] Там же, стр. 7.
[5] П. К. У с л а р, Письма.., стр. 35.
[6] Там же, стр. 15.

4

Для осуществления указанной широкой программы исследования кавказских языков надо было разработать методику изучения этих языков с учетом их специфики, отсутствия на них памятников письменности. Эта методика должна была соответствовать теоретическим принципам, положенным в основу задуманного Caucase polyglotte. Такая методика, сохраняющая свое значение во многом и сейчас, была впервые разработана Усларом. Сущность этой методики состояла в следующем.

1. П. К. Услара не удовлетворяли делавшиеся до него попытки собирания лишь лексического материала, как правило, скудного и недоброкачественного. По его мнению, нужно было изучить кавказские языки монографически, создавая целостное представление о них, по возможности глубоко выявляя специфику каждого языка и всех его основных отделов: фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики.

2. П. К. Услар придавал большое значение точности фонетических записей. Хотя его слух хорошо улавливал тончайшие оттенки так называемых кавказских звуков, он не полагался только на свой слух и, отыскав носителя исследуемого языка, «ознакомленного с русским языком и грамотою, и составив при помощи его азбуку данного языка, заставлял его записывать все слова и тексты..»[1]. Этим и объясняется та удивительная точность записи языковых фактов, которая характерна для П. К. Услара. Прав был Д. П. Загурский, говоря, что «...труды Услара имеют, в отношении верности транскрипции звуков, преимущество перед всеми лингвистическими трудами европейских ученых, изучавших те... языки, которые прежде были не исследованы, или мало исследованы»[2].

3. П. К. Услар выдвигал в качестве одного из основных требований, предъявляемых к лингвистическим исследованиям, тщательность подбора текстового материала для изучения языка. «Сказки, песни, поговорки, живущие в устах народных, составляют единственный, вполне надежный, ничем посторонним не засоренный источник к изучению языка.Собрание всего изустно-живущего в народе должно составить первый письменный памятник, после создания азбуки»[3]. Поэтому, по мнению Услара, «...основанием исследований должна служить фраза не переводная, а коренная...»[4].

4. П. К. Услар особенно отмечал важность обстоятельного изучения грамматического строя языка для выявления его специфики, для восстановления картины его исторического развития.

5. П. К. Услар призывал к строго научному исследованию специфики каждого языка, без всякой предвзятой идеи. Выявление главных особенностей изучаемого языка, полный учет всей суммы данных, формирующих исследуемый язык,— такова, по его мнению, главная задача исследователя неизученного или слабо изученного языка.

6. При исследовании еще не изученных кавказских языков Услар брал за основу определенную территориальную лингвистическую единицу, диалект или говор, не допуская смешения данных разных диалектов или говоров исследуемого языка. Этим он руководствовался, приступая к исследованию, например, абхазского, аварского и других кавказских языков.

7. Для восстановления более или менее точной картины исторических взаимоотношений кавказских языков, по мнению Услара, необходимо было глубокое монографическое изучение отдельных кавказских языков, составляющих все группы иберийско-кавказских языков. Только на основании такого изучения можно было бы создать более или менее основательные сравнительно-исторические исследования по кавказским языкам.

Указанные выше методологические положения и методические приемы уточнялись и углублялись им в ходе изучения горских кавказских языков.

5

Первым языком, ставшим объектом монографического исследования П. К. Услара, был абхазский язык. Он является едва ли не самым трудным среди указанных языков из-за сложности его фонетической системы и грамматического строя. Начав изучение абхазского языка в 1862 г., Услар за очень короткое время успешно преодолел все трудности и представил для опубликования монографическое исследование общим объемом свыше 25 печатных листов. В эту монографию во втором издании были включены также статьи «О распространении грамотности между горцами», «Предложение об

---

[1] Л. Загурский, Записка об очерке табасаранского языка, посмертном труде Услара, «Известия Кавк. отдела Русск.Геогр. о-ва», т. VII, № 2, Тифлис, 1882, стр. 332.

[2] Там же, стр. 332—333.

[3] П. К. Услар, Древнейшие сказания о Кавказе, стр. XLIV.

[4] П. К. Услар, Письма.., стр. 17.

устройстве горских школ», «О составлении азбук кавказских языков», «Черновые заметки о черкесском языке», «О языке убыхов», «Грамматический очерк сванетского языка». В том же 1862 г. Услар приступил к изучению чеченского языка. Монография по этому языку была издана в Тифлисе в 1888 г. общим объемом около 30 печатных листов. Эта монография во втором издании была дополнена широко известной статьей «Кое-что о словесных произведениях горцев», а также письмами к А. А. Шифнеру. Обе монографии Услара были удостоены премии Российской Академии наук.

В 1863 г. Услар начинает изучать аварский язык, являющийся наиболее крупным среди аваро-андо-цезской подгруппы дагестанских языков. Монография «Аварский язык» была издана в 1889 г.в Тифлисе общим объемом около 50 печатных листов. В 1864 г. он принимается за исследование лакского языка. Монография «Лакский язык» была издана в 1890 г. общим объемом около 44 печатных листов. В 1866—1867 гг. Услар занимается изучением даргинского языка. Монография по этому языку под названием «Хюркилинский язык» вышла в 1892 г. общим объемом около 45 печатных листов. В 1871 г. он завершает работу над монографией лезгинского языка, которая была опубликована в 1896 г. под названием «Кюринский язык» общим объемом около 60 печатных листов. Эта монография является наиболее крупной по объему из всех опубликованных работ Услара по горским кавказским языкам. Наконец, Усларом была в основном закончена монография «Табасаранский язык». Правда, он не успел окончательно ее обработать и подготовить к печати. Общий объем этой работы составляет свыше 45 печатных листов[1]. Таким образом, Услар успел монографически исследовать семь горских кавказских языков. Все эти языки в советское время стали письменными.

Указанные монографии Услара составлены по единому плану. Сначала дается краткая характеристика звукового состава изучаемого языка, далее следует описание грамматического строя, которому посвящается основная часть каждой монографии, и, наконец, даются тексты, национально-русский словарь и обратный указатель к нему. Ниже остановимся на характеристике основных результатов, достигнутых П. К. Усларом в исследовании звукового состава, грамматического строя и словарного состава горских кавказских языков.

6

До П. К. Услара не было ни одной работы, в которой была бы исследована фонетическая система какого-либо из горских кавказских языков, за исключением нескольких «Опытов» А. А. Шифнера. Поэтому одним из наиболее трудных и важных вопросов в исследовании того или иного горского кавказского языка являлся вопрос о фонетической системе данного языка и выявлении его фонемного состава. Услар прекрасно сознавал огромные трудности, связанные с определением звукового состава кавказских языков. «Легче,—писал он, — расслушать, как *трава растет*, по выражению скандинавских скальдов, чем расслушать все видоизменения звуков горных кавказских языков»[2]. С указанной задачей Услар блестяще справился. Он разработал на русской графической основе алфавиты всех исследованных им горских кавказских языков с полным учетом лингвистических требований, а также практических интересов кавказского языкознания. Алфавиты, составленные Усларом, в основном правильно отражают звуковую систему этих языков и стоят на уровне требований современной науки о языке, если не считать некоторых незначительных погрешностей. Так, в алфавитах Услара не получила особого обозначения гортанная смычная фонема, обозначаемая в современных алфавитах младописьменных языков через апостроф(’), хотя она и была правильно отмечена им.

В своих трудах П. К. Услар дает краткую характеристику каждой фонемы, иллюстрирует примерами ряд случаев употребления того или иного особого звука. Уже в то время Усларом было в основном выяснено понятие, связываемое в настоящее время с термином «фонема»; эта формулировка была дана Усларом на основе обобщения совершенно нового фонетического материала по кавказским языкам. Так, в кавказских языках встречаются по меньшей мере восемь фонем с основной артикуляцией заднеязычного смычного *к*. Это следующие фонемы: собственно *к* (как правило, придыхательная фонема), *кв* — лабиализованная фонема *к*, *ḳ* ,— палатализованная фонема *к*, *кI*— смычно-гортанная фонема *к*, *кк*— геминированная фонема *к*, *ḳ*, *I*— смычно-гортанная палатализованная фонема *к*, *кIв* — смычно-гортанная лабиализованная фонема *к*, *ккв* — геминированная лабиализованная фонема *к*. Аналогичные примеры можно было бы привести и в отношении других фонем.

Указанные звуки, как показал Услар, не являются результатом фонетических, позиционных изменений в действующей звуковой системе языка. Какой же принцип,

[1] В настоящее время намечено издание этого труда, остававшегося около 80 лет неопубликованным. Подготовка рукописи к изданию проведена А. А. Магометовым.

[2] П. К. Услар, Письма.., стр. 10.

какую же закономерность следует положить в основу характеристики этих звуков в качестве постоянных, самостоятельных звуковых единиц, помогающих различать слова и морфемы? По мнению Услара, различие звуков «обусловливается различным относительным расположением органов произношения, как-то: губ, языка, зубов, десен, нёба и пр. Так как это расположение может изменяться до бесконечности, то очевидно, что различных звуков во всех языках земного шара, взятых вместе, существует или может существовать бесконечное число. Это суть *звукокачества* (Lautqualitäten).

Число различных звукокачеств в одном и том же языке никогда не бывает значительно... Каждое особое звукокачество необходимо должно быть выражено особым знаком, *буквой*. Но каждое *звукокачество* может быть произведено с различною степенью напряжения; таковых степеней напряжений *звукококличеств* (Lautquantitäten) можно предположить для каждого *звукокачества* бесчисленное множество. Звукоколичество изменяется под влиянием соседних букв, места ударения и пр. Означение в азбуке таковых изменений может быть допущено только тогда, когда самое свойство языка того требует»[1].

Далее Услар указывает, что как звукокачество, так и звукоколичество «служит для выражения различия множества слов во всем остальном совершенно между собой сходных»[2]. Тем не менее, говорит он, звуки, различаемые в одном языке, могут не различаться как самостоятельные звуки в другом языке, так как каждый язык имеет и в этом отношении свое особое свойство, т. е. свою специфическую систему звуков. Вот почему П. К. Услар призывал при исследовании звукового состава языка положиться исключительно на слух носителей языка: «если будут они делать показания наобум, то непременно впадут в противоречия, которые легко будет вам вывести на чистую воду»[3].

В работах П. К. Услара не разобраны фонетические процессы, действующие в исследуемом языке, фонетические закономерности не только в близко родственных языках, но и в диалектах изучаемого языка. Это в большой степени снижает значение фонетической части монографий Услара для сравнительно-исторических исследований. Фонетические процессы, звуковые соответствия представляют живой процесс дифференциации близко родственных языков, исторического развития каждого из них. Поэтому даже при наличии достаточных данных по лексике и грамматическому строю языка невозможно создать вполне удовлетворительную сравнительную грамматику близко родственных языков, если в них не выявлены фонетические процессы и звуковые соответствия. В этом отношении после Услара достигнуты существенные результаты в исследовании фонетических закономерностей в картвельских, абхазо-адыгских, вейнахских и в ряде дагестанских языков.

П. К. Усларом в изучении звукового состава кавказских языков было сделано следующее:

1. Впервые в истории кавказского языкознания был в основном правильно выявлен фонемный состав абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинского и табасаранского языков. Наука о языке впервые получила почти полное представление о звуковом составе открытой П. К. Усларом новой семьи языков. Это было ценным вкладом русского ученого в мировое языкознание.

2. Была разработана транскрипция звуков или алфавит на русской графической основе. Каждый самостоятельный звук получил особое обозначение.

3. П. К. Услар дал предварительную артикуляционную и акустическую характеристику всех звуков, выявленных им в кавказских языках, сопоставляя их там, где это возможно, со звуками в русском, арабском, армянском, западноевропейских и других языках.

4. П. К. Услар дал характеристику почти всех основных особенностей так называемых специфически кавказских звуков. Эта характеристика впоследствии лишь дополнялась и уточнялась.

7

Во всех монографиях П. К. Услара главное внимание уделяется исследованию грамматического строя изучаемого языка. Достаточно сказать, что наиболее значительная часть каждой его монографии посвящается именно анализу грамматического строя исследуемого языка. По словам Услара, для раскрытия особенностей исследуемого языка «мы должны преимущественно обратить внимание на то, что принадлежит ему собственно,...что наиболее живуче в нем, что наименее уступает чуждому влиянию»[4].

Он указывает, что «в каждом языке есть два элемента: во-первых, корни слов, звуки, мертвая материя,— во-вторых, духовная сила, которая оживляет эту материю, прони-

[1] Там же, стр. 11.
[2] Там же, стр. 12.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 15—16.

цает ее насквозь, делает ее способною к выражению всех видоизменений человеческой мысли»[1]. Это грамматика. «Итак, — говорит Услар, — главнейшая особенность языка заключается не в мертвой материи его, а в грамматике»[2]. Эти строки, свидетельствующие о глубоком понимании их автором роли грамматики в структуре языка, написаны 19 января 1863 г.

По мнению Услара, «грамматические исследования, надлежащим образом направленные, открывают возможность собирания материалов для настоящего *сравнительного словаря*»[3]. Характеристику грамматического строя исследуемого языка Услар дает в традиционном плане, по частям речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, глагол, наречие, служебные слова и междометие.

В монографии Услара не дается специального раздела о синтаксической системе исследуемого языка. Основные синтаксические особенности он рассматривает на фоне анализа морфологической системы. Тем не менее в его трудах не остались без внимания наиболее специфические черты синтаксического строя горских кавказских языков. Сюда относятся прежде всего эргативная конструкция предложения, характеристика связей, отношений между членами предложения непереходного, переходного и дативного построения и др. Характерный для работ П. К. Услара более или менее обстоятельный анализ грамматического строя исследуемого языка в то время мог бы явиться большим достижением не только в области исследования горских кавказских, финно-угорских, тюркских и других языков, но и в изучении ряда индоевропейских языков. Именно так и смотрели на монографии Услара наиболее выдающиеся филологи России того времени. Поэтому Услару и была присуждена премия Российской Академии наук за его первые две монографии. Последующие его монографии, посвященные аварскому, лакскому, даргинскому, лезгинскому и табасаранскому языкам, были еще более содержательными и обстоятельными.

Основные достижения Услара в исследовании грамматического строя горских кавказских языков вкратце могут быть охарактеризованы так:

1. До П. К. Услара не было ни одного исследования, в котором была бы дана достаточно полная характеристика морфологической системы какого-нибудь горского кавказского языка. Услар же дал более или менее исчерпывающий анализ основных явлений в области морфологии семи горских кавказских языков.

2. П. К. Услар особо отметил почти все главные, отличительные черты морфологической системы указанных языков (категория грамматического класса, эргативный падеж и др.) и дал свое оригинальное, хотя и не всегда правильное, истолкование этих явлений.

3. Богатый фактический материал, собранный Усларом и включенный в его монографии, на котором он основывает свои выводы, касающиеся морфологических категорий исследуемых языков, делает особенно ценным его исследования как в статическом, так и в историческом плане. Многие работы зарубежных и подчас даже наших отечественных языковедов-кавказоведов нередко опираются на собранный им фактический материал.

В то же время в монографиях Услара не разработаны или разработаны слабо вопросы о разновидностях спряжения и склонения, обусловленных фонетическими процессами (при наличии однотипного спряжения и склонения), о словообразовании и некоторые другие.

В освещении грамматического строя горских кавказских языков Услар допустил ряд ошибок и неточностей. Так, он ошибочно утверждал, что в этих языках нет «действительных глаголов, т. е. действительного залога», «а одни лишь глаголы страдательные и средние». Он неправильно истолковал природу эргативной конструкции, несмотря на то, то с грамматической точки зрения совершенно правильно объяснял морфологический состав и синтаксические взаимоотношения членов эргативного предложения. У Услара не было никакой особой теории об эргативной конструкции предложения. Лишь гораздо позже то, что было не понято Усларом из-за недостатка исследовательского материала, из-за того, что он с п е ц и а л ь н о не занимался проблемой эргативной конструкции, было возведено в особую у с л а р о в с к у ю теорию о пассивном строе глагола в горских кавказских языках, хотя в его трудах мы нигде не находим даже выражения «теории пассивного строя глагола». Всего лишь в одном абзаце Услар говорит о страдательных и средних глаголах в горских кавказских языках и об отсутствии в них действительных глаголов.

Есть и другие вопросы, которые не совсем точно объяснены в трудах Услара (например, категория грамматического класса). Однако фактический материал, приведенный в соответствующих разделах работ Услара, является вполне доброкачественным.

---

[1] П. К. У с л а р, Письма.., стр. 15.
[2] Там же, стр. 16.
[3] Там же, стр. 17.

8

Труды П. К. Услара имеют выдающееся значение для языкознания, истории, этнографии Кавказа и для освещения лексики горских кавказских языков. Столько вполне доброкачественного материала, сколько его дал Услар, мы не находим ни у кого из дореволюционных исследователей рассматриваемых языков.

В каждой монографии Услара имеется национально-русский словарь и обратный указатель к нему. Словарные статьи богато снабжены фразеологией. Употребление многих слов иллюстрируется несколькими фразами. Услар с возрастающим интересом работал над изучением словарного состава кавказских языков. Об этом говорят следующие данные. Если в монографии «Абхазский язык» абхазско-русский словарь, содержащий всего несколько сот слов, занимает лишь 65 страниц, то в труде «Аварский язык» аварско-русский словарь содержит около 4,5—5 тыс. слов и занимает 200 страниц. Еще больше лексического материала мы находим в монографии «Кюринский язык». Весьма ценны грамматические пометы Услара, встречающиеся в его национально-русских словарях. Так, нередко указываются основные падежи, косвенные основы многих имен, временные формы глагола и т. д.

Богатый и содержательный для своего времени лексический материал Услара не может удовлетворить нас теперь ни по объему, ни в отношении анализа лексических единиц. Возросшие нужды иберийско-кавказского языкознания требуют того, чтобы были созданы гораздо более полные национально-русские словари, охватывающие словарный состав этих языков[1]. Для создания такого рода словарей необходимо глубокое изучение каждого из иберийско-кавказских языков, обстоятельный анализ их словарного состава. Разумеется, словарный состав многих из них в значительной степени уступает словарному составу таких великих национальных языков, как русский. Но из этого вовсе не следует, что словарный состав бесписьменных языков можно свести лишь к нескольким сотням слов. Еще Услар отмечал, что «мнение о крайней бедности этих языков совершенно ошибочно и проповедуется людьми, которые не имеют о них никакого понятия»[2].

9

После смерти П. К. Услара часто недооценивалось его значение как языковеда. Основные достоинства его выдающихся трудов несправедливо приписывали акад. А. А. Шифнеру. Правда «Опыты» Шифнера по изучению некоторых кавказских языков послужили образцом, своего рода исходным пунктом для будущих знаменитых монографий Услара. Но лингвистические монографии последнего по своим научным достоинствам стоят значительно выше «Опытов» Шифнера. Шифнер горячо поддерживал деятельность Услара, популяризировал его лингвистические исследования. Заслуги Услара хорошо знали и ценили наиболее выдающиеся его современники, в том числе А. А. Шифнер, который справедливо называл Услара «истинным украшением русской лингвистической литературы». П. К. Услар был избран членом-корр. Российской Академии Наук.

Только бездарные дилетанты, интриганы, орудовавшие тогда в академических учреждениях, в Кавказском отделе Русского географического общества, преследовали П. К. Услара за то, что он был одаренным, талантливым, упорным, трудолюбивым, скромным ученым. Они завидовали его славе. В числе их был высокопоставленный царский чиновник небезызвестный Г. Бартоломей. Даже после кончины Услара они сделали все, чтобы бросить тень на память о нем. В этом отношении им удалось немалое. В европейской печати появились статейки, дезориентировавшие читателя, приписывавшие заслуги Услара другим[3]. Роль Услара в истории языкознания не была оценена должным образом.

Имя П. К. Услара, крупнейшего, разносторонне образованного русского ученого, выдающегося языковеда XIX в., должно занять подобающее ему место в истории науки о языке вообще, в истории отечественного языкознания в особенности. Следуя лучшим традициям Услара, углубляя и развивая их дальше, советские кавказоведы-языковеды должны добиться новых достижений в исследовании иберийско-кавказских языков.

Ю. Д. Дешериев

---

[1] А это невозможно без должного учета данных родственных языков: «Отыскивание корней не всегда легко,— писал П. К. Услар,— большею частию невозможно открыть их иначе, как сравнительными исследованиями нескольких родственных языков» (там же, стр. 18).

[2] П. К. Услар, О распространении грамотности между горцами, в кн. «Этнография Кавказа. Языкознание», [т. 1]—Абхазский язык, Тифлис, 1887, стр. 28 второй пагинации.

[3] Так, в немецком журнале «Globus» (Bd XXVIII, № 7, 1875) была опубликована статья «Peter fon Uslar und die kaukasischen Forschungen», в которой в искаженном свете была представлена роль П. К. Услара в создании кавказского языкознания.

№ 3 1956

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Antonín Dostál. **Studie o vidovém systému v staroslověnštině.** Z prací Slovanského ústavu Československé akademie věd. — Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 681 стр.

Книга Антонина Достала «Исследование о видовой системе старославянского языка», изданная Славянским институтом Чехословацкой Академии наук, представляет собою капитальный вклад в дело изучения глагольного вида в славянских языках. Впервые объектом монографического исследования стало видовое значение всех глаголов, засвидельствованных в памятниках старославянского канона, а именно около 3 тыс. глаголов, простых и сложенных с приставками, зарегистрированных, как указывает автор, более чем в 53 тыс. случаев. Опубликованные ранее работы о глагольном виде в старославянском языке опирались лишь на сравнительно небольшую часть этого материала[1]. Однако книга А. Достала отличается от работ его предшественников не только полнотой материала, но также и методами его обработки, бо́льшим совершенством и точностью использованных исследовательских приемов, позволивших автору сделать ряд новых важных выводов. Значительный интерес представляет (хотя в ряде пунктов кажется нам спорной) и та общая концепция развития славянского глагольного вида, которая стоит за рассуждениями автора на всем протяжении его труда и в связной форме излагается им в заключительной главе работы.

Книга открывается довольно пространным теоретическим разделом, в котором автор высказывается по ряду общих вопросов теории глагольного вида. Центральная глава этого раздела посвящена проблеме определения вида, проблеме его грамматической сущности.

Рассмотрев основные предлагавшиеся в науке определения совершенного и несовершенного вида, автор делает вывод, что «наиболее интересным определением совершенного вида было то, которое основывается на понятии „комплексности, целостности и сосредоточения“ действия» (стр. 15),— определение, которое находим «уже у Соссюра». Что касается несовершенного вида, то ему не следует давать самостоятельного, положительного определения, а определять его надо как противоположность совершенного вида. В целом вид (или, следуя международной терминологии, аспект) есть «способность глагола выразить, как говорящий рассматривает реальное событие, действие (или представление о нем),— как целостность или наоборот» (стр. 18); совершенный (или перфективный) вид, составляющий главный член корреляции, соответствует целостному взгляду на действие, а несовершенный (имперфективный) вид, представляющий собой подчиненный член,— нецелостному его пониманию[2].

Справедливость требует отметить, что определение совершенного вида как целостного представления о действии встречается задолго до «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Уже Эм. Черный писал, что совершенный вид изображает действие «собирательно, сомкнуто, в совокупности, суммарно, в сжатом виде», в «собирательной сосредоточенности»[3]. Л. П. Размусен дал формулировку еще более близкую к форму-

---

[1] Так, А. Мейе исследует лишь материал евангелия (см. «Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave», partie I, Paris, 1902), Э. Беме — только простые глаголы, главным образом совершенного вида и колеблющегося видового значения (см. «Die Actiones der Verba simplicia in den altbulgarischen Sprachdenkmälern», Leipzig, 1904), В. В. Бородич в своей докторской диссертации «Видовые отношения старославянского глагола» (М., 1952) и в других работах также опирается в основном на материал евангельских кодексов, а прочие памятники привлекает в меньшей степени.

[2] Автор находит, что вместо терминов «совершенный» и «несовершенный» (чеш. «dokonavý» и «nedokonavý») точнее было бы говорить «celkový» и «necelkový vid» (т. е. «целостный» и «нецелостный»), но считает нецелесообразным менять прочно установившуюся терминологию (стр. 40).

[3] Э. Черный, Об отношении видов русского глагола к греческим временам, СПб., 1877, стр. 9 и 13.

лировке А. Достала: для совершенного вида—«...действие, рассматриваемое как одно целое (начало, середина и конец —совокупно)», для несовершенного вида—«...действие, рассматриваемое только со стороны вещественных (знаменательных) своих признаков, без обозначения целости действия»[1].

Некоторые советские языковеды определяют совершенный вид, опираясь на понятие внутреннего предела действия. Нам представляется, что определение, восходящее к Черному и Размусену, и, в частности, определение Достала[2] лучше выражает суть и специфику славянского глагольного вида, так как указание на внутренний предел действия свойственно и терминативным, т.е. предельным, глаголам западноевропейских языков, не знающих совершенного и несовершенного вида.

Что касается так называемых «многократных» («итеративных») глаголов, то для автора (как и для ряда других чешских лингвистов) они являются понятием чисто морфологическим: это тип глаголов, образованных с определенными суффиксами от других глаголов. Вопрос о том, выражают ли эти «iterativa» действительно повторяющееся действие или нет, является, собственно, несущественным для видовой системы, имеющей дело только с двумя противоположными понятиями — целостности и нецелостности глагольного действия (стр. 18 и сл.).

В специальной главе вводного раздела рассматривается отношение грамматической категории вида к лексическому значению глагола. Влияние лексического значения на вид проявляется в существовании несоотносительных по виду глаголов (когда глагол в силу своего лексического значения не может быть перфективирован), в закреплении у ряда простых глаголов совершенного, а у остальных—несовершенного видового значения, в исторических изменениях видового значения некоторых глаголов и т. д.

Особая глава посвящена отношению вида к значению определенности и неопределенности глагольного действия, выражаемому (наряду со значением единичности и повторительности действия) парами глаголов типа *нести — носить*. Автор указывает на существенные различия между определенностью — неопределенностью, с одной стороны, и совершенным и несовершенным видом, с другой, и высказывает мнение, что противопоставление определенности и неопределенности, представленное очень небольшим числом глаголов, не могло (вопреки мнению ряда ученых) быть источником, из которого возникла категория славянского глагольного вида.

Известным недостатком вводного раздела является то, что автор, неоднократно пользуясь термином «способ действия» (чеш. «způsob děje»= нем. «Aktionsart»), нигде не формулирует своего понимания этого термина. Остается неясным, относятся ли к способам действия определенность и неопределенность, о которых сейчас была речь, единичность и повторительность действия, совпадают ли в какой-то мере способы действия с понятием лексического значения глагола (в той мере, в какой это лексическое значение влияет на вид), или, если все перечисленные явления не относятся к способам действия, то что же тогда такое способы действия и не становится ли вообще излишним это понятие?

Нам представляется, что понятие способов действия — важное и плодотворное понятие и что под способами действия следует понимать некоторые общие (часто выраженные словообразовательными средствами) особенности лексического значения глаголов, относящиеся к протеканию действия этих глаголов во времени и потому взаимодействующие в славянских языках с их видовыми значениями, а в неславянских языках отражающиеся в некоторых особенностях синтаксического употребления этих глаголов и их отдельных форм (например, в германских языках — причастия II и т. д.). Кроме того, нам представляется, что есть явления, промежуточные между способом действия и видом, категории, возникающие в результате известного обобщения способов действия, но об этом ниже.

Во втором разделе автор непосредственно подводит читателя к анализу языкового материала. Центральная глава этого раздела посвящена вопросу о критериях, при помощи которых следует определять вид глагола в старославянском тексте.

Рассмотрев критерии, предлагавшиеся в науке применительно к материалу различных славянских языков (способ, которым данный глагол образует будущее время, или, несколько иначе, наличие значения будущего времени в формах настоящего; наличие или отсутствие рядом с данным глаголом производного суффиксального гла-

---

[1] Л. Размусен, О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках, ЖМНП, 1891, июнь, стр. 379.

[2] Близкие формулировки находим также у Л. Андрейчина (см.: L. Andrejczin, Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej, Kraków, 1938 или его же, Грамматика болгарского языка, М., 1949), И. Польдауфа (см. J. Poldauf, Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa?, «Slovo a slovesnost», R. XI, č. 3, 1949, стр. 128 и его же, Podíl mluvnice a nauky o slovníku na problematice slovesného vidu, сб. «Studie a práce linguistické, I. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka», Praha, 1954, стр. 204) и др.; правда, в этих работах несовершенный вид определялся не только как противоположность совершенному.

гола несовершенного вида; способность или неспособность форм настоящего времени служить ответом на вопрос «что ты делаешь?» и т. д.), автор приходит к выводу, что при установлении вида глагола, особенно в мертвом языке, нельзя всецело положиться на один какой-либо критерий, а необходимо опираться на сочетание ряда критериев (стр. 55).

Важнейшее значение он придает интерпретации каждого данного примера, оценке той ситуации, которая выражена в предложении (стр. 53 и сл.), причем, разумеется, не все ситуации и типы предложений являются одинаково показательными. В некоторых случаях, например, в гномических предложениях (типа *что посеешь, то и пожнешь*), нередко в повелительном наклонении и т. д. одинаково возможны оба вида, тогда как в других возможен только один определенный вид, а замена его другим видом влечет за собой полное искажение смысла. Внимание к греческому оригиналу, конечно, обязательно, когда речь идет о переводных текстах, но наличие аористных или презентных форм в греческом не может служить опорой при установлении видового значения старославянского глагола, если в данном случае описанная ситуация допускает и тот и другой вид глагола (а также если сама ситуация в понимании переводчика оказывается несколько иной, чем описанная в оригинале). Подобным же образом надо относиться к разночтениям в параллельных старославянских текстах: они могут быть свидетельством необязательности одного определенного вида в данном конкретном случае.

Среди других критериев автор уделяет довольно большое внимание (как нам кажется, большее, чем следовало бы) случаям, когда форма настоящего времени выступает для обозначения будущего события. Важной он считает также возможность постановки различных видовых вопросов и возможность присоединения к глаголу обстоятельственных слов вроде *долго*, *медленно* или *вдруг*, *сразу*, *быстро*, иногда (в зависимости от лексического значения глагола)— *вполне*. Заметим, что поскольку речь идет о языке мертвом, присоединение «видовых слов» (как и возможность постановки «видовых вопросов») фактически не выходит за рамки той же интерпретации примеров, так как эксперимент мог бы быть проделан не над рассматриваемым текстом, а лишь над его переводом на тот или другой живой славянский язык. Кстати, обстоятельственные слова со значением «медленно» и «быстро» (по крайней мере, в русском языке) довольно свободно соединяются с глаголами обоих видов [1].

Автор подчеркивает, что наличие или отсутствие в памятниках тех или иных форм времени или причастий от данного глагола вообще не может служить критерием при определении вида, так как в старославянском любая глагольная форма в принципе может быть образована от глагола любого вида. Все формы данного глагола, как правило, имеют одно и то же видовое значение.

В этом же разделе дается краткий обзор того, что сделано в науке по изучению глагольного вида в старославянском языке, причем автор ставит в вину своим предшественникам, что они без достаточных оснований смотрели на видовую систему старославянского как на систему архаическую, не дошедшую до высокого уровня развития. Далее формулируются задачи работы и перечисляются тексты, которые были полностью расписаны автором в процессе исследования. Это — Зографское евангелие (остальные евангельские кодексы, как правило, учитывались в случае разночтений), Охридские глаголические листки, листки Ундольского, Новгородские отрывки, Синайская псалтырь, Слуцкий отрывок псалтыри, Синайский требник, Пражские глаголические отрывки, Киевский Миссал, Клоцов сборник, Македонский (Рилский) глаголический листок, Македонский листок Гильфердинга, Хиландарские листки, Зографские листки Лаврова, Погодинские листки и Супрасльская рукопись. Тексты, дошедшие в более поздних, церковнославянских списках (Апостол), и разночтения более поздних списков (например, Погодинской и Болонской псалтыри) привлекались только в отдельных случаях, когда это было почему-либо важно, и не учитывались при статистических подсчетах.

Следующий, третий раздел книги посвящен анализу простых, не сложенных с приставками глаголов совершенного вида и колеблющегося видового значения; четвертый раздел — анализу простых глаголов несовершенного вида.

Для каждого глагола, после краткого обзора мнений, высказывавшихся в литературе о его видовом значении, приводится в большем или меньшем количестве материал из памятников (обычно — наиболее показательные случаи и, наоборот, трудные случаи, требующие специальных толкований) и дается статистика употребления этого глагола: общее количество случаев, их распределение по отдельным формам, а нередко и по отдельным памятникам (последнее бывает важно для установления, например, того, к какому слою старославянского словаря — более старому или более позднему — относится данный глагол). Если глагол обнаруживает колебания видового значения,

[1] Слова *вдруг*, *внезапно*, *сразу* и т. п., конечно, также сочетаются с глаголами несовершенного вида, но более или менее обычным такое соединение может быть только при значении многократности (*он внезапно высовывался из окна*, т. е. много раз и каждый раз — внезапно) или в настоящем историческом (*вдруг приходит и говорит*).

выясняется динамика его употребления в совершенном и несовершенном видовом значении на протяжении старославянского периода и делается попытка установить причины и пору возникновения или, наоборот, затухания указанных колебаний. Наконец, следует справка о видовом значении рассматриваемого глагола в некоторых других славянских языках, составленная на основе грамматических работ и словарей, и общий вывод о его древнейшем видовом значении.

В подавляющем большинстве случаев предлагаемые автором толкования цитируемых примеров, как и его выводы о каждом отдельном глаголе, представляются вполне убедительными. Однако иногда при чтении книги у меня возникали сомнения. Так, например, я не убежден, что значение будущего времени в форме *постѧть сѧ* (Мрк. 2,20 и в др. местах; см. стр. 133) обязывает нас понимать эту форму в смысле совершенного вида, или что имперфект *не дадѣаше* в примерах из евангелия (Мрк. 11,16 и Лук. 4,41; см. стр. 97) следует объяснять как выражение повторяющегося действия и потому как имперфект глагола совершенного вида[1].

Некоторый повод для критических замечаний дают сопоставления с другими славянскими языками, подчас довольно неполные. Так, рассматривая глагол *пасти* (*падѫ*), автор не учитывает случаев несовершенного видового значения глагола *пасть* (и диалект. *па́нуть*), встречающихся в русском языке еще в XIXв. и в некоторых русских говорах. Также и при анализе глагола *дати* не учитывается возможность несовершенного видового значения этого глагола в древнерусском, отмеченная, например, А. А. Потебней (ср. *начнеть не дати* в «Русской Правде»). В результате оба названных глагола попадают в число таких, которые уже в доисторическую эпоху были исключительно глаголами совершенного вида (стр. 103). Ряд неточностей встречаем и в привлекаемых болгарских параллелях, а факты болгарского языка могли бы в ряде случаев подкрепить выводы автора (например, его тезис о двойственном видовом значении глаголов *ити*, *нити*)[2], либо, наоборот, внести какие-то коррективы в его рассуждения (см. ниже по поводу глагола *видѣти*).

Простых глаголов совершенного вида автор насчитывает в старославянском 50. Немногим менее половины этого количества составляют глаголы движения (в широком смысле слова), преимущественно глаголы, обозначающие короткое и быстрое движение (*пасти*, *сѣсти*, *врѣшти*, *ринѫти*, *тлъкнѫти*, *скочити*, *стѫпити* и др.). Среди остальных глаголов — «глаголы физических и духовных действий», также преимущественно кратких (*дъхнѫти*, *плинѫти*, *винѫти*, *лобъзати*, *дрьзнѫти* и др.) или «рассматриваемых с точки зрения результата» (*родити*); глаголы речи, также краткой (*кликнѫти*, *рещи* — в противоположность *глаголати*, обозначающему главным образом длительную речь) и др. Именно глаголы с указанными лексическими значениями должны были, по мысли автора, закрепиться в совершенном виде, поскольку такие краткие и быстрые действия естественнее могли восприниматься как целостные (стр. 100 и сл.).

Простых глаголов несовершенного вида автор насчитывает 423 (в это количество не входят так называемые «iterativa»). Основные лексические группы, представленные здесь, — это глаголы состояния, покоя; глаголы, обозначающие свойство субъекта (*блюсти*, *расти*, *мошти*, *слоути*, *жѫдати*, *знати*, *сѫкти*, *алкати*, *страдати*, *довьлѣти*, *гнѣвати сѧ*, *оумѣти*, *вонѣти*, *имѣти*, *чоудити сѧ*, *любити* и почти все глаголы IV класса с инфинитивом на *-ѣти*: *трьпѣти* и т. д.); глаголы медленного изменения состояния (*сѫхнѫти*, *богатѣти*, *скѫдѣти* и т. д.); глаголы движения, но преимущественно продолжительного и сложного (*мести*, *трѧсти*, *нести*, *кѫсати*, *рѣкати*, *парити* и т. д.); глаголы речи, но долгой (*говорити*, *молити*, *бесѣдовати*, *глаголати*, *клеветати* и пр.) и т. д. И в этих случаях лексическое значение глаголов отразилось на их виде, так как все эти продолжительные действия и состояния естественнее всего воспринимались не в их целости, что и повело к их закреплению в несовершенном виде (стр. 240 и сл.).

Изложенные выше очень интересные соображения автора можно было бы, мне кажется, уточнить в том смысле, что тот или иной вид закрепился во всех указанных гла-

---

[1] Другое дело *дадѣаше* в Супр., 207, 15 (см. стр.98), где мы имеем кратное действие, соотнесенное с другим кратным действием (*сълочиаше сѧ*), т. е. очевидный случай имперфекта глагола совершенного вида.

[2] Болг. *ида*, как и ст.-слав. *ити*, выступает как глагол с двойственным видовым (и вместе с тем двойственным лексическим) значением, что отмечено, в частности, и словарем Дювернуа, которым пользовался автор; болг. *пия*, наряду с преобладающим несовершенным значением, изредка имеет и совершенное, что отмечено, например, Л. Андрейчиным (см. «Kategorie znaczeniowe...», стр. 16). Автор в обоих случаях указывает для современного болгарского языка только несовершенный вид. Отметим еще в связи с глаголом *пьсати* (автор относит его к группе несовершенных глаголов, но с оговоркой, что Б. Гавранек предполагал совершенное видовое значение в формах причастия прошедшего времени страдательного залога), что болгарское *пиша* может иметь значение совершенного вида не только в страдательном причастии (особенно в говорах и в языке XIX в., а сейчас — в некоторых специальных лексических значениях).

голах не в связи непосредственно с их лексическими значениями, а в связи с теми общими особенностями этих лексических значений, которые известны под именем способов действия[1].

Автор подчеркивает, что вид простых глаголов не обусловлен их морфологическим строением (все пять классов старославянских глаголов представлены как глаголами несовершенного, так и совершенного вида). Это замечание в значительной мере справедливо, но его не следует принимать абсолютно. Ведь все же не случайно II старославянский класс представлен в большей мере глаголами совершенного, а III класс глаголами несовершенного вида, как не случайно глаголы типа *трьпѣти* объединяются не только в смысловую, но и в формальную группу.

Особый интерес среди простых глаголов старославянского языка представляют глаголы колеблющегося видового значения. Автор насчитывает 29 таких глаголов[2], в том числе 10 глаголов с преобладающим значением совершенного вида (*клѧти, жрьти, лишити, бѣжати* и др.) и 18 с преобладающим несовершенным значением (*ити, ести, пити, пѣти, плѣнити, слышати, видѣти* и др.). Глагол *ѥсмь — бѣдѫ* в значении «быть» употребляется (во всех формах, в том числе и в будущем) как глагол несовершенного вида, а в значении «стать» (только в формах *бѣдѫ, бѣди, быхъ, быти, бывъ*) как глагол совершенного вида. Автор считает, что наличие такой сравнительно большой группы глаголов двойственного видового значения не говорит о неразвитости старославянской системы вида, так как глаголы двойственного видового значения имеются в достаточном количестве и в современных славянских языках.

В отношении количественных показателей дело, действительно, обстоит так. Мало того, современные славянские языки имеют даже гораздо больше двувидовых глаголов, чем их имел старославянский, за счет широкого развития глаголов вроде русск. *телеграфировать, арестовать* и т. д. Но дело ведь не в количестве таких глаголов. Дело в том, какой характер имела эта двувидовость: если в современных славянских языках любой двувидовый глагол в каждом данном случае своего употребления имеет только один определенный вид и потому здесь двувидовость является, так сказать, видовой омонимией, внешним тождеством двух глаголов разных видов, то так ли обстояло дело и в древних славянских языках? Можно ли быть уверенным, что в старославянском абсолютно все глаголы в любом случае своего употребления уже были четко распределены между видами и нигде уже не сохранилось никаких следов первоначальной видовой недифференцированности? Думаю, что подобное предположение было бы такой же крайностью, как и та чрезмерная архаизация старославянской системы вида, которая проявилась как в некоторых старых работах (например, у Г. К. Ульянова), так и у некоторых современных исследователей (у В. В. Бородич) и против которой автор справедливо возражает. Думаю, что для старославянского в ряде случаев мы все же должны предположить (как это делал Ван-Вейк для ст.-слав. *ити* и *видѣти*[3]) сохранение старой «безвидовости». Ведь все признают, что развитие вида шло постепенно. Это значит, что элементы старого качества не отмирали сразу. Вероятно, именно сохранение отдельных пережитков прошлого довидового состояния и является одним из специфических отличий старославянской системы вида (или, шире, системы вида древнейшего периода славянской письменности) от видовых систем современных славянских языков.

Перейдем, однако, к рассмотрению пятого, самого большого, раздела книги, посвященного анализу глаголов, сложенных с приставками, и вопросу о роли префиксации в видовой системе старославянского языка.

В противоположность старшему поколению исследователей, учивших, будто приставка переводит в совершенный вид, перфективирует только «простые durativa», т. е. «нейтративные» глаголы, но не перфективирует глаголов «итеративных», автор присоединяется к другой, более современной и, на наш взгляд, единственно правильной точке зрения, согласно которой глаголы типа *заговаривать* возникают вовсе не путем присоединения приставки (по формуле *за* + *говаривать*), а являются производными

---

[1] Что касается таких рубрик автора, как «глаголы религиозной терминологии», то автор сам показывает, что значение совершенного вида они получили не в качестве глаголов религиозной терминологии, а в силу других причин (см. стр. 103), которые, добавим, также относятся к области способов действия. Специально для *блаcфимисати* и *скандалисати*, несмотря на замечания автора (см. стр. 78—79), дело могло бы заключаться, как предполагал Мейе, в том, что эти глаголы произошли от греческих форм аориста. Ср. совершенный вид глаголов на *-исам* в современном болгарском и македонском.

[2] Вероятно, их в действительности больше (ср. сказанное выше о форме *не дадѣаше* и о глаголе *писати*).

[3] Аргументы автора в полемике с Ван-Вейком (стр. 140) не кажутся убедительными. В частности, в своих рассуждениях о дальнейшей судьбе глагола *видѣти* автор не учитывает, что современное болгарское *видя* (и макед. *видим*) обычно имеет совершенное видовое значение.

от глаголов, уже имевших приставку (от *заговорить*)[1], или, как это формулирует автор, образуются не путем префиксации, а путем деривации (см. стр. 253 и сл.).

Процессы деривации рассматриваются в шестом разделе книги. Что же касается префиксации, то она, как правильно указывает автор, почти всегда ведет к возникновению глагола совершенного вида. Исключение составляют только те сравнительно немногочисленные случаи, когда глагол не может быть перфективирован в силу своего лексического значения, не допускающего перфективации, и потому даже в сложении с приставкой остается глаголом несовершенного вида (например, *прѣдълежати* и все другие приставочные образования от *лежати*, *сѣдѣти* и *стояти*, почти все приставочные образования от *дръжати* и некоторые другие; см. стр. 452—459). Однако по существу не являются исключениями случаи несовершенного видового значения (наряду с совершенным) в глаголах типа *съвѣдѣтельствовати*, *разоумѣти* (стр. 447 и сл.), так как такие глаголы возникли вовсе не путем префиксации, а были образованы от именных основ, уже имевших приставку. Именно сознание «сложенности с приставкой» (и, в противоположных случаях, «сознание деривации»)— хотя бы оно и не соответствовало подлинной истории данного глагола — является, по мнению автора, тем основным фактором, которым определяется вид глагола, имеющего приставку (см. стр. 254 и сл.).

К изложенным выводам автора, вполне справедливым по отношению к современным славянским языкам и правильно объясняющим громадное большинство фактов старославянского, можно было бы только добавить, что в старославянском еще встречаются, хотя и очень редко, следы того более древнего периода, когда префиксация не только у глаголов статического состояния вроде *лежати*, *сѣдѣти* и т. д., но и у всех вообще глаг лов еще не создавала значения совершенного вида. Не признавая наличия в старославянском подобных следов, автор не может удовлетворительно объяснить примеры вроде *исъхнѣкаше* (Супр. 476, 24; у автора на стр.305— неубедительная ссылка на«постепенное осуществление действия»), *задъхнѣваше сѧ* (Супр. 466, 13; у автора на стр. 269 объясняется как выражение повторяющегося действия), *проидѣше* (Сав. кн., Мф. 9, 35; у автора вообще отсутствует, так как Зографское евангелие имеет в этом месте *прохождааше*).

Рассматривая вопрос о том, как возникла так называемая перфективирующая функция приставок, автор подчеркивает, что она появилась не в результате утраты или ослабления лексического значения приставки, а наоборот, на базе его сохранения. То, что в балтийских языках приставка перфективирует только при условии потери ею лексической функции, автор относит за счет самостоятельного развития балтийских языков, а широко известные в славянских языках случаи стирания в приставках их лексических значений рассматривает как достижение той более поздней эпохи, когда префиксация стала уже механическим средством образования совершенных глаголов (стр. 262). Начало же перфективации при помощи приставок он объясняет тем, что приставка, суживая семантический объем глагола, сводя его «к одному конкретному случаю» (стр. 254), способствовала тому, чтобы действие, выраженное глаголом, воспринималось как целостное.

Думается, что приведенные рассуждения автора в своей основе глубоко правильны, но в одном пункте требовали бы уточнения. Так называемая перфективирующая функция приставок есть, если можно так выразиться, «побочный продукт» их основной, лексической функции. Появление этого побочного продукта обусловлено, как нам кажется, с одной стороны, самим лексическим значением приставок, а с другой — образованием производных глаголов, имеющих ту же приставку и то же лексическое значение и противополагающихся своим производящим как несовершенные — совершенным. Именно то, что неславянские языки таких производных глаголов не образуют, и ведет к тому, что в них перфективирующая функция приставки либо вообще не может развиться, либо развивается в очень ограниченной мере только за счет полной утраты этой приставкой лексической функции (т. е. когда «чистую» пару к возникающему глаголу совершенного вида будет составлять глагол без приставки, как это, вероятно, и случилось в литовском языке). Если же производные глаголы типа славянских не возникают и вместе с тем утрата лексического значения приставки не имеет места, перфективирующая функция, как нам представляется, вообще не разовьется. Дело ограничится тем, что приставочные глаголы будут отличаться от соответствующих бесприставочных, помимо лексического значения, только своей терминативностью, предельностью, но никак не видом,—картина, которую мы имеем, например, в германских языках.

Итак, мы полагаем, что непосредственно на базе лексического значения приставок развивается значение предельности. Только при наличии благоприятных условий (в славянских языках—с образованием производных глаголов той же лексической

---

[1] Исключение автор делает для приставочных глаголов типа *износити* (т. е. образованных от моторно-кратных основ). Он считает, что такие приставочные глаголы все же возникают (как тип) по формуле *из* + *носити*, хотя и имеют значение несовершенного вида (стр. 256 и 510).

семантики) значение предельности переходит в значение совершенного вида (целостного восприятия действия).

В этом же разделе книги, опираясь на статистику употребления отдельных приставок в более ранних и в более поздних памятниках и в отдельных глагольных классах (различающихся между собой степенью продуктивности, т. е. наличием или отсутствием и удельным весом новообразований), а также привлекая данные, позволяющие судить о степени спаянности отдельных приставок с глаголом (фонетические процессы на стыке приставки и глагола, возможность вставки отрицания и т. д.), автор приходит к интересным соображениям по вопросу относительной хронологии использования отдельных глагольных приставок. Древнейшей глагольной приставкой он считает приставку *po-*. За нею следовали *u-*, *sъ-*, *vъz-*, *vъ-*, вероятно, также *iz-* (с вариантом *vy-* для западной и восточной ветви славянских языков) и *do-*(хотя в старославянском последняя приставка распространена мало); для всех этих приставок характерна широта лексического значения, также свидетельствующая об их давнем употреблении. Остальные приставки, для которых характерно сохранение более конкретных значений (значения пространственного направления и т. д.), относятся к несколько более молодым слоям в развитии глагольной префиксации (стр. 259 и сл.).

В шестом, как нам кажется, наименее удавшемся разделе книги рассматривается понятие многократности действия и его отношение к системе вида и исследуются так называемые «итеративные» глаголы старославянского языка (включая моторно-кратные глаголы типа *носити* и *бѣгати*), как бесприставочные (в количестве 104), так и имеющие приставку (в количестве 723).

Хотя во вступлении автор, как мы видели, говорит, что вопрос о том, имеют или нет так называемые «iterativa» многократное значение, по существу безразличен для вида, он именно этим вопросом и занялся в первую очередь в рассматриваемом сейчас разделе. Весь материал исследуется им с той точки зрения, какое действие, единичное или повторяющееся, передается каждым «итеративным» по образованию глаголом, какое из этих двух значений встречается чаще в более ранних и в более поздних памятниках, какими именно оттенками представлено значение повторительности или многократности (причем постепенное осуществление действия расценивается как разновидность многократного значения). В результате проделанного анализа автор приходит к следующим выводам:

1. «Итеративные» по образованию глаголы, начиная с ранних эпох, могут выражать многократность, но не обязательно должны иметь такое значение. Вывод правомерный и никаких сомнений не вызывающий.

2. С течением времени количество случаев, в которых «итеративные» глаголы выражают многократные действия, увеличивается, а количество случаев однократного значения соответственно уменьшается. Этот вывод, как признает сам автор, противоречит представлениям, сложившимся в науке, и нуждается в проверке на материале других славянских языков (стр. 503, 573—574 и др.).

Можно добавить, что, как известно, любой глагол несовершенного вида, независимо от его морфологического строения, может выражать в славянских языках как единичное, так и повторяющееся действие[1]. Так, в примере *жьнѫ идеже не сѣѣхъ и събираѭ ѩ доуже не расточихъ* (Мф. 25, 26) форма *жьнѫ*, образованная от «неитеративного» глагола несовершенного вида, оказывается не менее и не более итеративной по значению, чем форма «итеративного» глагола *събираѭ*. Поэтому односторонним является анализ соотношения многократного и однократного значений, проведенный автором на материале одних только «итеративных» глаголов. Выводы его были бы убедительны, если бы здесь же было показано, какова динамика двух указанных значений во всех прочих глаголах несовершенного вида. Однако более интересным был бы, вероятно, несколько другой путь исследования: если бы автор разделил так называемые «итеративные» глаголы не на бесприставочные и приставочные, а на «возникшие в силу видовой потребности», т. е. производные от глаголов совершенного вида, все равно бесприставочных или приставочных, и «возникшие независимо от видовой потребности», т. е. производные от глаголов несовершенного вида. Думается, что семантический и статистико-хронологический анализ в пределах таким образом очерченных двух групп дал бы гораздо больше именно для понимания видовой системы старославянского языка, и, кроме того, весь раздел об «итеративных» глаголах не казался бы тогда каким-то отступлением в сторону от основной темы книги.

Кроме того, следовало бы особо выделить немногочисленную, но интересную группу случаев, когда приставочный глагол с «итеративной» основой имеет значение совершенного вида, например: *поносити* (наряду с несовершенным значением), *възносити*, *извлачити*, может быть *проводити* (стр. 513—515); *оуготовати* и *съготовати* (стр. 544); *състрѣлѧти* (стр. 561); *исъхати* (стр. 577) и некоторые другие. Хотя совершенное видо-

[1] Даже глагол совершенного вида может выразить (разумеется, в соответствующих синтаксических условиях) те же два типа действий: действие единичное или действие повторяющееся.

вое значение этих глаголов попутно отмечается автором, случаи эти никак не обобщены и тонут среди массы других, обычных случаев несовершенного вида; а между тем факты эти заслуживали бы более пристального внимания, так как некоторые из них могут рассматриваться как зародыш новых закономерностей, широко развившихся в современных славянских языках, где глаголы совершенного вида с приставками и «итеративными» основами стали довольно обычным явлением (ср. русск. *попадать*, *выходить*, *забегать* и многие другие).

Последний, седьмой раздел книги представляет собою краткий обзор синтаксического употребления глаголов в связи с их видом. В этом разделе отметим определения, которые автор дает простым прошедшим временам старославянского глагола: аорист «употребляется в повествовательном стиле о действиях, которые знаменуют собою движение вперед в ряду глагольных действий и являются готовыми в момент, когда о них говорится» (стр. 598); имперфект в корреляции с аористом есть немаркированный член и потому должен определяться отрицательно, как прошедшее время, не имеющее значения аориста. Интересно, что автор отказывается от широко распространенного в чешском языкознании определения имперфекта как прошедшего одновременности и признает, что «в некоторых примерах имперфект выражает изолированные действия, не являющиеся ни сопровождающими, ни одновременными другому прошедшему действию, например Лука 1, 80: ... *отрочя же растѣаше и крѣпѣаше ся дꙋхомь...*» (стр. 602). Отношение между аористом и имперфектом не есть отношение видовое. Аорист свободно образуется от глаголов обоих видов (более 40% всех случаев аориста приходится на глаголы несовершенного вида); имперфект же преимущественно представлен несовершенными глаголами (99% всех случаев), так как, не выражая «готовых действий», он естественнее используется при нецелостном понимании действия (стр. 600). Во всех обследованных текстах автору удалось найти только 23 примера имперфекта от глаголов совершенного вида (в том числе 3 примера от бесприставочных и 20 от приставочных глаголов)[1].

В заключительной главе автор подводит итоги работы и, в частности, излагает свой общий взгляд на происхождение славянской видовой системы.

Первым этапом ее становления он считает закрепление за известными бесприставочными глаголами, в соответствии с их лексическими значениями, значения совершенного вида. В заключительной главе автор не говорит, что было движущей пружиной этого процесса, но в другом месте книги он утверждает, что уже в индоевропейский период существовала (может быть, не повсеместно) «потребность понимать некоторые действия как целостные» (стр. 262). Появление, очевидно, в силу этой потребности, в ряде бесприставочных глаголов значения совершенного вида, естественно, повело к закреплению за другими бесприставочными глаголами противоположного видового значения. «Между обеими группами глаголов создается видовое различие и, частично, видовая корреляция» (стр. 621). Несколько позже получает широкое развитие префиксация, пополняющая ряды совершенных глаголов, и, наконец, видовая деривация, создающая соответствующие глаголы несовершенного вида (по образцу некоторых старых пар, объединявших первичный и производный от него глагол). Все указанные процессы относятся к доисторическому периоду. Впоследствии производные глаголы несовершенного вида получают во все большей мере значение многократности, начало чего застаем в старославянском, но что полностью развивается уже только в более позднюю эпоху.

Заметим, что уже первый этап становления вида, как его рисует автор, дает основания для некоторых сомнений. Вряд ли можно согласиться с тем, что совершенный и несовершенный виды возникают, так сказать, без всякой подготовки, как бы на голом месте, на основе одной общеиндоевропейской «потребности понимать некоторые действия как целостные». Скорее можно предположить, что абстрактная грамматическая категория вида возникла на базе обобщения и переосмысления более конкретных лексических и полулексических способов действия, причем промежуточной ступенью между способами действия и видом, вероятно, была полувидовая категория предельности и непредельности глагольного действия (подобно терминативности и курсивности в некоторых неславянских индоевропейских языках). Можно думать, что именно по этой линии шла дифференциация среди бесприставочных глаголов, что будущие бесприставочные глаголы совершенного вида в какую-то эпоху стали получать значение предельности.

Утверждая, что между двумя группами бесприставочных глаголов частично устанавливается видовая корреляция, автор не уточняет, о какого типа видовой корреляции идет речь — только ли о корреляции типа *сѣсти*: *сѣдѣти* или также и о корреляции типа *пасти*: *падати*. Думается, что первая корреляция, являющаяся в историческую

[1] В действительности количество таких примеров еще меньше, если изъять мнимые случаи, в которых имперфект был образован от глагола, еще не ставшего глаголом совершенного вида (ср. упомянутые выше два примера *не дадѣаше* из евангелия или *мсъхнѣкаше* и *задъхнѣаше ся* из Супрасльской рукописи).

эпоху не чисто видовой, но и лексической, словообразовательной, в эпоху до возникновения второй корреляции вообще не должна рассматриваться как видовая в смысле славянских видов. Это корреляция предельности и непредельности, представленная и в неславянских языках. Только с появлением корреляций второго типа можно говорить о совершенном и несовершенном виде, так как «совершенность» и «несовершенность», т. е. целостный и нецелостный взгляд на действие предполагают возможность двоякого взгляда на одно и то же действие (например, действие падения), а не на два разных действия (как в случае *есть—сидеть*). Пока речь идет о разных действиях, пока видовые различия не эмансипировались, хотя бы в какой-то части глагольной лексики, от лексических различий, нет совершенного и несовершенного вида, а есть, в лучшем случае, их исторические предшественники—предельность и непредельность.

Таким же образом, как уже отмечено выше, и префиксация сама по себе, без ее дополнения «деривацией», т. е. образованием так называемых «iterativa», вряд ли могла бы рассматриваться как процесс, ведущий к образованию глаголов совершенного вида. Короче говоря, и по отношению к бесприставочным, и по отношению к приставочным глаголам дело обстоит так, что только создание производных глаголов несовершенного вида знаменует собою переход от предельности—непредельности к совершенному и несовершенному виду. Если это правильно, то движущей причиной возникновения вида явилась не «потребность понимать некоторые действия как целостные», а потребность представить предельное действие в процессе его развертывания (или повторения). Целостное и нецелостное понимание действия выступают не как причина, а как результат развития вида, как тот итог, к которому приходит глагольная система славянских языков, создавая грамматическую категорию совершенного и несовершенного вида.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что книга А. Достала — выдающееся, незаурядное явление в славянском языкознании последних лет. Сделанные здесь замечания нисколько не умаляют крупных достоинств этого капитального труда. Значение его выходит за рамки учения о славянском глагольном виде, и нет сомнения, что каждый славист найдет в этой работе еще очень много интересного и нового материала, в частности по вопросам глагольного словообразования, продуктивности отдельных морфологических типов глагола, синтаксического употребления времен, наклонений и именных форм глагола, много ценного материала для характеристики глагольной лексики отдельных старославянских памятников и т. д. Большую практическую ценность для последующих исследований имеют приводимые автором полные списки глаголов (а для многих глаголов — полные списки всех засвидетельствованных случаев их употребления), полные списки всех засвидетельствованных случаев употребления отдельных времен (например, перфекта со вспомогательным глаголом и без вспомогательного глагола на стр. 603—607) и т. д. и многочисленные статистические подсчеты автора. Во многих отношениях книга А. Достала — хотя автор и не ставил себе этой цели — может служить исчерпывающим и надежным справочником по старославянскому глаголу.

Ю. С. Маслов

О «НОВОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ ФРАНЦИИ»

(Сравнительно с атласом Жильерона)

«Новый лингвистический атлас Франции» является важным этапом в развитии зарубежной лингвистической географии. Этот атлас по сравнению с атласом Ж. Жильерона имеет ряд преимуществ, что свидетельствует о дальнейшем развитии диалектологии французского языка. Тем не менее и «Новый лингвистический атлас» в своей основе связан с традициями школы Жильерона. Последняя до сих пор оказывает большое влияние на зарубежную лингвистику, несмотря на то, что в наши дни зарубежные диалектологи начинают отходить от этой школы: например, обращает на себя внимание тот факт, что во французской диалектологии намечается даже признание диалекта, как целостного единства (см. последние работы Л. Ремакля, М. Валькофа, Ш. Госсена).

Теоретическая позиция составителей «Нового лингвистического атласа», связанных со школой Жильерона, но в отдельных вопросах отходящих от этой школы, вырисовывается особенно отчетливо, если сопоставить ее с исходными позициями, на

основе которых в Советском Союзе создаются «Атласы русских народных говоров»[1], первые тома которых в ближайшее время увидят свет.

Советские диалектологи рассматривают диалект как реальную языковую единицу, обусловленную историческим развитием соответствующей области, т. е. стоят на позиции, прямо противоположной взглядам Жильерона, как известно, отрицавшего диалекты. Поэтому ниже, при анализе отдельных наиболее важных положений, мы считаем целесообразным упомянуть и о некоторых принципах построения «Атласа русских народных говоров».

Перед тем как перейти к характеристике построения «Нового лингвистического атласа Франции», остановимся кратко на истории его создания. После появления лингвистического атласа Франции, составленного Ж. Жильероном и Э. Эдмоном[2], не прекращалось изучение отдельных диалектов и говоров Франции учениками и последователями Жильерона. Точнее было бы сказать, что научное изучение диалектов Франции только началось после издания этого атласа. Так, А. Доза изучает Овернь, Г. Мийардэ — Ланды, А. Менье — Нивернэ, Ш. Брюно — Арденны, Л. Террашэ — Ангумуа, П. Ле Ру — Нижнюю Бретань, О. Блок — южные Вогезы.

Материалы лингвистической географии оказались неисчерпаемым источником для изучения самых разнообразных сторон строя французского языка. Столь активная работа, проводившаяся по изучению говоров Франции, побудила А. Доза к объединению и координации усилий диалектологов всей страны для создания нового лингвистического атласа Франции. В этом атласе материалы по каждому району картографируются отдельно, в связи с чем получит более полное выражение своеобразие лингвистического материала отдельных областей; тем не менее эти региональные атласы строятся более или менее однородно в отношении вопросника, транскрипции и т. д.

В 1939 г. Доза впервые сообщает широкому кругу читателей о своем плане организации и издания нового атласа Франции[3]. Суть этого плана сводится к следующему: новый лингвистический атлас строится по принципу региональности, т. е. в отдельности изучаются диалекты каждого района, представляющего лингвистически более или менее единое целое («une unité linguistique approximative»[4])— атлас Шампани, атлас Нормандии и т. д. Отсюда и полное название атласа — «Nouvel atlas linguistique de la France par régions» (NALF). Границы районов определяются по старым политическим и церковным границам Франции (до 1789 г.). Координация работы над атласами осуществляется в Парижском университете; составление каждого атласа поручается соответствующему университету. Так, Лиллький университет в лице Р. Лорио руководит составлением атласа Пикардии, Каннский университет в лице Ф. Лешантера руководит составлением атласа Нормандии, Реннский университет в лице Ж. Пиньона и Г. Массиньона руководит составлением атласа по Западной Франции, Бордоский университет в лице Ж. Сеги, Т. Ланаина и Бузэ руководит составлением атласа Гаскони и т. д., Доза заново исследует южную Овернь; составлением атласа Эльзас-Лотарингии занят известный диалектолог Л. Террашэ, автор работ по Ангумуа; атлас Корсики составляет Арриги. Региональное построение Нового атласа выгодно отличает его от атласа Жильерона и в том отношении, что открывает бо́льшие возможности для ознакомления с бытом, языком и населением того или иного района. Если для атласа Жильерона один Э. Эдмон в течение четырех лет обследовал всю предназначенную для изучения территорию Франции, то в настоящее время десятки, если не сотни обследователей заняты этой работой в течение десятилетий.

Региональное построение лингвистических атласов может быть различным. При построении изучаемого атласа, как было указано выше, в основу деления на районы кладут историко-лингвистический принцип. Помимо этого принципа, для членения атласа могли бы быть применены и другие — этнографический, административный и т. д., но все они имеют еще бо́льшие недостатки[5]. Осуществление историко-лингвистического принципа оказывается весьма сложным, так как границы старых говоров, также

---

[1] Основные установки составителей этих атласов уже были охарактеризованы в печати. См., например: «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка», М., изд. МГУ, 1946 (сопроводительные статьи); Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2; его же, Лингвистическая география и история русского языка, ВЯ, 1952, № 6.

[2] J. Gilliéron et E. Edmont, Atlas linguistique de la France, Paris, Champion, 1902—1910 (сокращенно ALF).

[3] A. Dauzat, Un nouvel atlas linguistiuqe de la France, «Le français moderne», 1939, № 2.

[4] Там же, стр. 100.

[5] Подробнее см.: «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка», М., изд. МГУ, 1946, стр. 79—82 (раздел «Принципы членения атласа»).

как и политические границы, не были одинаковыми в разные периоды истории языка. Кроме того, упускается из вида, что одна из основных задач атласа заключается именно в установлении границ говоров: априорные данные, которыми часто приходится пользоваться, далеко не всегда оказываются достаточно точными. В этой связи укажем, что «Атлас русских народных говоров» также строится по принципу регионалности, но, в отличие от «Нового лингвистического атласа Франции», в русском атласе районы устанавливаются только по их лингвистической ценности, а именно — избираются области, где сходятся границы разных говоров или разных явлений. Смысл такого членения заключается в том, что каждый из атласов дает в этом случае больше материала для решения определенного круга вопросов, поскольку удается изучить значительно больше изоглосс. При этом учитывается, что внимание диалектолога привлекает не сходство диалектов, а диалектные различия, которых, разумеется, в пограничных зонах больше. Более того, если в «Атласе русских народных говоров» материал по какому-либо явлению оказывается однородным на всей карте и изоглосса отсутствует, то диалектологи считают, что карта «не получилась», и помещают полевой материал в комментариях к карте.

Жильерон, как известно, исследовал только романскую территорию Франции, оставив в стороне нероманскую часть — Бретань, Фландрию и другие районы. В Новом атласе Франции будет представлена вся Франция: так, баскский район поручен Г. Гавелю, Бретань будет представлена атласом Ле Ру (в 1924 г. вышел первый выпуск, в 1937 г.— третий).

Сеть исследуемых точек по сравнению с атласом Жильерона в Новом атласе примерно втрое гуще; обследуются и те места, в которых в свое время побывал Эдмон. Вопросник составлен вновь, но в основу его все же положен вопросник Жильерона; для всей Франции имеется один общий вопросник и, кроме того, отдельные для каждой области Франции. Лингвистические атласы предположительно будут сопровождаться картами по истории данной области — картами аббатств и диоцезов, а также картами расположения замков. Работа ведется совместно с этнографами и фольклористами.

Согласно упомянутой программе, претерпевшей лишь незначительные изменения после ее опубликования, велась и продолжает вестись большая работа по составлению областных атласов (см. отчеты и отдельные заметки, непрерывно появляющиеся в журнале «Le français moderne»). Первый атлас, увидевший свет,— это атлас Лионской области[1]. В 1953 г. вышел первый том атласа Валлонии [2]; в 1954 г. появляется атлас Гаскони [3]. Следует отметить, что Лионский атлас создавался в основном без непосредственного руководства Доза. Инициатива создания этого атласа и его организация принадлежат крупному диалектологу П. Гардету. Тем не менее, как следует из рецензии Доза [4], Гардет и другие составители атласа согласовывали с Доза транскрипцию и многие существенные вопросы построения атласа. Ниже мы остановимся подробнее на характеристике только этого атласа.

*

Атлас Лионской области охватывает небольшую часть восточной Франции: департаменты Луара и Рона и незначительные части прилегающих департаментов — Сона и Луара, Эн, Изер, Дром, Ардеш, Верхняя Луара, Пюи де Дом. Эта область (например, Форэ, Брес, Божолэ) уже давно привлекала внимание исследователей, в том числе и авторов Нового атласа, поскольку здесь сходятся границы французского и провансальского языков, а также франко-провансальских говоров. Так, в районе Макона, находящемся на самом севере изучаемой области, наблюдаются литературные формы французского языка (либо формы бургундского диалекта). Например, в карте 99 *vanner*: в районе Макона находим *vane*, в то время как в южной части исследуемой области распространены провансальские формы *vẽta*, *vãta*. Аналогичный пример в карте 270 *peler(les pommes de terre)*: на севере — *ploeme*, на юге — *plymo*. В карте 272 *une rave*: в районе Макона и севернее значительно распространена форма *rev*,

---

[1] «Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais», par P. Gardette, avec la collab. de P. Durdilly, S. Escoffier, H. Girodet, M. Gonon, A.—M. Vurpas-Gaillard, publié avec le concours du Centre national de la Recherche scientifique par l'Institut de linguistique romane des Facultés catholiques de Lyon: vol. I — 1950; vol. II — 1952; vol. III — в печати (сокращенно ALL).

[2] «Atlas linguistique de la Wallonie. Tableau géographique des parlers de la Belgique romane d'après l'enquête de Jean Haust et des enquêtes complémentaires». T. I— «Introduction générale. Aspects phonétiques (Cartes Ia — 100)», par Louis Remacle. Liège, Imprimerie H. Vaillant-Carmanne, 1953 (сокращенно ALW).

[3] «Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne», par Jean Séguy, Toulouse, 1954.

[4] «Le français moderne». 1951, № 3.

нормально развившаяся по законам исторической фонетики французского языка из лат. *rapa*, в то время как южнее наблюдается форма *rava* и даже *raba* с типичным для прованса́льского языка интервокальным *-b-* (как известно, в прованса́льском глухие интервокальные становятся звонкими)[1]. Аналогичное распространение явлений наблюдаем на картах 21, 43, 60 и других.

Всего на территории, картографированной в атласе Гардета, обследовано 75 мест, в то время как в атласе Жильерона на соответствующей территории охвачено примерно 25 населенных мест, из которых некоторые совпадают: четыре — в деп. Луара, два в деп. Рона и по одному в деп. Пюи де Дом, Ардеш, Изер, Эн. Остальные населенные пункты, представленные в атласе Жильерона, в наши дни оказались мало интересными для обследования, так как это в основном большие поселки, которые за 50 лет, прошедших после обследования их Эдмоном, из сельскохозяйственных стали рабочими и потеряли свой местный говор[2].

Более густая сеть атласа Гардета, да и всего атласа в целом, создает ему значительные преимущества перед атласом Жильерона: 1. Оказывается возможным выявить большее количество диалектных особенностей и тем самым найти больше синонимов, а также фонетических и семантических оттенков слова. Так, например, у Жильерона в департаменте Рона для обозначения водки встречается лишь литературное *o d vi*, в то время как у Гардета в этом же департаменте наряду с *l'eau de vie* имеем: *l'odevej*, *lo mor*, *la mar*, *lo mar*, *la gut*, *la blats*, *la blas*, *la pol*, *la pola* (карта 214). Значительное количество синонимов находим также и для обозначения сосуда для питья воды в поле — *cruche*, *dita*, *flosko*, *buteille*, *barle*, *bitsa*, *budzo*, *bĕrta*, *pinta* и др. (карта 218). 2. Устранилась отрицательная особенность, наблюдаемая в атласе Жильерона, где из-за редкой сети опорных пунктов засвидетельствованная диалектная форма нередко является как бы оторванным островком среди литературных форм, в то время как в атласе Гардета выявляются промежуточные диалектные формы и тем самым точнее определяется зона распространения того или иного явления.

Во всем «Новом лингвистическом атласе Франции», как и у Жильерона, принята транскрипция Русло, как наиболее распространенная во французских работах по диалектологии[3]. Имеются лишь небольшие и непринципиальные различия в транскрипции атласов: в атласе Гардета долгота и краткость гласных обозначаются не всегда, а лишь в случаях значительного расхождения с литературным языком; так же и ударение ставится лишь в случае его смещения по сравнению с литературным языком, в то время как в атласе Жильерона ударение обозначено в каждом слове. Наблюдаются некоторые расхождения и в обозначении вариантов фонемы *r*. Не всегда совпадают знаки препинания и условные обозначения: так, точка с запятой у Гардета разделяет морфологические различия (единственное и множественное число, мужской и женский род, разные глагольные формы), в то время как у Жильерона эти различия не разделены никаким знаком (*blanc blanche* или *abeille abeilles*). Разный смысл имеет условное обозначение +, которое в рассматриваемом атласе обозначает отсутствие понятия, а у Жильерона — оттенки значений, оговоренные в легенде карты. По-разному оформляются грамматические пометы: у Жильерона — m. f. s. p., в то время как в атласе Гардета даны формы артикля, что открывает возможность проследить и состав этих форм как таковых.

Перечисленные небольшие различия отнюдь не затрудняют чтение и сравнение карт двух атласов, а отсутствие в атласе Гардета регулярного обозначения долгот и краткостей, а также динамического ударения лишь несколько разгружает транскрипцию.

Вопросник, которым пользуется Гардет, весьма близок к вопроснику Жильерона и разделяет такой существенный недостаток последнего, как узость и односторонность тематики. Судя по двум томам Лионского атласа (весь вопросник пока еще не опубликован), он, однако, подвергся значительным уточнениям, особенно в отношении ряда терминов. Так, в атласе Гардета дифференцированы вопросы о названиях большой и маленькой пилы, в связи с чем удалось составить две особых карты (см. карты 229 и 238). Аналогично для обозначения понятия *aiguillon* у Жильерона имеется одна карта (1426), в то время как у Гардета ей соответствуют две — *le grand aiguillon* и *le petit aiguillon* (карты 124 и 126); для обозначения понятия *bêche* у Жильерона имеется одна карта (1763), у Гардета две — *la bêche à dents* (159) и *la bêche pleine* (158).

---

[1] Французское литературное *rave* с *a* в открытом слоге под ударением заимствовано из прованса́льского языка, где *a* в этой позиции сохраняется.

[2] P. Gardette, L' Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais, «Le français moderne», 1951, № 1, стр. 18.

[3] Поскольку эта транскрипция в советских работах не принята, мы пользовались международной транскрипцией. О соотношении транскрипции Русло с международной и другими транскрипциями см. Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1953, стр. 26. При переводе в другую транскрипцию мы иногда не учитывали некоторые несущественные для нас детали (ударение, степень открытости гласных и т. д.).

Как и у Жильерона, у Гардета вопрос о том или ином слове часто задается в контексте — не просто *tronc*, а *je me suis assis sous un arbre*, *appuyé contre le tronc* (карта 238) или *il ne fait que se soûler* — для глагола *se soûler* (карта 223). Но иногда в вопроснике этого атласа сложный контекст отсутствует, так как перевод фразы в целом часто настолько затруднял опрашиваемое лицо, что оно начинало употреблять литературные формы вместо диалектных, как это иногда было при подготовке атласа Жильерона[1].

Таким образом, построение вопросника «Нового лингвистического атласа» лишь в частностях отличается от вопросника атласа Жильерона. Собирание сведений о говорах в виде записи отдельных слов приводит к тому, что сопоставление отдельных слов на картах идет одновременно по разным признакам: картографируются не только разные названия предметов, но одновременно и отличительные особенности звучания одних и тех же слов (фонетика), их словообразовательные признаки и характер флексии (морфология)и т. д.

Подобный принцип собирания и картографирования диалектных данных не является единственным в современной лингвистической географии. Так, в «Атласе русских народных говоров» наблюдаем последовательное разграничение таких аспектов языка, как лексика, фонетика, морфология и синтаксис. При построении вопроса по фонетике здесь, например, подбирается целая группа слов, в которых встречается данное явление: слова эти, кроме того, группируются в зависимости от позиций, в которых наиболее ощутительно сказываются закономерности изучаемого явления[2]. Выделяются и особо картографируются слова, звучание или морфологические особенности которых присущи только данным отдельным словам и не связаны с особенностями фонетического или морфологического строя; на лексических картах преимущественно картографируются разные названия одних и тех же предметов или разные значения одних и тех же слов.

Если у Жильерона карты следуют в алфавитном порядке, то в атласе Гардета они сгруппированы по темам, соответствующим разным сторонам быта и производственной деятельности.

В последнем (третьем) томе будут приведены также материалы, посвященные морфологии данной области (Ср. распределение карт по темам в атласе Юда и Яберга.[3])

Значительно интереснее и полнее оформлены в рассматриваемом атласе легенды карт; и здесь Гардет следует традиции атласа Юда и Яберга. Так, в легендах карт атласа Жильерона нет объяснений трудных и специальных терминов, перевод которых иногда невозможно найти в общих словарях. В отличие от Жильерона в атласе Гардета дается подробное объяснение почти каждого слова, часто сопровождаемое схематическими рисунками. Иногда объясняются даже и самые обычные слова. Ср., например, карту 253, посвященную слову *le jardin — C'est non loin de la maison, un bon terrain, bien fumé, clos d'un mur ou d'une barrière. On y sème les petits légumes: ail, petit pois, poireaux, haricots, racines, et quelque pommes de terre pour les besoins du ménage. Parfois on y plante quelques fraisiers et quelques groseilles.* Такое объяснение уточняет и раскрывает семантику слова. Атлас Гардета является, таким образом, одновременно как бы и толковым словарем данной местности.

Часто вопросы атласа Франции Жильерона, атласа Италии и южной Швейцарии Юда и Яберга и Лионского атласа совпадают (полностью или в отношении корней слов, которым посвящен тот или иной вопрос). В таких случаях в легендах карт изучаемого атласа указывается соответствующая карта атласа Жильерона, а также атласа Юда и Яберга.

Известный интерес представляют и дополнения к картам, напечатанные на полях отдельных карт[4]. Тут иногда публикуются попутно собранные сведения, не имеющие непосредственного отношения к данной карте. Так, например, на полях карты 270 *peler les pommes de terre* даются слова *tiri, tire, araši, raje*, связанные с понятием *arracher les pommes de terre*. В других случаях сообщаются пословицы, связанные с картографируемым словом; см. карту 260 *le charançon du haricot* «долгоносик»; в пункте 48 приводится пословица *jamais le charançon n'a mangé sa mère*, а в пункте 39 *le charançon n'a jamais mangé le germe* — обе пословицы означают, что поврежденное вредителем растение тем не менее продолжает жить.

Чтобы облегчить понимание причин изменений тех или иных слов, в легенде карты часто рассказывается о соответствующих изменениях в жизни данной области. Так,

---

[1] См. P. Gardette, L'Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais, стр. 13.

[2] Ср. «Программу собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» (М.—Л., изд. АН СССР, 1947), стр. [17]—[26] (вопросы 3—9, посвященные системе предударного вокализма).

[3] K. Jaberg und J. Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Bd. I—VIII, Zofingen, 1929—1940.

[4] К сожалению, во втором томе атласа Лионской области эти дополнения из-за экономии места значительно сокращены (см. предисловие ко второму тому).

например, в отдельных местах исчезает такое название профессии, как *les scieurs de long* «мастера по продольной распилке дерева», что связано с исчезновением данного ремесла. Словом *vendangeur* «сборщики винограда» (карта 205) в Божолэ раньше называли сборщиков, приглашенных со стороны. Теперь для сбора винограда в данной местности хватает собственной рабочей силы; однако, собирая виноград, в шутку продолжают называть друг друга *les vendangeurs*.

Исчезают диалектные слова, соответствующие литературным *un âne*, *une ânesse* (карта 312), или употребляется одно слово для обозначения и осла, и ослицы; это связано с тем, что этих животных, которые раньше были основной тягловой силой, теперь почти не держат.

Интересны случаи, когда в дополнениях к карте даются семантические оттенки того или иного слова, связанные с разным морфологическим или семантическим оформлением его. Так, например, в карте 222 *vider une bouteille* глагол *vojãse* означает «опустошить бутылку быстрым и резким движением», в то время как тот же глагол, но с другим окончанием инфинитива *vyjãsi* приобретает значение «переливать в другой сосуд». Или, например, в карте 278 *un veau*, *des veaux* слова *bɔ/o*, *bodi* употребляются с оттенком шутливости, слова *bɔjõ*, *bɔdõ*, *bwɔdo* принадлежат языку детей, *bydi* обозначает «теленок 2—3 месяцев», а *bɔre* — «теленок 5—6 месяцев».

Часто в легенде даются уточнения, необходимые для понимания синонимов. Так, в карте 217 *le tonneau de moins de* 100 *litres* слово *le baril* обозначает «небольшая бочка» (без более точных данных об ее размерах), *le quarteau* обозначают—«бочка на 50 литров», *le caquillon* — «бочка на 10—20—30 литров». Или в карте 277 *une génisse* слово *tyri* обозначает «беременная корова», *byjeta* имеет ласкательный оттенок, *boja* и *byjeta* применяются к телке независимо от возраста.

Иногда эти дополнения настолько пространны, что являются как бы небольшими самостоятельными этюдами по семантике исследуемого слова. Так, например, из дополнений к карте 279 *la vache a de belles cornes*, где исследуется слово *belle*, *de belles cornes* в первую очередь обозначает «большие, крепкие рога», значение «красивые рога»— вторичное. *Belle* здесь часто употребляется как синоним *grand*. Во многих местностях крестьяне переводили *elle est bien coiffée* или *elle est bien cornée*.

Для сравнения приведем некоторые сведения о построении карт «Атласа русских народных говоров». Советские диалектологи, считая диалект самостоятельной реальной языковой единицей, изучают не отдельные, часто случайные черты, а целостные явления (ср. выше построение вопросника). Если в атласе Жильерона частное преобладает над общим, то в русском атласе большое внимание уделяется обобщениям. Каким путем достигаются обобщения? Получая полевой материал, русские диалектологи не наносят на карты все собранные сведения, а сначала обрабатывают, отбирают материал. Случайные записи, возможные ошибки в произношении, иногда единичные заимствованные формы — все это опубликовывается в обширных комментариях к карте. Непосредственно на карту попадают лишь формы, действительно характерные для данной местности и притом представленные в обобщенном виде. Таким образом, в русском атласе сотрудниками, хорошо знакомыми с материалом, заранее проделывается та сложная работа, которую составители атласа Гардета предоставляют проделать самому читателю. Работа над «Атласом русских народных говоров» упрощается также благодаря тому, что в конце каждого тома будут опубликованы сводные карты изоглосс, составленные на материале данного тома.

Атлас Гардета представляет собой богатый материал для изучения не только разных сторон лексики, но и некоторых вопросов морфологии и даже синтаксиса. Несмотря на то, что в основном материал по морфологии сосредоточен в конце третьего тома (а вопросами синтаксиса Гардет не считает возможным специально заниматься в лингвистическом атласе)[1], тем не менее кое-что можно извлечь из уже имеющегося материала:

1. Данные по употреблению определенного и неопределенного артикля. В отличие от атласа Жильерона, в рассматриваемом атласе все имена существительные даются с артиклем, что связано с методом опроса: вопрос посвящается слову как таковому, без контекста. Так, в карте 284 *une bouse* встречаем делабиализованные формы артикля *ĩ*, *ẽ*, формы с конечным франко-провансальским *-a*, *-ina*, редуцированные формы *no*, *na* и др. Аналогичные данные находим и в других картах.

2. Разные формы местоимения 3-го лица. В карте 297 *elle rumine* или 298 *elle beugle* встречаются формы *e* с характерной редукцией *l*, а также форма *o* с не менее характерным для востока Франции огублением или *ȧl* с изменением *e* > *a* и др. Встречаются также реликтовые, архаические формы глагола без местоимений; так, в карте 298 *myn*$_a$ «она мычит».

3. Различные окончания форм инфинитива. Карта 223 *se soûler*: *sola*, *sylo*, *sulo*, *soele* или карта 204 *vendanger*: *vẽdemi*, *vãdema*, *vũdemo*, *vedamje* и др.

[1] Советские диалектологи в отношении синтаксиса придерживаются других позиций (см. работу И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко «О некоторых синтаксических явлениях в говорах юго-западных и центральных областей к западу от Москвы», «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», вып. 10, 1956.

4. Образование флективных форм единственного и множественного числа имен существительных. Карты 263 *un chou*; *des choux*; 272 *une rave*; *des raves*; 265 *une pomme de terre*; *des pommes de terre* и др. В некоторых случаях здесь, как и в литературном французском языке, формы единственного и множественного числа совпадают; но довольно часто наблюдается и флективное разграничение этих форм, причем единственное число оканчивается на *-a*, *-o*, множественное — нулевое [вследствие редукции латинских *-i*, *-e* (*-ae*), как наиболее распространенных показателей множественного числа]. Так, например, в карте 272 *na rova*; *de rov*, в карте 265 *ina trifa*; *de truf* и многие другие.

5. Данные об употреблении предлога *de* как оформителя объекта при глаголе-сказуемом. Так, в карте 241 *la sciure* в контексте *je vais scier du bois de chauffage, ça fait de la sciure* зарегистрировано то *la sciure*, то *de la sciure*. Аналогичный материал находим и в ряде других карт.

*

Региональные выпуски «Нового лингвистического атласа» отнюдь не следует рассматривать как атлас, выходящий на смену атласа Жильерона, материалы которого никогда не могут устареть, хотя бы потому, что в этих атласах зарегистрированы диалектные формы разного времени. Новый атлас следует рассматривать как уточнение и значительное пополнение атласа Жильерона благодаря более густой сети опорных пунктов и более продуманному вопроснику.

«Новым лингвистическим атласом», в каждом выпуске которого изучается лишь небольшая часть территории Франции и вследствие густой сети дается очень пестрая картина диалектных форм, пожалуй, даже трудно было бы пользоваться, не имея перед глазами атласа Жильерона, указывающего основные вехи развития диалектов французского языка одновременно по всей территории Франции. Таким образом, можно сказать, что эти атласы преследуют разные цели: один дает общую перспективу диалектного состояния Франции, другой — богатый материал по состоянию одной какой-либо области.

Жильерон, как известно, отрицал существование диалектов как самостоятельных единиц, а соответственно отрицал и возможность установления границ между диалектами. Сейчас, когда мы можем сравнивать данные атласа Жильерона с Новым атласом, мы убеждаемся, что в какой-то мере эта нигилистическая точка зрения Жильерона на диалекты связана с недостаточностью материалов, имеющихся в его атласе. Столь редкая сеть опорных пунктов (иногда на один департамент приходится всего 3—4 пункта) и не могла дать до конца правильную картину состояния диалектов Франции. Один из основных упреков, часто бросаемый Жильерону,— неуменье обобщать изоглоссы — является следствием несовершенства этих изоглосс.

Новый атлас, в котором в отдельных районах (например, в Валлонии) густота сети более чем в десять раз превышает густоту сети у Жильерона, имеет огромное преимущество перед последним. Региональное построение Нового атласа свидетельствует о первоначальной установке Доза, который исходил при определении территории отдельных атласов не из отдельных форм и слов, а из тех или иных языковых районов. Несмотря на то, что Доза иногда колеблется в своих взглядах на возможность определения диалектов и их границ, тем не менее в основном он стоит на позиции признания диалектов, о чем свидетельствует хотя бы его книга, посвященная диалектам французского и провансальского языков[1].

К. Яберг в интересной статье «Grossräumige und Kleinräumige Sprachatlanten»[2] раскрыл смысл региональных атласов и убедительно показал, что региональные атласы отнюдь не снижают достоинства атласа Жильерона. Тем не менее он скептически относится к предприятию Доза, считая его план чуть ли не фантастичным и нереальным с научной точки зрения: региональные атласы (Kleinatlanten) и атласы всего языка (Grossatlanten), по мнению Яберга, принципиально столь отличны, что не могут быть совмещены в одном атласе, как это задумано у Доза в его «Atlas linguistique de la France par régions». И действительно, трудно представить себе идеи и планы Доза до конца осуществленными; однако повинны в этом, нам кажется, не столько различия в характере общих и частных атласов, сколько те колоссальные трудности — как организационные, так и материальные,— с которыми составители неминуемо встретятся в условиях развития науки в капиталистическом обществе[3].

М. А. Бородина

---

[1] A. Dauzat, Les patois, Paris, 1927.

[2] «Vox Romanica», Bd. XIV, № 1, 1954.

[3] Ср. судьбу атласа немецкого языка Венкера-Вредэ (В. М. Жирмунский, О некоторых проблемах лингвистической географии, ВЯ, 1954, № 4, стр. 5).

Walter Ruben. **Einführung in die Indienkunde.** — Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1954. 390 стр., 5 карт.

Книга В. Рубена, с которой познакомились недавно советские востоковеды, является первым опытом систематического рассмотрения индологических наук в свете марксистского их понимания. В. Рубен известен индологам как автор ряда трудов по истории индийской культуры, в том числе курса истории индийской философии и ценных работ о литературе и религии доарийских обитателей Индии.

Рецензируемая книга написана на основе курса лекций, прочитанных автором осенью 1952 г. в Университете Гумбольдта. В. Рубен видит задачи индологии в том, чтобы обобщить результаты исследования Индии учеными различных специальностей. Поэтому он очень широко понимает содержание курса по введению в индологию, рассматривая в нем вопросы географии, этнографии, археологии, истории, политэкономии, религии, философии, изобразительных искусств, музыки, вопросы истории развития точных наук и медицины. Большое место занимает рассмотрение индийского фольклора, художественной литературы, а также языков Индии.

Изложение всех указанных разделов курса начинается с данных, относящихся к древней Индии, и доводится до наших дней. В краткой рецензии мы оставляем в стороне вопрос о целесообразности столь неоднородного по тематике курса, а также вообще вопрос о задачах курсов по введению в ту или иную науку или комплекс наук.

Если обратиться к конкретному содержанию книги В. Рубена, то очевидно, что советские востоковеды не могут пройти мимо такого многостороннего и полемического труда об Индии. Но разделы, посвященные разнообразным наукам, могут быть в полной мере оценены лишь индологами соответствующих профилей.

В нашу задачу входит рассмотрение проблем языкознания в рецензируемой книге. Они составят три группы вопросов, которые по месту, занимаемому в этом труде, расположатся в следующем порядке: 1) характеристика языков Индии, 2) история индийской филологии, 3) развитие в Индии науки о языке. Остановимся на каждой из этих групп.

*

Из содержащихся в книге 31 главы языкам Индии посвящена целиком глава 8-я «Языки Индии» (стр. 89—101, разделы: «Проблема языка жестов», «Языки мунда и дравидийские», «Ведийский язык», «Санскрит», «Пракрит», «Эпический санскрит», «Пракриты», «Новоиндийские языки»), частично глава 1-я «Каковы задачи введения в индологию» (стр. 1—9, раздел «Языки Индии»), глава 2-я «История индологии» (стр. 9—25, особенно раздел «Начало подлинной буржуазной индологии»), глава 4-я «Этнография индийских племен» (стр. 38—52, разделы «Арийцы и неарийцы», «Локализация племен»), глава 12-я «Сутры» (стр. 140—153, раздел «Историческая обстановка»), глава 15-я «Бхагавадгита и Махабхарата» (стр. 176—188), глава 18-я «Кушанский период» (стр. 211—223, раздел «Ашвагхоша»), глава 20-я «Последние века перед исламом» (стр. 235—248, разделы «Начало феодализма», «Бхамаха и Дандин»), глава 21-я «Ислам в Индии с 636—1500 г. н. э.» (стр. 248—260, раздел «Поэтика»), глава 24-я «Индия с 1500—1700 г.» (стр. 280—285, последний раздел); единичные упоминания о языках имеются и в других главах.

В. Рубен рассматривает языки Индии в связи с вопросами развития индийской культуры. Поэтому характеристику индийских языков мы находим во многих главах книги. Автор удачно сочетает обзор литературы и искусства с характеристикой языков соответствующего периода; см., например, разделы о литературе, искусстве и языках в кушанский период (стр. 216), о творчестве Чанда Бардаи и становлении литературного хинди (стр. 255) и др.

При освещении ряда общетеоретических вопросов языкознания (связь истории языка с историей народа, понятие языкового родства, «язык» жестов, соотношение литературного языка и народного диалекта и др.) В. Рубен во многом исходит из теоретических основ советского языкознания, опираясь на работы по общему языкознанию советских языковедов.

Приступая к систематическому обзору языков Индии, автор, вопреки старым традициям индологии, начинает с языков дравидийской группы и группы мунда. Следует отметить, что остатки доарийских языков Индии могли сохраниться в языках более поздних, вплоть до современных. Для воссоздания сложной истории развития языков Индии представляется важным выяснение наличия в них доарийских элементов. В настоящее время воздействие доарийских языков Индии на индо-арийские языки исследуется Куепером, Майрхофером и некоторыми другими исследователями.

Сущность истории формирования языков Индии В. Рубен усматривает в ассимиляции языковых влияний, приходящих извне в связи с историческими событиями на территории Индии. Наиболее сильным и устойчивым оказалось древнейшее влияние арийского языка. Автор пишет, что в то время при смешении языков в северной Индии не возник новый язык, а продолжал развиваться арийский, который обогатился до-

арийскими словами. Между прочим, В. Рубен считает, что отличие ведийского языка от санскрита определяется именно различной степенью дозарийских влияний.

Разговорный язык арийских племен, появившихся на территории Индии, до нас не дошел. Сохранившийся в памятниках ведийской литературы так называемый ведийский язык автор характеризует как литературный диалект начинающего формироваться в касту жречества. Поэтому он считает, что ведийский язык как далекий от общенародного языка не представляет большой ценности для языковедческих исследований.

С этим нельзя согласиться, так как гимны Ригведы в силу архаичности своего языка представляют большую ценность для историка-языковеда. Кроме того, гимны Ригведы важны как источник сведений о жизни древней Индии (об этом говорит и сам В. Рубен на стр. 89), а следовательно, заслуживают внимательного изучения в подлиннике. Можно предположить, что язык части гимнов Ригведы не был очень далек от народного языка того времени. В. Рубен недооценивает факт несомненной неоднородности гимнов, составляющих Ригведу. Существует мнение, что отдельные гимны Ригведы были написаны на племенных диалектах[1].

Едва ли можно принять утверждение автора (стр. 93), что внутри сборника Ригведы, а также сборников Самаведы, Атхарваведы и Яджурведы нельзя говорить о каких-либо языковых различиях, кроме стилистических. О языковой неоднородности сборников свидетельствуют конкретные исследования текстов[2].

Четыре сборника Вед возникли не одновременно. При всей сложности вопроса об их датировке, не без оснований общепризнанным является мнение, что наиболее древним является сборник Ригведа. Следует отметить, что если В. Рубен касается вопроса о датировке Вед, то всюду имеет в виду только Ригведу, не упоминая трех других сборников. Конечно, вопрос о датировке Вед, а следовательно и ведийского языка, мог не занимать много места в обширной по тематике работе Рубена. Однако и при беглых высказываниях по этому поводу автор мог бы учесть точку зрения, высказанную в недавней работе Хертеля[3].

Существенные изменения В. Рубен усматривает лишь в языке поздней ведийской литературы, в языке прозы Брахман и Упанишад. «Но язык Брахман уже больше не отличается от языка Сутр..., — пишет он,— язык же этих текстов Сутр... уже представляет собою санскрит» (стр. 93).

По мнению В. Рубена, вопрос о возникновении санскрита неясен, но этот процесс связан с окончательным оформлением жрецов в особую касту. Желая отличаться от народа и кшатриев (Schwertadel), они пришли к тому, что выработали (pflegten) свой собственный литературный язык на основе развивающегося народного языка под сильным влиянием литературного языка ведийских гимнов. Далее автор пишет: «Наряду с этим „совершенным" санскритом брахманства этих веков существует менее ученый санскрит менее ученых людей» (стр. 96). Это — язык военной аристократии и торговцев, сохранившийся в эпосе. Слишком сжатое описание в книге санскрита эпических произведений не позволяет видеть степень его употребления.

Заслуживает внимания мнение индийского ученого Прабхатчхандра Чакраварти, который считает, что в период расцвета санскритской литературы санскрит несомненно был разговорным языком. Dvijāti, которые изучали Веды, вероятно, говорили на санскрите[4]. В краткой рецензии мы не должны и не собираемся давать в какой-то мере исчерпывающее освещение сложнейших вопросов, связанных с возникновением и характером развития языка, обозначаемого общим термином санскрит. Но необходимо заметить, что картина формирования санскрита, нарисованная В. Рубеном сжато и сначала в основных чертах правильно, в дальнейшем изложении предстает в несколько упрощенном виде.

Санскрит времен Панини и периода создания наиболее старых мест эпических поэм сосуществовал с пракритами. Рост влияния последних (пракриты[5] были языками джайнизма, пали-буддизма) вызвал потребность оградить санскрит как признанный язык брахманства от влияний на него народной речи. Так появляется понятие о нормативном, обработанном языке (saṁskṛta), отвечающем правилам грамматики Панини. Следует учитывать, однако, что нормативный язык брахманства представлял в значительной мере искусственные рамки, в которых должен был сохраняться язык, отошед-

---

[1] См. А. П. Баранников, Элементы сравнительно-исторического метода в индологической лингвистической традиции, ВЯ, 1952, № 2, стр. 50.

[2] См., например, Ф. Фортунатов, Sâmaveda — Âranyaka — Samhitâ, М., 1875, стр. 1—8 (Введение).

[3] J. Hertel, Einwanderung der Indogermanen nach Indien, «Archiv Orientální», vol. XIX, № 1—2, 1951.

[4] Prabhatchandra Chakravarti, The linguistic Speculations of the Hindus, Calcutta, 1933, стр. 274—276.

[5] Имеются в виду ардхамагадхи, джайна-шаурасени и джна-махараштри.

ший от живой линии развития народных языков Индии. Этот «язык», обычно связываемый учеными с «нормами» Панини, повидимому, не унаследовал основной массы слов из разговорного народного языка времен Панини, приводимой в его грамматике[1]. Это — так называемый классический древнеиндийский язык, классический санскрит.

Требует дополнительных пояснений высказывание В. Рубена о том, что «эпический санскрит существовал наряду с классическим» (стр. 96). Вызывает возражение тот факт, что, понимая санскрит очень широко, автор не считает необходимым говорить о его исторической неоднородности. О некоторых особенностях классического санскрита он вынужден говорить очень бегло, как о своеобразии литературного языка времен Харши (проза Bāna, стр. 239).

При рассмотрении природы санскрита В. Рубен ближе всего подходит к взгляду на санскрит как на застывший, мертвый «язык науки», с узко кастовой сферой применения. Если буржуазные индологи прошлого, исходя из этого взгляда, делали вывод о том, что из древних языков Индии достоин изучения именно язык самой образованной части общества[2], то в последние годы, исходя из этого же взгляда на санскрит, некоторые ученые приходили к противоположному вульгаризаторскому выводу о том, что санскрит как искусственный язык, далекий от народного, не должен служить предметом исследования языковедов. Порою кажется, что и автор рецензируемой работы близок к подобному взгляду (см. стр. 91).

Материал, связанный со среднеиндийскими языками — пракритами, изложен обстоятельно, несмотря на небольшой объем очерков о пракритах в таком многостороннем исследовании об Индии, каким является «Введение» В. Рубена. Однако автор недостаточно останавливается на характеристике языка пали, а языкам апабхранша, представляющим более позднюю форму пракритов,он посвящает всего четыре строчки (стр. 98). В связи с важностью вопроса о формировании языков современной Индии на языках апабхранша следовало бы остановиться подробнее[3].

Описание основных современных языков Индии сделано сжато, но достаточно полно. Проблема «многоязычия» рассматривается в соответствии с мнением Датта[4].

В книге удивляет отсутствие характеристики индийской письменности. В. Рубен ограничивается отдельными упоминаниями письмен brāhmī и kharoṣṭhī и вскользь положительно отзывается о принципах построения индийского алфавита.

*

Индийской филологии посвящены глава 2-я «История индологии» (стр. 9—25), раздел «Текстологическая работа над эпическими произведениями» в главе 16-й (стр. 188—199) и отдельные высказывания в других главах книги.

Положительным является тот факт, что автор в разделах по истории индологии обстоятельно характеризует и оценивает все основные работы индологов прошлого. Он хорошо осведомлен и о работах современных ученых. Особенно ценным является хорошее знакомство с новыми работами индийских ученых (см., например, стр. 188). На страницах, посвященных современному состоянию индологии на Западе, хотелось бы увидеть более полный отзыв о работах Л. Рэну по санскриту и об осуществленных им изданиях санскритских грамматических трактатов. В. Рубен говорит, что знакомство его с работами советских индологов очень ограничено.Он упоминает в своей книге о трудах академиков Ф. И. Щербатского, С. Ф. Ольденбурга, А. П. Баранникова и о работах ряда советских историков. При характеристике работ советских индологов в книгу вкралась неточность. На стр. 24 говорится, что русский перевод Первой песни Махабхараты появился «одновременно» с переводом акад. Баранникова Рамайяны Тулси Даса. Однако перевод акад. Баранникова появился в 1948 г., а перевод Первой песни Махабхараты был опубликован в 1950 г.

*

Об индийском языкознании автор говорит в главе 7-й «Общественные отношения по данным Ригведы» (стр. 76—89, раздел «Ригведа»), в главе 8-й «Языки Индии» (стр. 89 — 101), в главе 12-й «Сутры» (стр. 140—153, разделы «Сутра» и «Грамматика»), а также в отдельных местах глав 17-й «Последние два века до нашей эры» (стр.211), 20-й «Последние века перед исламом» (стр. 243) и 21-й «Ислам в Индии с 636—1500 г. н. э.» (стр. 259—260) и некоторых других.

Справедливо считая, что «грамматика — наиболее разработанная наука индийцев» (стр. 150), В. Рубен видит причины развития науки о языке в практической необ-

---

[1] См. об этом B. Liebich, Zwei Kapitel der Kāçikā, Breslau 1892, стр. XXVI.

[2] См., например, работу учителя В. Рубена: H. Jacobi, Über den nominalen Stil des wissenschaftlichen Sanskrits, «Indogerm. Forschungen», Bd. XIV, 1903, стр. 236.

[3] Значительный интерес при рассмотрении этого вопроса представляет работа В. С. Воробьева-Десятовского «О раннем периоде формирования языков народностей Северной Индии» («Вестник Ленингр. ун-та», 1954, № 12).

[4] См. Нальм Датт, Индия сегодня, перевод с англ., М., 1948, стр. 300—303.

ходимости изучать язык священных ведийских гимнов, в первую очередь его звуковую сторону. Отсюда — развитие в древней Индии прежде всего фонетики, а также этимологии (сборники nighaṇṭu).

Далее В. Рубен переходит к характеристике в самых общих чертах грамматики Панини. О работах других ученых, даже таких, как Вararучи Катьяяна и Патанджали, в книге не говорится (исключение представляет Кайята, упоминаемый на стр. 260). Таким образом, хотя вопросы истории наук автор и считает одним из предметов курса «Введение», однако он не касается истории становления науки о языке, а также разнообразной проблематики индийских языковедческих работ и их метода. Неполнота характеристики науки о языке видна и в том, что В. Рубен даже кратко не останавливается на оригинальных работах индийских лексикографов, продолживших традиции nighaṇṭu.

Более внимательное отношение к учению о языке в Индии способствует и более глубокому проникновению в тексты, написанные на индийских, особенно на древнеиндийских языках, лучшему пониманию и толкованию текстов. Что же касается важности текстологической работы, то здесь мы вполне согласны с автором (стр. 9). Перед индологами-языковедами стоит сейчас задача не только готовить к изданию неопубликованные еще памятники, но и критически пересматривать существующие старые издания.

*

Подводя итог рассмотрению вопросов языка во «Введении в индологию», следует сказать, что, несмотря на неполноту освещения материала по некоторым вопросам и спорность ряда положений, в книге В. Рубена дается удачное рассмотрение языков на фоне исторического развития Индии, сделанное с учетом ведущих положений марксистского языкознания. Главы и разделы книги, посвященные языкам Индии, а также памятникам индийской литературы и характеристике языка памятников, представляют несомненный интерес для наших языковедов-филологов.

В. А. Кочергина

Э. В. Севортян. **Фонетика турецкого литературного языка.** — М., Изд-во АН СССР, 1955. 152 стр. (Ин-т языкознания АН СССР)

Книга Э. В. Севортяна является первым на русском языке монографическим исследованием фонетики современного турецкого литературного языка. Нет необходимости говорить о том, что такая книга давно ожидалась всеми, кто занимается турецким языком, в первую очередь — учащимися и учащими. Книга задумана как пособие; по словам автора, она «предназначена для студентов и аспирантов, специализирующихся по турецкому языку» (стр. 3). Работа написана главным образом на основе имеющейся специальной литературы по вопросам турецкой фонетики и ударения; при изучении ряда вопросов, недостаточно освещенных в имеющейся литературе (долгота гласных, взаимодействие гласных и согласных, смягчение согласных, редукция и выпадение звуков, ударение и некоторые другие), автор опирался также на «собственные наблюдения, собранные им в разное время от живых носителей турецкого языка» (стр. 3).

Э. В. Севортян отмечает, что многие вопросы турецкой фонетики пока не получили удовлетворительного разъяснения, поскольку изучение фонетики турецкого языка все еще ведется на слух, без помощи звукозаписывающих приборов, и решительно высказывается за необходимость лабораторного исследования основных вопросов фонетики турецкого языка; с этим, конечно, нельзя не согласиться.

Известно, что первая попытка экспериментального изучения звуков турецкого языка была предпринята Л. Н. Старостовым[1]. Этот первый опыт не нашел пока на страницах специальной печати никакого отклика; в работе, посвященной турецкой фонетике, уместно было бы дать оценку учебнику Л. Н. Старостова.

Книга Э. В. Севортяна состоит из следующих разделов: «Предисловие»; I. «Введение»; II. «Фонемы и их произношение»; III. «Классификация фонем. Взаимодействие фонем»; IV. «Ослабление и выпадение фонем»; V. «Типы слогов в турецком языке и стечение фонем»; VI. «Чередование фонем»; VII. «Ударение»; «Литература».

Во «Введении», где рассматриваются некоторые вопросы исторической фонетики турецкого языка, хотелось бы видеть хотя бы краткий очерк истории изучения фонетики турецкого языка с указанием при этом русских работ, имеющих непосредственное отношение к предмету исследования (В. А. Максимов, И. Н. Березин, В. Писарев, В. А. Гордлевский, Н. К. Дмитриев).

---

[1] См. Л. Старостов, Учебник турецкого языка. (Вводный курс), М., 1951.

Говоря об историческом развитии звукового состава и грамматического строя турецкого языка, Э. В. Севортян замечает: «... с развитием общественного труда и мышления, с ростом познания постепенно появились части речи, складывалось и усложнялось грамматическое строение слова..., в общественном сознании говорящих происходил процесс дифференциации значений слов, появлялись все новые и новые слова, и на почве всего этого в звуковом составе языка выделялись фонемы, служащие для различения смысла слов» (стр. 8). Здесь, в этой картине исторического развития языка, много схематичного, но заключительная мысль, что фонемы выделились п о с л е сложения грамматического строя,— не может быть признана бесспорной. Звуковой строй и строй грамматический развивались, конечно, п а р а л л е л ь н о, и выделение фонем не могло отставать от процесса развития грамматического строя каждого данного языка.

Во «Введении» читатель найдет много интересных соображений по поводу истории сложения основных фонетических закономерностей турецкого языка (стр. 10 и сл.); замечу только, что, например, наблюдения за процессом ассимиляции согласных по глухости — звонкости и основными закономерностями губных ассимиляций на основе памятников рунической письменности требуют еще некоторых методико-методологических уточнений.

В современном турецком литературном языке автор насчитывает 34 фонемы: 12 гласных (8 — кратких, 4 — долгих) и 22 согласных, обозначаемых 29 буквами (стр. 23); в книге приводится краткое, но весьма четкое описание гласных и согласных фонем турецкого языка, однако нет определения самой фонемы как таковой, что совершенно необходимо в свете тех споров, которые еще недавно велись по этому поводу на страницах специальных журналов.

Попрежнему остается неясным вопрос (и останется таковым до экспериментального исследования) о характере согласного *ğ* при гласных заднего ряда (стр. 27—28); в такой позиции, по моему разумению, согласный *ğ* дает полудолготу, окрашенную призвучанием *e/x*; отмечу попутно, что *alan* «берущий» и *alan* «прогалина» (стр. 27) имеют совершенно одинаковое звучание[1].

В разделе «Классификация фонем. Взаимодействие фонем» рассматривается: 1) классификация гласных, 2) взаимодействие гласных, 3) классификация согласных, 4) взаимодействие согласных, 5) взаимодействие гласных и согласных. Говоря об одной из важнейших фонетических закономерностей турецкого языка — о гармонии гласных или о прогрессивной ассимиляции гласных, автор проводит последовательно ту мысль, что нёбная гармония в современном турецком литературном языке есть явление у б ы в а ю щ е е и что «явления десингармонизации в турецком языке уже налицо», хотя «было бы преждевременно делать выводы о полном развитии процесса распадения нёбной гармонии» (стр. 37).

Список слов с нарушенной нёбной гармонией в общем очень невелик; кроме того, обращает на себя внимание один важный факт: в списке приведены слова, давно приобретшие асингармоническую форму и зарегистрированные прежними исследователями как исключения из правила. Возможно, что орфоэпические нормы слов *irak*, *hani*, *hangi*, *haydi* и т. п.— продукт устарелого, манерного стамбульского произношения, о котором, кстати, говорит сам автор (стр. 19). Для окончательного решения этого вопроса необходимо провести соответствующие наблюдения над фактами современного языка, развивающегося преимущественно на основе городских говоров Центральной и Юго-Западной Анатолии.

Наличие одновариантных аффиксов, т. е. аффиксов со стабильным составом гласных (*-ki*, *-daş/-taş*, *-leyin*, *-mtirak*, *-ken*), употребляющихся в такой форме только в литературном языке (см. стр. 37), объясняется стремлением к орфографической унификации аффиксов, впервые проявившейся при переходе на новый алфавит на латинской основе (1928 г.); что касается аффикса *-yor*, то он как явление еще довольно новое не мог приобрести сингармонической формы, а теперь, будучи нормативно закрепленным в этой форме, графически не подвергается дальнейшим изменениям; впрочем в диалектах он встречается в несколько ином фонетическом облике.

Заимствованные слова (стр. 36—37), как правило, сохраняют в литературном языке, на что указывает автор, свой исходный состав гласных, а поэтому могут лишь косвенно свидетельствовать о десингармонизации. Поставленный Э. В. Севортяном вопрос о наличии явлений десингармонизации чрезвычайно важен для истории этого фонетического явления и в других тюркских языках; дальнейшее его изучение стоит в непосредственной связи с собиранием новых фактов, в первую очередь с подбором слов тюркского корня с асингармоническим составом гласных.

В связи с темой гармонии гласных говорится о том, что «аффиксы бывают двух-, четырех- и в немногих случаях шестивариантными» (стр. 39). Для читателей нетюркологов следовало бы пояснить, что шестивариантные аффиксы появились в резуль-

[1] См. Türkçe Sözlük», Istanbul, 1943, I, стр. 17.

тате соединения в единую (часто относительно единую) фонетическую систему аффиксов разных исторических пластов. Вообще шестивариантные аффиксы для истории турецкого языка представляют весьма большой интерес. Ряд интересных наблюдений сделан автором в такой важной, но мало изученной области турецкого сингармонизма, как область регрессивной ассимиляции (стр. 40—43).

В главе «Взаимодействие согласных» рассматривается ассимиляция (гармония) согласных (стр. 46 и сл.); в этой главе читатель найдет ряд наблюдений над разнообразными явлениями сложного механизма уподобления согласных по глухости-звонкости и отклонений от этого закона. В дальнейших исследованиях предстоит поставить и изучить очень важный вопрос, совершенно необходимый для понимания действия законов гармонии гласных и согласных: влияние качества согласных на состав гласных в слове[1].

Важные вопросы поднимает и исследует автор в подразделе «Позиционные и комбинаторные изменения гласных» (стр. 54 и сл.). Наличие в анлауте глухих *k'* и *t* (стр. 65), вероятно, следует объяснить тем, что огузская основа турецкого языка исторически была разбавлена кыпчакскими включениями. Говоря о словах с начальным *m* (стр. 65—66), автор причисляет к собственно турецким словам с этим согласным в анлауте слово *mangal* «жаровня». Ш. Сами[2], Д. А. Магазаник[3], Л. Будагов[4] и ряд арабских словарей переводят это слово с пометой «арабское»; слово *mani* Л. Будагов выводит из арабского *maná*[5].

Заключение о первоначальной звонкости-глухости турецкого ауслаута, основывающееся на свидетельстве старой турецкой (арабской) графики, не может быть безусловно достоверным; и хотя сам автор призывает к осторожности при пользовании графическими показаниями памятников (стр. 67), тем не менее его заключение о конечных *c*//*ç* основывается лишь на показаниях старой турецкой графики (стр. 68). Гораздо более надежным вспомогательным средством при решении этого вопроса являются старые турецкие тексты, написанные латинским, греческим и армянским алфавитами.

Палатализация *l* под влиянием сонорного *y* подкреплена только одним примером: *yaylâ*, произносится «яйля» (стр. 70); это не подтверждается «Орфографическим справочником» («İmlâ kılavuzu», Istanbul, 1941 [обл.: 1942]), где данное слово приводится в форме *yayla* (стр. 218), т. е. должно произноситься «яйла».

Рассматривая изменения согласных по нёбности - ненёбности, автор приходит к важному выводу: нёбная ассимиляция охватывает не только гласные, но распространяется также на слог и слово в целом, а потому, с некоторыми поправками, можно говорить о нёбном сингармонизме гласных и согласных в слове (стр. 73). Этот важный момент находится в прямом отношении к природе тюркского сингармонизма (см. выше).

Заканчивая рассмотрение процесса озвончения ~ неозвончения согласных в ауслауте (и в этом подразделе сделан ряд интересных наблюдений), автор приходит к выводу: «В преобладающем большинстве случаев в интервокальной позиции происходит не озвончение конечного глухого смычного основы, а восстановление звонкости, исторически утерянной смычным согласным вследствие его конечной позиции в слове. Этимологически глухие смычные согласные между гласными или сонорным и гласным исторически не озвончались» (стр. 78).

Это заключение, важное само по себе, не подтверждено указанием на исторические примеры или специальные исследования, что в значительной мере ослабляет его доказательную силу. Замечено, что озвончение в односложных словах происходит, как правило, в тех случаях, когда гласный исторически был долгим: *at-ı* «его лошадь», *ad-ı* «его имя» <*aat* «имя»[6].

Ряд тонких наблюдений читатель найдет и в разделе «Ослабление и выпадение фонем» (стр. 80 и сл). Рассматривая редукцию начального гласного в формах *idi*, *imiş*, *ise*, *iken*, автор замечает: «Начальный *i* во всех подобных формах ослабляется и переходит в полугласный, обозначаемый на письме буквой *y* — знак среднеязычного сонор-

---

[1] См. Van Ginneken, La reconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité, Amsterdam, 1939; см. также рецензию на эту работу В. Н. Ярцевой (ИАН ОЛЯ, 1940, № 3).

[2] Ш. Сами, Турецкий словарь (Камус -у-тюрки), Константинополь, 1900, стр. 1263 [на турецк. яз.].

[3] Д. А. Магазаник, Турецко-русский словарь, 2-е изд., М., 1945, стр. 394.

[4] Л. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. II, СПб., 1871, стр. 258.

[5] Там же, стр. 201.

[6] См. A. Cevat Emre, Türkçede uzun vokaller, «Türk dili», Seri III, № 10—11, 1947, стр. 1—2.

ного. Примеры: *yazıcıydı* (из *yazıcı idı*...) «он был писателем» (стр. 81). Более значительная редукция, как отмечается на той же странице, наблюдается при сочетании послелога *ile* с именами, снабженными аффиксами принадлежности 3-го лица: *gelmesile* < *gelmesile* < *gelmesiyle* < *gelmesi ile* «с его приходом».

Ослабление начального *i* в приведенных глагольных формах и послелоге *ile*, наблюдаемое в сочетании с гласным исходной основы, завершается образованием нисходящего дифтонга: *talebe idi*>*talebeydi* «он был студентом», *balta ile*>*baltayla* «топором»; ср. стр. 103—104.

Автору удалось сделать интересные наблюдения, касающиеся ослабления и выпадения согласных. Несколько неожиданным является термин «соединительный согласный *y*», который, по мнению автора, мог бы именоваться и «разделительным» (стр. 88); этот согласный во всех примерах, приведенных на указанной странице, выступает субститутом согласных γ, *g* (см. еще стр. 96); в случаях, приведенных на стр. 97, средненязычный сонорный *y* возникает по аналогии с турецкими образцами.

Значительный интерес представляет раздел, посвященный образованию дифтонгов (стр. 103—105); это мало изученное на материале турецкого языка явление получило в рецензируемой книге четкое освещение.

Говоря о долготе гласных (стр. 106 и сл.), автор задает вопрос: имеются ли в турецком языке долгие гласные в качестве отдельных фонем? На этот вопрос он отвечает: «Многочисленные факты позволяют ответить на поставленный вопрос положительно» (стр. 111). Какие же это факты? Наличие таких форм, как *ağla* (произносится «ала») «плачь» и *ala* «пестрый». Этот и им подобные примеры, которые теперь обычно приводятся в качестве доказательства наличия в турецком языке долгих гласных, не до конца убеждают, так как на мой слух сочетание *ağ*, например, воспринимается не как чистое $\bar{a}$, но как $a\frac{x}{g}$. Проблема долгих гласных в турецком языке, равно как и другие важные вопросы турецкой фонетики, могут быть разрешены только при помощи экспериментальных исследований.

Стечение согласных (стр. 113 и сл.) довольно хорошо изучено; однако и в этом разделе мы находим ряд наблюдений, детализирующих уже известные положения; к ним относятся, например, установление характера протетического гласного и др.; на стр. 117 указывается, что «вспомогательный гласный появлялся в ограниченном числе случаев также перед сонорными *r* и *l*, если за ними следовал узкий гласный» (разрядка моя. — *А. К.*); ср., однако, *iramazan* < ар. *ramazan*; следовало бы указать, что определяющим является не качество гласного, следующего за этими согласными, а характер самих согласных: сонорные *l*, *r* в словах тюркского корня в анлауте не встречаются, а потому и возникает необходимость в соответствующей фонетической обработке таких слов.

В разделе, посвященном чередованию фонем (стр. 120 и сл.), особый интерес представляют наблюдения над явлением позиционных ограничений в употреблении фонем и над их комбинаторными чередованиями.

Изучение турецкого ударения имеет уже довольно длительную историю; тем не менее до сих пор многое в природе и характере ударения в турецком языке не ясно. Возникают даже далеко идущие сомнения: «...gibt es im Türkischen keinen Akzent?»[1]. Расхождения во взглядах по основным вопросам ударения в турецком языке, сомнения и пр. связаны с теми же обстоятельствами, что и в фонетике, т. е. с недостаточной изученностью проблемы ударения при помощи соответствующей аппаратуры.

Раздел об ударении начинается с очень полезной справки по истории изучения турецкого акцента; в нем излагаются основные теории ударения в турецком языке. Свою точку зрения на природу турецкого ударения Э. В. Севортян формулирует так: «В турецком языке ударение является преимущественно экспираторным или динамическим. Помимо него в слове имеется также музыкальное или тоническое ударение» (стр. 130). Экспираторное ударение распадается на главное и второстепенное (стр. 131). Автор убедительно показывает, что положение К. Нильсена о решающем значении протяженности слогов и полнозвучии гласного не подтверждается, как не подтверждается и мнение И. Куноша, Г. Яринга и других тюркологов о начальной позиции основного экспираторного ударения (стр. 131). Раздел «Ударение» содержит много ценных наблюдений, результаты которых изложены в стройной системе хорошо подобранного и систематизированного фактического материала.

Э. В. Севортян добросовестно использовал все имеющиеся в его распоряжении возможности: личные наблюдения и материалы, представленные в специальной литературе; в результате его усилий тюркологи, специалисты по общему языкознанию и языкам других семей, преподаватели турецкого языка и студенты получили первое по-

---

[1] См. B. Collinder, Gibt es im Türkischen keinen Akzent?, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 95, Heft 2 (N. F. Bd. 20), 1941.

собие по такому мало разработанному, но чрезвычайно важному разделу турецкого языкознания, как фонетика современного турецкого литературного языка. Книга Э. В. Севортяна подводит итог всему тому, что сделано в области турецкой фонетики. Дальнейшее движение в этой области связано с переходом на современные методы фонетических исследований — изучение основных вопросов фонетики турецкого языка на основе экспериментальных данных.

А. Н. Кононов

Erkki Itkonen. **Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen,** «Finnisch-ugrische Forschungen», Bd. XXXI, Heft 3, Helsinki, 1954, стр. 149—345.

Появление работы Эркки Итконена, посвященной столь плохо разработанной проблеме, какой является вокализм финно-угорских языков, следует всемерно приветствовать. Э. Итконен является одним из немногих специалистов, занимающихся изучением истории гласных звуков финно-угорских языков. Из-под его пера вышел уже ряд ценных работ по этому вопросу [1]. Рецензируемая работа посвящена изучению истории гласных марийского и пермских языков; она содержит в себе, по существу говоря, два самостоятельных исследования (о вокализме марийского языка и о вокализме пермских языков), в известной мере объединенные фактическим языковым материалом, рассматриваемым в работе. Мы намерены коснуться в нашей рецензии лишь той части работы, в которой говорится о вокализме пермских языков, вторую часть работы (о вокализме марийского языка) мы не рассматриваем, так как считаем себя недостаточно компетентными в вопросах марийского языкознания.

Э. Итконен представляет себе систему гласных фонем первого слога допермского (vorpermisch) и общепермского (urpermisch) языка-основы в следующем виде:

Допермский	Общепермский
a *ä*	*a* *ɛ*
o — *ō* *e* — *ē*	*o* *ȯ* *e*
u — *ū* *ü* *i* — *ī*	*o̯* *ȯ̯* *e̯*
	u *i̯* *i*

Таким образом, в допермском языке — вернее, в общеприбалтийско-пермском языке-основе (эти же гласные реконструируются для домарийского языка)— предполагается существование гласных следующих видов: долгие и краткие, переднего ряда и заднего ряда (гласных среднего ряда не было), нижнего, среднего и верхнего подъема. Из этой допермской системы гласных выработался общепермский вокализм. В общепермском языке, по мнению Итконена, произошли тройного рода изменения, которые коренным образом поколебали допермскую систему гласных: 1) исчезли различия между долгими и краткими, остались только краткие; 2) прежняя «двухрядность» гласных (заднерядные и переднерядные) заменилась «трехрядностью»— появились среднерядные гласные; 3) кроме трех ступеней подъема гласных (открытые, полузакрытые и закрытые), выработалась четвертая ступень, которая лежала между полузакрытыми и закрытыми гласными (выражаясь нашей терминологией, появились закрытые гласные среднего подъема).

Эти две реконструируемые системы гласных (допермская и общепермская), безусловно, представляют интерес как рабочая гипотеза. Однако они обе требуют уточнения и, главное, увязки между собой, а также соответствующей аргументации предполагаемых звуковых изменений. Между тем звуковые изменения, происшедшие в допермской системе гласных и приведшие, по мнению Итконена, к общепермской звуковой системе, в рецензируемой работе не аргументированы или лишь частично (в весьма

---

[1] «Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen» («Finnisch-ugrische Forschungen», Bd. XXIX, Heft 1—3, Helsinki, 1946); «Vokaalikombinaatiot ja vartalotyypit» («Virittäjä», 1948, стр. 129—144); «Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus» (Helsinki, 1939); «A finnugor nyelvek hangsulyviszonyairól» [«Nyelvtudományi közlemények», LVI (1954. évfolyam), Budapest, 1955] и т. д.

ограниченных размерах) аргументированы. Поэтому между допермской и общепермской системами гласных получается разрыв, целая пропасть.

Чем объяснить этот разрыв? Причина разрыва между этими двумя реконструируемыми системами гласных заключается в том, что общепермская система реконструируется на основе фактов пермских диалектов, а допермская система гласных воспроизводится на основании данных прибалтийскофинско-саамских языков (и отчасти лишь марийского и мордовского) без достаточного учета фактов пермских языков. Получается, что эти две системы поставлены друг против друга в некоторой степени искусственно.

Вокализм прибалтийскофинских языков, вне всякого сомнения, носит весьма архаический характер, за последние две тысячи лет — как показывают германские заимствования — гласные звуки этих языков мало изменились. Однако это не дает основания считать гласные, реконструируемые для прибалтийскофинского языка-основы, звуками допермского и домарийского языков, ибо в доприбалтийскофинском языке-основе в более раннюю эпоху могли произойти изменения гласных и, быть может, существенные.

Все было бы в порядке, если бы удалось установить закономерные звуковые соответствия между допермской и общепермской системами гласных. Однако в большинстве случаев нельзя установить правильного соответствия между звуками допермского и общепермского языков: один и тот же звук допермского языка обычно соответствует разным звукам общепермского языка. Например, допермское *а* соответствует общепермским *u* и закрытому *ǫ*. Этим же звукам (*u*, *ǫ*) общепермского языка соответствует также допермское *o*; допермское *e* соответствует общепермским *ǫ*, *o*, *e* и т. д. (см. стр. 322—325)[1]. Причины же разнобоя в звуковых соответствиях неясны. Заслуживает большего внимания попытка Э. Итконена увязать историю гласных пермских языков с вокализмом второго слога (см. стр. 278).

Нельзя считать безупречной также и общепермскую систему гласных, реконструируемую Э. Итконеном. Прежде всего необходимо сказать несколько слов о закрытых гласных среднего подъема, обозначаемых Итконеном через *ǫ̂*, *ǫ̂*. У нас нет уверенности в том, что в с е эти гласные имелись в общепермском языке-основе. В общекоми языке они действительно имелись. Надо быть осторожным в реконструировании этих гласных для общепермского языка потому, что в удмуртском языке имеются в целом одни и те же соответствия как общекоми открытым *o*, *ö*, *e*, так и закрытым. Может быть, в диалектах удмуртского языка в будущем удастся обнаружить различие в соответствиях коми открытым и закрытым гласным среднего ряда; в настоящее время диалекты удмуртского языка плохо изучены, поэтому трудно что-нибудь определенное сказать об этих гласных. Новые данные удмуртской диалектологии позволяют говорить лишь об одном из трех закрытых гласных — о закрытом *ö* (*ǫ*).

Мы можем говорить о двух гласных фонемах *o* общепермского языка на том основании, что в удмуртском диалекте д. Покрово-Урустамак (по-удмуртски Урсыгурт) Бавлинского района Татарской АССР (бывш. Самарской губ., Бугулинского уезда) общекоми открытому *o* последовательно соответствует *y*, а общекоми закрытому *ǫ̂* соответствует *ӥ* (*ш*)[2]. Приведем фактический языковой материал.

в.-сыс. [3] *гöб*, ост. д. *гоб* «губчатый гриб»; удм. лит. *губи*, урс. *гӥби*; из др.-чув. **кöмВа*, ср. чув. *кəтВа* (Вихм. [4]), *кӑмпа* [5];

в.-сыс. *гöв*, ост. д. *гоз* «пара», к.-язьв. *гӥзйа* «чета»; удм. лит. *куз*, урс. *кӥз*;

к.-язьв. *гӥрə'öт-*, сыкт. *горə'öд-* «отрыгнуть»; удм. лит. *гурӥ́ыны*, урс. *гӥрӟöнь*;

к.-язьв. *гӥрелт-* «рявкнуть», к-язьв. *гӥрəн-* «плакать», сыс. *горыны* «плакать»; удм. лит. *гур бöрдыны* «плакать навзрыд», *гуретыны* «шуметь, галдеть», урс. *гӥр бердэнь*, *гӥрəтöнь*;

в.-сыс. *кöд*, к.-язьв. *кӥд*, ост. д. *код* «пьяный»; удм. лит. *куд*, урс. *кӥдӟəм*;

в.-сыс. *йöкуш*, сыкт. *йокыш* «окунь»; удм. лит. *юш*, урс. *д'ӥш*;

---

[1] В тексте в скобках указаны страницы рецензируемой работы.

[2] Данные по этому диалекту нам сообщил научный сотрудник Удмуртского научно-исследовательского института истории, языка и литературы (г. Ижевск) И. В. Тараканов.

[3] В настоящей статье приняты следующие сокращения названий диалектов: диалекты коми языка: выч.— вычегодский, в.-сыс.— верхнесысольский, к.-язьв.— коми-язьвинский, луз.— лузский, н.-иньв.— нижнеиньвенский, к.-перм.—коми-пермяцкие диалекты, сыс.— сысольский, сыкт.— сыктывкарский, ост. д.— остальные коми-зырянские и коми-пермяцкие диалекты; урс.— урсыгуртский диалект удмуртского языка (Бавлинский р-н Тат. АССР); каз.— казанский диалект удмуртского языка.

[4] См. Y. Wichmann, Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen, Helsingfors, 1903.

[5] См. В. Г. Егоров, Чувашско-русский словарь, 2-е изд., Чебоксары, 1954, стр. 79 [тит. л. г. обл.—на чуваш. яз.].

в.-сыс. *кôл'та*, сыкт. *кол'та* «сноп»; удм. лит. *культо*, урс. *кӱл'то*; из др.-чув. * *кôл'тӑ*; ср. совр. чув. *кӧD'е, кэl'De, кэlDӑ кĕлте*[1].

в.-сыс. *кôра: кôра дод'*, к.-перм., сыс., луз. *кора дод'* «обитые лубом сани»; удм. лит. *кур.*, урс. *кӱр* «луб, лубок»;

в.-сыс. *кôс*, к.-язьв. *кӱск*, ост. д. *кос* «поясница»; удм. лит. *кус* «поясница», урс. *кӱс-картон* «пояс»;

в.-сыс. *лôл*, к.-язьв. *лӱл*, ост. д. *лол*-«душа»; удм. лит. *лул* «душа», урс. *лӱл*;

к.-язьв. *мӱш: мал'а-муш* (также к.-язьв. *мош*) «пчела», к.-перм. *мош*; удм. лит. *муш*, урс. *мӱш*;

в.-сыс. *н'ôл'*, к.-язьв. *н'ӱл'*, ост. д. *н'ол'*; удм. лит. *ньыль*, урс. *н'ӱл'* «четыре»;

в-сыс. *ôс'та*, к.-язьв. *ӱс'т*-«открытый», удм. лит. *усьтыны*, урс. *ӱс'тэнэ* «открыть»;

в.-сыс. *ôр-*, к.-язьв. *ӱр-*, ост. д. *ор-* «оборваться»; удм. лит. *урыны*, урс. *ӱрэнэ*;

в.-сыс. *пôж*, к.-язьв. *пӱж*, ост. д. *пож* «решето»; удм. лит. *пуж*, урс. *пӱж*;

в.-сыс. *пôн*, к.-язьв. *пӱн*, ост. д. *пон* «собака»; удм. лит. *пуны*, урс. *пӱнэ*;

в.-сыс. *рôй*, сыкт. *рой* «древесный мох»; удм. лит. *ӝуй*, урс. *ʒӱй*;

в.-сыс. *рôч'*, к.-язьв. *рӱч'*, ост.д. *роч'* «русский»; удм. лит. *ʒуч*, урс. *ʒ'ӱс'*;

в.-сыс. *с'ô*, ост. д. *с'о* «сто»; удм. лит. *сю*, урс. *с'ӱ*;

в.-сыс. *сôʒ'*, ост. д. *соʒ'*; удм. лит. *сузь*, урс. *сӱз'* «пригоршня»;

в.-сыс. *сôй*, ост. д. *сой* «рука от плеча до кисти»; удм. лит. *суй*, урс. *сӱй*;

в.-сыс. *с'ôр*, сыкт. *с'ор* «шест для вешанья»; удм. лит. *сюры* «насест, перекладина», урс. *с'ӱрэ*;

в.-сыс. *тôш*, к.-язьв. *тӱш*, ост. д. *тош* «борода»; удм. лит. *туш*, урс. *тӱш*;

к.-язьв. *ӱрас'нэ*, н.-иньв. *ôрас'ны* «заниматься полкой»; удм. лит. *урыны*, урс. *ӱрэнэ* «полоть»;

к.-язьв. *шӱм*, сыс., выч. *шом* «уголь»; удм. лит. *шум* «сажа», урс. *шӱм*.

Имеются отдельные исключения, когда общеком закрытому *ô* в урсыгуртском соответствует не *ӱ*, а *у*, например:

в.-сыс. *кôпрэс'*-«кланяться», урс. *купэрскэнэ* «согнуться»;

к.-язьв. *кӱмич'* (к.-перм. *комиʒ'*— Вид.) «зеленый лук», урс. *кумэз'* «дикий чеснок»;

в.-сыс. *ôз*, к.-язьв. *ӱз* «земляника», удм. лит. *узы*, урс. *уэз*;

в.-сыс. *пôда* «пеший», к.-язьв. *пӱдэн*, сыкт. *поддэн* «пешком», удм. лит. *пыдын*, урс. *пудэн*;

в.-сыс. *с'ôôд-*, к.-язьв. *с'ӱд-*, сыкт. *с'ôôд-* «дать корм скоту», удм. лит. *сюдыны*, урс. *с'удэнэ* «накормить»;

в.-сыс. *ч'ôрыд*, к.-язьв. *ч'ӱрэт* «твердый, черствый», удм. лит. *чурыт*, урс.' *т'урыт*.

Приведем примеры на звуковые соответствия общеком открытому *о*:

к.-язьв., в.-сыс. *бол'*: *ва-бол'* «пузырь», удм. лит. *пулы*, урс. *пул'е*;

к.-язьв. *борд* «крыло, плавник», удм. лит., урс. *бурд*;

в.-сыс. *гожôм*, к.-язьв. *гожэм* «лето», удм. лит., урс. *гужэм*;

к.-язьв. *гор* «печка», удм. лит., урс. *гур*;

в.-сыс., к.-язьв. *горт*, ост. д. *горт* «дом», удм. лит., урс. *гурт* «деревня»;

к.-язьв. *дом* «привязь», удм. лит. *думыны*, урс. *думэнэ* «привязать»;

в.-сыс., к.-язьв. *дон* «цепа», удм. лит., урс. *дун*;

к.-язьв. *дôрэш* «край, ребро», удм. лит., урс. *дур*;

к.-язьв. *йон* «сильный», удм. лит. *юн*, урс. *д'ун*;

к.-язьв., н.-иньв. *коба* «прялка (ручная)», удм. лит., урс. *кубо*; из др.-чув. **коба*[2];

к.-язьв. *кой* (в.-сыс. *кôй*) «лопата», урс. *куй*;

к.-язьв., в.-сыс. *кок* «нога», удм. лит., урс. *кук*;

к.-язьв., в.-сыс. *кол-* «быть нужным», удм. лит., урс. *кулэ* «надо, нужно»;

к.-язьв., в.-сыс. *кор-* «просить»; урс. *курэнэ*;

к.-язьв., в.-сыс. *мол* «дело», удм. лит., урс. *муе* «причина, надобность»;

к.-язьв. *мôрос* «грудь», удм. лит., урс. *мурэс*;

к.-язьв., в.-сыс. *морт* «человек», удм. лит., урс. *мурт*;

к.-язьв., в.-сыс. *ов* «я не», *ов* «он не» и т. д., удм. лит., урс. *уе*, *уэ*;

к.-язьв., в.-сыс. *ол-* «жить», удм. лит. *улыны*, урс. *улэнэ*;

к.-язьв. *ордлэ* «ребро», удм. лит., урс. *урдэс* «бок»;

к.-язьв. *пожем* (Генеп) «сосна», урс. *пужем*;

к.-язьв. *поэ* «гнездо», удм. лит., урс. *пуэ*;

---

[1] См. В. Г. Егоров, Чувашско-русский словарь, стр. 83.

[2] См. Y. Wichmann, указ соч.,стр. 75—76. В современном чувашском языке этого слова нет, Вихман на основании данных других тюркских языков (татарское, киргизское, башкирск. *kaba*) и звукового соответствия чув. *о(у)* // др.-тюрк. *а* воспроизводит форму чувашского слова **kuba*//**koba*.

к.-язьв., в.-сыс. *пон*, выч. *пом* «конец», удм. лит., урс. *пум*;
к.-язьв., в.-сыс. *поҫ* «жердь», урс. *пуш*;
к.-язьв. *сорӧт-* «мешать, перемешивать», урс. *сурано*;
к.-язьв. *сот-* «жечь», удм. лит., урс. *сут-*;
к.-язьв. *торта* «приспособление для собирания обмолоченного зерна на гумне (дышло, на конце которого прибита доска)», каз. *турто*[1]; из др.-чув. * *торта*, ср. совр. чув *torDa*, *turDa* (Вихм.).
к.-язьв. *ч'ож* «дядя по матери», удм. лит. *чуж-*, урс. *ҫуж*;
к.-язьв. *ч'от-* «хромать», удм. лит., урс. *ч'ут* «хромой»;
к.-язьв. *шог* «печаль, болезнь», удм. лит., урс. *шуг* «трудно, неловко»;
к.-язьв. *шонди* «солнце», удм. лит. *шунды*, урс. *шундо*;
в.-сыс. *шоныд*, к.-язьв. *шонэт* «тепло», удм. лит. *шуныт*, урс. *шунэт*;
к.-язьв. *шор* «ручей», удм. лит., урс. *шур* «река».

Приведенный языковой материал ясно указывает на то, что различие между открытым и закрытым *о* восходит к общепермскому языку-основе.

Косвенное указание на такое различие рассматриваемых гласных фонем дает предполагаемый оригинал заимствований: в тех чувашских заимствованиях общепермского языка, в которых мы видим общеком закрытое *ӧ* и урсыгуртское *ӱ* (в.-сыс. *кӧл'та* — урс. *кӱл'то* «сон»; в.-сыс. *гӧб* — урс. *гӱби* «гриб»), в чувашском языке встречаются редуцированные гласные (чув. лит. *кӗлте*, *кӑмпа*), причем эти гласные в верховом (северном, окающем) диалекте чувашского языка являются лабиализованными и восходят к лабиализованным гласным полного образования (в низовом, укающем, диалекте они давно уже делабиализировались в *ӑ* и *ӗ*)[2]. В словах же с общеком открытым *о* и урсыгуртским *у* в чувашском языке мы находим гласные полного образования *о* или *у*, чередующиеся по диалектам (*торта* //*тупта*, * *koBa* // *kyBa* — вероятно, в общепермский язык эти слова попали из северного *о*-диалекта древнечувашского языка).

Редуцированным гласным чувашского языка (лабиализованным *ӗ*, *ӑ* верхового диалекта и нелабиализованным *ӗ*, *ӑ* низового диалекта) в других тюркских языках соответствуют более узкие гласные (*у*, *ӱ*, *о*, *ӧ*), чем гласным полного образования *о* — *у* (верх. *о*, низ. *у*), которым в других тюркских языках соответствует широкий гласный *а*, *ä* (чув. верх. *йӗх*, чув. низ. *йӑх*, тюркск. *ук* «род»; чув. верх *кӧнӗк*, чув. низ. *кӑнӑк*, тюрк. *конук* «пена»; чув. верх. *олма*, чув. низ. *улма*, татар. *алма* «яблоко»; чув. верх. *торта*, чув. низ. *тупта*, татар., башк. *тäртä*). Повидимому, чувашский звук *о* — *у* восходит к древнему долгому *а*, звуку *а* в сильном положении. Вероятно, звук этот был частично лабиализованным, и лабиализованность его в чувашском языке еще более усилилась по диалектам[3]. Это обстоятельство позволяет сделать предположение о том, что в тех диалектах древнечувашского языка, из которых были заимствованы общепермским языком рассматриваемые нами слова, имелось двоякого рода *о*: 1) закрытое *ô* (*ô*) (из общетюркского *о*, *ӱ*), перешедшее в современных чувашских диалектах в редуцированное *ӧ* (*ӧ̆*) — в верховом и *ӑ* (*ӑ̆*) — в низовом; 2) открытое *о* или лабиализованное *а* (из общетюркского *а*), перешедшее в современном чувашском языке в *о* (верх.) и *у* (низ.)[4].

---

[1] См. B. Munkácsi, A votják nyelv szótára, füzet 1—4, Budapest, 1890—1896, [на венг. яз.].

[2] См. В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении, ч. I, Чебоксары, 1954, стр. 71.

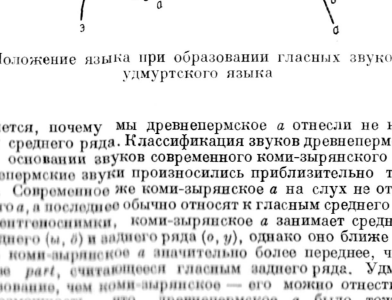
[3] Г. И. Рамстедт по этому поводу пишет, что чувашское *ô* ~ *ц* произошло из полудолгого ударного *à* через промежуточные стадии *à* > *ä̂* > *ô*, причем этот звуковой процесс (*à* > *ô* ~ *ц*) в чувашском языке протекал позже, чем *j* > *s'*, *č* > *s'*; однако новые татарские заимствования уже не попали под действие этого звукового закона. Рамстедт приводит также примеры: турецк. *jäš* «слеза» = чув. *s'ӱl* (*s'ol*), турецк. *jabaq* «жеребенок» = чув. *jцBaχ*, турецк. *čana* «сани» = чув. *s'una*, каз. *čaq* «время» = чув. *t'š'цχ* и др. (G. J. Ramstedt, Zur Frage nach der Stellung des tschuwassischen, «Jour. de la Société Finno-ougrienne», XXXVIII, 1, 1922—1923, §§ 7, 8).

[4] С аналогичным явлением мы встречаемся и в других древнечувашских заимствованиях, встречающихся только в удмуртском языке: если в чувашском языке стоит редуцированный гласный, соответствующий узкому гласному других тюркских языков, то в урсыгуртском диалекте удмуртского языка мы обычно имеем *ӱ* (правда, бывают отдельные исключения): 1) удм., урс. *бӱс* «туман, дымка, пар» < чув. *pns*, *pus* (Зол.); башк. *büs*, алтайск. *pus*, османск. *pus*; коми *бус* «пыль» следует считать русским заимствованием (Вихм.); 2) удм., урс. *кӱдо* «сват» < чув. *χoDa* (Ашм.), *xudi* (Альквв.); татар. *koda* (*kodo*), кирг. *kuda* (Вихм.); 3) удм., урс. *кӱно* «гость» < чув. *χna* (Ашм.); татар., башк. *kynak*, османск. *kopu* (Вихм.); 4) удм., урс. *чӱчо* «болячка в углах рта» < чув. *t'š'ӱ t'š'ӱ* (Ашм.); мишарск. диал. * *сӧсӧ* (Вихм.).

Нужно сказать, что словарные заимствования могли бы иногда внести ясность при разрешении весьма запутанных вопросов вокализма пермских языков. К сожалению, исследователи этой проблемы (Д. В. Бубрих, В. Штейниц, автор рецензируемой работы и др.) не обращают должного внимания на этот ценный источник исторической фонетики.

Говорить о двух (закрытом и открытом) *ö* (*o*) и *э* общепермского языка у нас пока нет никаких оснований.

Второе наше замечание к общепермской таблице звуков, реконструируемых Э. Итконеном, заключается в следующем. Э. Итконен считает общепермские *ы* (*i̯*), *ö* (*ȯ*) и закрытое *ö* (*ę̇*) гласными среднего ряда, а звук *а* — гласным заднего



Положение языка при образовании гласных звуков удмуртского языка

ряда. Он удивляется, почему мы древнепермское *а* отнесли не к гласным заднего ряда, а к гласным среднего ряда. Классификация звуков древнепермского языка нами производилась на основании звуков современного коми-зырянского языка; предполагалось, что древнепермские звуки произносились приблизительно так же, как в современном языке. Современное же коми-зырянское *а* на слух не отличается от русского литературного *а*, а последнее обычно относят к гласным среднего рода[1]. Собственно, как показывают рентгеноснимки, коми-зырянское *а* занимает среднее положение между гласными среднего (ы, *ö*) и заднего ряда (*о*, *у*), однако оно ближе к среднему ряду. Во всяком случае коми-зырянское *а* значительно более переднее, чем, например, английское *а* в слове *part*, считающееся гласным заднего ряда. Удмуртское *а* имеет более заднее образование, чем коми-зырянское — его можно отнести к заднему ряду. Не исключена возможность, что древнепермское *а* было тоже заднего ряда. Вообще в удмуртском языке, по крайней мере в средних диалектах, так называемые гласные среднего ряда ы (*i*) и *ö* (*ę*) являются звуками более заднего образования, чем в коми языке. О заднем образовании их ясно говорит прилагаемая нами таблица, на которой указано положение языка на основании рентгеноснимков[2]. Эта таблица свидетельствует также о том, что в современном удмуртском языке имеется налицо «двухрядная» система гласных: передние (*и*, *э*) противопоставляются задним (*у*, *о*, *а*, неогублённое *ö*, ы). Может быть, такая двухрядная система была и в общепермском языке, а гласные среднего ряда развились позже и лишь в отдельных

Если же в чувашском языке стоит *о* — *у* (по диалектам), соответствующий широкому гласному других тюркских языков, то в урсыгуртском диалекте мы имеем *у*: 1) удм., урс. *букро* «навозный жук» < чув. *pukra* (Ашм.), *poxra* (Алькв.); татар. *bakra*, *bakyra*, башк. *bakra* (Вихм.); 2) удм., урс. *буатэр* «свояченица, вторая жена» < чув. *pulDə̑r*, *polDə̑r* (Ашм.); татар. *balgyz*, башк. *balgyl*, кирг. *balgyz*, османск. *balgyz*, якутск. *balys* (Вихм.); 3) удм., урс. *буся* «поле» < чув. *puz?*, *pozu* (Ашм.); татар. *basyй*, *basu*, башк. *bagyй* (Вихм.); 4) удм., урс. *с'уло* «плесть» < чув. *s'ola* (Зол.); якутск. *talax* (Зол., Вихм.); 5) удм., урс. *с'ур*: *с'ур-анай* «мачеха» < чув. *s'uri* (Ашм.), *s'ora* (Зол.): татар. *jarty* (Вихм.); 6) удм., урс. *укс'о* «деньги» < чув. *uks'a* (Ашм.), *oks'a* (Зол.); татар., алт. *akč'a* (Вихм.); 7) удм., урс. *улошо* «мерин» < чув. **ulaža*, **olaža*; *laža* (Ашм.); татар., османск. *alaša* (Вихм.); 8) удм., урс. *уробо* < чув. *uraBa*, *oraBa* (Ашм.); татар., кирг., крымск. *arba*, османск. *araba*, *arba* (Вихм.).

[1] См., например, Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I, М., 1945, стр. 22—23.

[2] Снимки были сделаны в 1954 г. в рентгеновском кабинете Тартуского университета под руководством проф. П. А. Аристэ. Объектом была аспирантка-удмуртка АН СССР Т. И. Тепляшина родом из д. Малая Кизня Дебёсского р-на Удм. АССР.

диалектах (преимущественно в коми) пермских языков под известным влиянием фонетики русского языка.

Звук *ö* (*ę*), встречающийся в коми-зырянских, коми-пермяцких и, повидимому, во всех удмуртских диалектах Удм. АССР и являющийся нелабализованным (Д. В. Бубрих называет его слабо лабиализованным[1] по недоразумению), первоначально, безусловно, был лабиализованным и относился к гласным переднего ряда; лишь после утраты лабиализации он отодвинулся в своей артикуляции назад. Этот звук как лабиализованный гласный и теперь встречается в окраинных, архаических диалектах пермских языков (например, в коми-язьвинском, удмуртских диалектах Тат. АССР и некоторых других удмуртских говорах). Наши наблюдения показывают, что этот звук акустически очень близок к немецкому *ö*. Между прочим в этих же диалектах (коми-язьвинском и удмуртских Тат. АССР) встречается и другой лабиализованный гласный *ÿ*, близкий к немецкому *ü*. Знаменательно, что системы гласных этих двух диалектов, отделенных друг от друга тысячекилометровым пространством, абсолютно тождественны: в обоих диалектах имеются гласные *а*, *о*, *у*, *е*, *ÿ*, *u*,*э*, огубленное *ö*. Это нельзя объяснить случайностью; повидимому, в этих диалектах сохранилась система гласных более ранней стадии развития. Интересно также отметить, что урсыгуртские удмурты уже несколько сот лет живут изолированно от остальных удмуртов.

Третье наше замечание касается звука *ы*. Э. Итконен предполагает, что этот звук в общепермском языке был узким (верхнего подъема). Действительно, в современных коми-зырянских, коми-пермяцких и большинстве удмуртских диалектов этот звук является узким. Между тем в более а р х а и ч н ы х диалектах (коми-язьвинском, а также урсыгуртском, глазовском, бесермянском, уфимском и некоторых других диалектах удмуртского языка) мы встречаем на месте *ы* звук заднего ряда нижнего подъема, обозначаемый нами вслед за Генецом буквой *ɵ* (Вихман обозначает его перевернутым *ы* — ?) Э. Итконен считает, что *ɵ* развилось из *ы*. Сама безударность этого звука, по мнению Итконена, указывает на то, что он некогда был узким (между прочим, в коми-язьвинском диалекте у з к и е гласные *и*, *у*, *ÿ* могут быть и ударными). Д. В. Бубрих тоже считал удмуртское диалектное *ɵ* вторичным, развившимся из *ы* в процессе ослабления произношения, редукции его; «с этим связано понижение образования *ы*»[2]. Нам непонятно, почему такая редукция *ы* произошла именно в архаичных, окраинных диалектах, в значительной мере изолированных от говоров основной массы населения? А не лучше ли предположить, что звук *ɵ* был более первичным?

Вопрос о редуцированных гласных общекоми языка требует дальнейшего исследования. Может быть, действительно нужно говорить не о редуцированных гласных, а о количественных различиях иного порядка, имевших место в системе гласных общекоми (а, может быть, и общепермского) языка. Система ударения коми-язьвинского диалекта во всяком случае требует своего объяснения. Кстати, не было ли в общепермском (а, может быть, и общефинно-угорском) языке-основе ударение свободным, нефиксированным, аналогичным эрзя-мордовскому и коми-зырянскому ударению? Нефиксированное ударение служит хорошей почвой для развития самых разнообразных типов ударения (под влиянием соседних языков, под влиянием количественных и качественных изменений в составе гласных звуков и т. д.), что мы и наблюдаем в современных финно-угорских языках. Вопрос акцентуации является весьма сложным, он требует специального исследования, в первую очередь изучения истории ударения в каждом отдельном языке. Без учета исторической акцентуации отдельных финно-угорских языков голое сравнение системы ударения современных финно-угорских языков вряд ли даст какие-нибудь положительные результаты для реконструкции ударения финно-угорского языка-основы, ибо система ударения большинства современных финно-угорских языков, повидимому, представляет собой продукт позднейшего развития.

В вопросах исторической фонетики пермских языков еще очень много неясного. Нам, например, до сих пор не ясна история начального зыр. *ɵо-* (в.-сыс. *ö-*), перм. *о-*, к.-язьв. *ÿ-*. Мы в свое время пытались объяснить появление начального *ɵ-* в зырянских диалектах дифтонгизацией закрытого *ö-* (*ö-* > *ÿö-* > *ɵо-*), а отсутствие начального *ɵ*—отсутствием такой дифтонгизации. Однако нам было неясно, почему в одних случаях произошла дифтонгизация, а в других — нет. При этом мы пытались дифтонгизацию увязать с местом ударения. Все это делалось нами сугубо предположительно. Э. Итконен называет это предположение т е о р и е й Лыткина (см. стр. 283). Между тем этому вопросу нами посвящено было лишь несколько строк, оканчивающихся словами «однако трудно сказать что-нибудь определенное»[3].

---

[1] См. Д. В. Б у б р и х, Историческая фонетика удмуртского языка, Ижевск, 1948, стр. 18.

[2] Т а м ж е.

[3] В. И. Л ы т к и н, Древнепермский язык, М., 1952, стр. 99.

Начальное *в-* в словах типа зыр. *вож* ~ перм. *ож* «оглобля», зыр. *вом* ~ перм. *ӧм* «рот» двоякого происхождения: в одних случаях оно восходит к общепермскому **ӱô-*, а в других — к закрытому **ô-*. В следующих словах, например, начальное *в-* восходит к неслоговому *ӱ* (в коми-пермяцких, коми-язьвинских и верхнесысольском диалектах оно не сохранилось): к.-зыр. *во* «год», *вольӧс* «подстилка», *вомӧн* «поперёк», *вож* «оглобля», *ворон* «черенок», к.-язьв. *ӱти-* «зарыть». В начале этих слов мы видим следующее закономерное соответствие звуков:

**ӱô-*	→ верхнесысольский говор	*ô-*
	→ остальные коми-зырянские диалекты (в том числе удорск.)	*во-* < **вô-*
	→ коми-пермяцкие диалекты	*о-*
	→ коми-язьвинские диалекты	*ӱ-*
	→ удмуртские центральные диалекты	*ва-*
	→ удмуртские окраинные диалекты	*ӱа-*

В следующих словах начальное *в-*, встречающееся только в коми-зырянских диалектах, является новообразованием, возникшим в процессе утраты закрытого лабиализованного *ô-*, стоявшего в абсолютном начале слова: 1) *вом* «рот», *вон* «полог», *вош-* «заблудиться», *вос-* «тошнить»; 2) *воськов* «шаг», *восьт-* «открыть», *водз-* «перед», *войтыр* «народ». В начале этих слов мы видим совершенно иное звуковое соответствие (в первых четырех примерах в к.-язьв. стоит *ӱ-*, в остальных *ӱ*).

**ô-*	→ удорский диалект	*вӧ-*
	→ верхнесысольский диалект	*ô-*
	→ остальные коми-зырянские диалекты	*во-*
	→ древнепермский язык	*уô-*(=*ӱô-*)
	→ коми-пермяцкие диалекты	*ô-*
	→ коми-язьвинский диалект	*ӱ-*(*ӱ-*)
	→ удмуртский язык	*ы-*(*ӧ, у, а*)

В словах второй группы (*воськов, восьт-, водз,- войтыр*) после гласного первого слога стоит мягкий согласный, под влиянием которого в тех диалектах общекоми языка, от которых произошли современные коми-зырянское и коми-пермяцкое наречия, общекоми гласный заднего ряда* *ô-* перешел в закрытый гласный средне-переднего ряда* *ô-*.

Во всех этих словах (*вом, вон, вош-, вос-, воськов, восьт-, водз,- войтыр*) коми-зырянских диалектов (кроме верхнесысольского) начальное *в-* выработалось в процессе исчезновения фонемы закрытого гласного средне-переднего ряда (*ô*). Такое объяснение происхождения начального *в-* рассмотренных слов стоит близко к теории Т. Е. Уотила[1], с которой согласен и автор рецензируемой работы.

Мы коснулись в своей рецензии некоторых спорных вопросов пермского вокализма. В целом работа Э. Итконена представляет большую ценность. Автор рецензируемой работы весьма эрудированный исследователь, прекрасно знающий фактический языковой материал (в своей работе он оперирует 442 этимологиями!), и многие выводы его являются оригинальными и весьма интересными.

В. И. Лыткин

---

[1] См. T. E. Uotila, Zur Geschichte der Konsonantismus in den permischen Sprachen, Helsinki, 1933, стр. 57—70.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Известно, что в ходе развития разных отраслей науки и техники их терминология претерпевает значительные изменения. Ввиду того, что так называемое «естественное» развитие научно-технической терминологии не всегда обеспечивает получение точных, кратких и удобных терминов и — что самое главное — стройной системы терминов, возникает необходимость в специальной терминологической работе. Терминологическая работа имеет различное содержание в зависимости от области науки или техники, а также от поставленных задач. Простейшим видом терминологической работы является создание отсутствующих терминов для уже известных понятий. Такова, например, работа, проводимая в союзных республиках СССР. В других случаях осуществляется пересмотр и упорядочение имеющейся терминологии в соответствии с достигнутым уровнем знаний и создание новых терминов для вновь образующихся понятий. Такова работа Комитета технической терминологии АН СССР [1]. Изучение разных видов терминологической работы, проводимой на разных языках и в разных отраслях науки и техники, представляет большой теоретический и практический интерес.

При международном общении специалистов различных стран, помимо обычных затруднений в общении людей, пользующихся разными языками, возникают еще особые трудности. Известно, что терминологии одной и той же отрасли техники в разных странах часто находятся в неупорядоченном состоянии; передать точный смысл термина при переводе в этом случае оказывается затруднительно: каждый специалист должен знать не только термины обоих языков, но и системы понятий, сложившиеся в обеих странах. Это приводит к тому, что для международного общения специалист должен стать как бы переводчиком-профессионалом в своей области науки или техники. С расширением международного общения указанные неудобства все возрастают.

Борьба с терминологическими неудобствами при международном общении специалистов составляет цель международной терминологической работы. Попытки борьбы с этими неудобствами делались уже давно. Они велись в следующих основных направлениях: введение в употребление единого языка — одного из существующих живых или искусственного (эсперанто, окциденталь и др.) или координация национальных терминологий с упорядочением систем понятий, принятых в разных странах. История этой работы, главным образом в области естественных наук, до начала 30-х годов XX в. освещена в трудах Э. Дрезена и Е. Вюстера [2].

Начало международной терминологической работы в области техники относится к XX в., когда Международной электротехнической комиссией была намечена программа упорядочения электротехнической терминологии на нескольких языках [3]. Постепенно аналогичная работа в различных международных технических союзах получала распространение и в других отраслях техники. В 1933 г. Советский Союз предложил организовать особый центр по международной терминологической работе при тогдашней Международной ассоциации по стандартизации (ИСА). Это предложение было поддержано многими странами, и в 1936 г. был создан специальный Комитет — ИСА-37.

---

[1] См. А. М. Терпигорев, Об упорядочении технической терминологии, ВЯ, 1953, № 1.

[2] См.: Э. К. Дрезен, Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация, 3-е изд., М., 1936; Е. Вюстер, Международная стандартизация языка в технике, перевод с немецкого, Л.—М., 1935.

[3] См. Е. Вюстер, указ. соч.

К 30-м годам относится распространение эсперанто и попытки внедрения его для международного общения специалистов разных отраслей техники[1]. Первоначально основным направлением работы ИСА-37 и было создание единой для всех стран и языков искусственной международной терминологии. Ввиду выявившихся практических трудностей в применении для этой цели эсперанто, Э. К. Дрезен предложил разработать так называемый «Международный терминологический код»[2]. Известно, что для отдельных понятий и их групп в различных языках создавались искусственно слова или их элементы, например, *ампер*, *микрон*, *кило*, *милли* и т. п. В ряде случаев такие слова получили международное распространение и стали общими для многих языков. Содержание предложения Дрезена и состояло в том, чтобы для имеющихся научно-технических понятий создать слова, которые были бы приняты в качестве международных. Такие слова должны иметь международно принятое звучание и написание, быть возможно более краткими и удобными для пользования и иметь фиксированное содержание.

Построение терминологического кода должно было включать отбор: 1) корневых и аффиксальных, по преимуществу греко-латинских элементов, которые стали международными (*аэро-*, *гидро-*, *фото-*, *транс-*, *а-*, *-изм*, *-ист* и т. д.); 2) элементов, принятых в группе языков или в одном языке, и 3) элементов, взятых из систем международного языка. Пришлось бы решить также ряд других вопросов, например вопрос об алфавите. Предполагалось, что полученный код, т. е. совокупность международно принятых терминов, первоначально будет использован как средство международного общения главным образом в документах наряду с употреблением национальных терминов, подобно двойным номенклатурам (латинско-национальным) некоторых естественных наук, а также в качестве образца для построения национальных терминов. В дальнейшем код постепенно должен был стать единой международной научно-технической терминологией и заменить собою терминологии национальные.

Предложение о создании международного кода основывалось только на опыте применения эсперанто: при этом научно-техническая терминология не рассматривалась как органическая часть словарного состава того или иного национального языка. Предложение Дрезена, изложенное в самом общем виде, было вынесено на обсуждение национальных органов стандартизации и первоначально получило поддержку. Однако попытка конкретизации этой задачи, сделанная Е. Вюстером в 1936 г.[3], показала ее нереальность, и идея международного терминологического кода была оставлена.

В 1938 г., на 3-м заседании ИСА-37 в Берлине, было решено направить усилия на установление образцовых терминологий на существующих языках. В основу этой работы была положена мысль о том, что международное общение будет в значительной степени облегчено, если каждое понятие будет точно установлено и для его обозначения на каком-либо языке будет принят один термин. В соответствии с этим было признано целесообразным силами специалистов разных стран вначале в отдельных отраслях техники провести работу по установлению систем понятий, а затем отобрать и установить для них однозначные и наиболее удобные термины на трех языках, принятых в качестве рабочих: английском, французском и немецком; на этих же языках было решено сформулировать определения или описания понятий. Терминологии других языков должны были полностью базироваться — в области значений, а по возможности и в области звучаний и написаний — на разработанной таким образом системе терминов.

Комитетом ИСА-37 была сделана попытка наметить правила ведения международной терминологической работы[4]. Был определен круг подлежащих исследованию вопросов, в том числе: 1) унификация написания терминов на разных языках; 2) соотношение между написанием и произношением терминов на разных языках; 3) типы буквального значения (так называемой «внутренней формы») терминов; 4) соотношение между буквальным значением термина и содержанием выражаемого понятия; 5) характер значений терминов; 6) пути развития языка и управление им; 7) лексикографическая работа в области терминологии. В качестве вспомогательного средства для стандартизации терминологических материалов была рекомендована международная десятичная (децимальная) классификация. На этой стадии работы ИСА-37 Советский Союз

---

[1] См. Э. Дрезен, За всеобщим языком, М.—Л., 1928; его же, Основы теории и истории международного языка, 3-е изд., М., 1932; E. Drezen, Pri problemo de internaciigo de science-teknika terminaro, Moskvo — Amsterdam, 1935.

[2] Э. Дрезен, Интернационализация научно-технической терминологии, М.—Л., 1936.

[3] См. E. Wüster, Die Hauptfragen bezüglich des Code-Aufbaues, «ISA 37 — Terminologie. Bericht über die Sitzungen vom 31.8 bis 2.9 1936 in Budapest» (литограф. изд.).

[4] См. «Règles générales de terminologie [Comité ISA 37 — Terminologie]», mars 1939 (стеклограф. изд.).

не принимал в ней участия. В 1939 г., с началом второй мировой войны, ИСА-37 прекратил свою деятельность.

Сразу после окончания войны была создана Международная организация по стандартизации (ИСО). Советский Союз был в числе ее организаторов. Русский язык был принят в качестве официального языка ИСО наряду с языками английским и французским. ИСО состоит из многочисленных технических комитетов (ТК), занимающихся международной стандартизацией в различных отраслях техники. В некоторых технических комитетах существенным препятствием в работе оказалась неразработанность национальных терминологий или их несогласованность и даже противоречивость. По этой причине в ряде областей была начата работа по упорядочению и координации национальных отраслевых терминологий (например, по бетону и железобетону, пилам, бумаге, зубчатым передачам и др.).

В задачи технических комитетов обычно входит отбор и определение понятий, а также соответствующих терминов — на тех языках, которые используются в данном комитете в качестве рабочих, обычно на французском и английском; иногда одновременно приводятся термины (без определений) и на других языках, по выбору участвующих в работе стран. Лучшим примером такой многоязычной работы может служить упоминавшийся труд Международной электротехнической комиссии под названием «Международный электротехнической словарь»[1]. Рабочими языками его служат английский и французский, на которых даны определения и рекомендуемые термины. Помимо этого для каждого понятия даны термины (без определений) на языках немецком, испанском, итальянском, шведском, польском и эсперанто. При подготовке 2-го издания этого словаря в 1951 г. от помещения в нем терминов на эсперанто было решено отказаться.

С развитием международной терминологической работы в отдельных отраслях техники возникла нужда в координации работы и обобщении опыта. В 1952 г. по примеру довоенного ИСА-37 в рамках ИСО был создан Технический комитет по международной терминологической работе — ИСО ТК-37. В соответствии с Уставом ИСО, этот Комитет состоит из так называемых активных членов-стран и пассивных членов-стран; последние обычно выступают в роли наблюдателей, хотя и получают все выходящие документы.

Первоначально в число активных членов ИСО ТК-37 входили Австрия *, Англия*, Германия *, Голландия *, Индия *, Испания *, Италия *, Португалия, Франция *, Швеция *, а в число членов-наблюдателей Бельгия *, Венгрия, Дания *, Израиль, Канада, Новая Зеландия, Советский Союз, Финляндия *, Чили, Швейцария*, Югославия. Секретариат Комитета был поручен Австрии.

В октябре 1952 г. ИСО ТК-37 собрался на свое первое заседание в Копенгагене. Выше звездочкой отмечены страны — участники этого заседания. Предметом обсуждения были вопросы, касающиеся области работы, ее целей и задач. Было решено, что целью работы ИСО ТК-37 является изучение и обобщение опыта терминологической работы — как национальной, так и международной, установление единых принципов и единой методики, общих для национальной и международной работы в различных отраслях науки и техники. В соответствии с этими целями комитету было присвоено наименование: «Терминология. Принципы и координация». Таким образом, ИСО ТК-37 был создан как связующий центр в области терминологической работы для всех отраслевых международных организаций.

В соответствии с установленной задачей предварительная программа работы ИСО ТК-37 была сформулирована так: 1) Термины. Принципы, касающиеся технических терминов и понятий. 2) Международные термины. Принципы, касающиеся международных терминов. 3) Одноязычные терминологические словари. Принципы составления одноязычных отраслевых сборников терминов. 4) Многоязычные терминологические словари. Принципы составления многоязычных отраслевых сборников терминов. 5) Условные обозначения языков. Международные обозначения языков для применения в отраслевых сборниках терминов, в словарях, библиографиях и т. д. 6) Прочие обозначения. Прочие международные обозначения для применения в отраслевых сборниках терминов. Эта программа, правильно намечающая основные направления работы, в дальнейшем должна быть уточнена.

Для выяснения фактического состояния ведущейся терминологической работы секретариату ИСО ТК-37 было поручено путем рассылки анкеты собрать сведения обо всех национальных организациях — членах ИСО ТК-37 — и о международных организациях, занимающихся терминологической работой. Следующее заседание ИСО ТК-37 предполагалось организовать в Вене после того, как будут получены ответы на анкету.

---

[1] См. «International electrotechnical vocabulary [International Electrotechnical Commission]», London, 1938. В настоящее время этот словарь пересмотрен, дополнен и подготовлен для второго издания.

Анкета была разослана 24 октября 1952 г. В ней были поставлены вопросы, имеющие целью выяснить, где и как проводится терминологическая работа, в каких отраслях науки и техники, каковы принципы ее проведения, а также заинтересованность в международной терминологической работе.

Полученные ответы подтвердили, что во всех странах — членах ИСО ТК-37, а также и в ряде других ведется терминологическая работа на своих национальных языках. О масштабах этой работы могут дать представление следующие сведения о числе терминологических стандартов, изданных в отдельных странах:

Германия	312	Чили	20
Франция	238	Бразилия	18
Нидерланды	145	Израиль	17
Англия	134	Венгрия	15
Румыния	81	Индия	15
Швеция	67	Мексика	15
США	66	Уругвай	14
Советский Союз	59	Чехословакия	11
Италия	46	Югославия	10
Швейцария	43	Португалия	8
Бельгия	39	Австралия	8
Испания	35	Аргентина	3
Финляндия	34	Исландия	2
Польша	25	Япония	2
Австрия	25	Южно-Африканский Союз	2
Дания	23	Канада	1[1]
Норвегия	21		

Из этой таблицы видно, что размах терминологической работы в области техники в СССР еще отстает от уровня, достигнутого в Англии, Германии, Франции и некоторых других странах[2]. Ответы на анкету также показали, что около двадцати международных организаций проводят работу по координации национальных терминологий в разных отраслях техники.

С целью учета всех видов терминологической работы в различных странах, в анкете запрашивалось и о всех видах проводимых в стране лексикографических работ, охватывающих терминологическую лексику[3]. Ответы показали, что лексикографическая работа в области специальной терминологии отличается большим разнообразием. В разных странах печатаются «стандартизированные словари», «терминологические стандарты», «нормы», выходящие или отдельными изданиями или в качестве частей промышленных стандартов. Сведения о более чем 1500 таких работ собраны в недавно изданной библиографии[4].

Терминологическую работу ведут главным образом органы стандартизации; кроме того, в некоторых странах (например, в Австрии, Чехословакии, Югославии, Голландии) имеются научные организации, занимающиеся исследовательской работой в этом же направлении. Ответы подтвердили широкое применение международной десятичной классификации в терминологической работе.

Представляют интерес также ответы на вопрос о принципах составления «словарей». Применяются разные способы расположения терминов: алфавитный, систематический (логический) и смешанный. Предпочтение отдается тому, который более подходит для конкретной работы. Что касается принципов отбора и построения терминов, то все национальные организации указывают, что они проводят целенаправленный отбор терминов, но критерии для этого отбора указываются не всеми. Большинство организаций признает неологизмы, если в них есть действительная потребность и они соответствуют духу языка. Но лишь одна организация (Голландия) выработала некоторые правила для построения новых слов[5].

---

[1] E. Wüster, Technische Sprachnormung. Aufgaben und Stand, «Sprachforum», 1955, Heft 1.

[2] Следует оговорить, что сведения по некоторым странам, особенно по СССР и Чехословакии, неточны.

[3] В анкете все эти издания называются «словарями», что нельзя признать правильным: следует различать, с одной стороны, терминологическую работу по созданию сборников рекомендуемых терминов и, с другой стороны, собственно словарную работу.

[4] См. E. Wüster, Bibliography of monolingual scientific and technical glossaries, vol. I — National standards, Paris, 1955. Необходимо иметь в виду, что в этой весьма интересной работе советские издания отражены неточно.

[5] См. H. E. Buiskool, Over het ontstaan en de vorming van nieuwe woorden, 2-e druk («Mededeeling [Centrale taalcommissie voor de techniek]», № 3), 's-Graven

Ответы, касающиеся принципов терминологической работы, показывают, что в большинстве национальных терминологических организаций обобщение опыта сильно отстает от размаха практических работ. Теоретические обобщения в области терминологии в большинстве стран только намечаются, и поэтому в настоящее время трудно дать им объективную оценку. Ответы отражают дружные пожелания о необходимости расширения международной исследовательской работы по обобщению национального опыта и многочисленные конкретные предложения организационного характера.

Изучение опыта терминологической работы в разных странах представляет интерес не только для обобщения международного опыта, но и для улучшения национальной работы в отдельных странах. Успешное развитие международной работы и степень участия в ней той или иной страны зависят от успехов национальной терминологической работы.

Анализ полученных ответов на анкету дал возможность уточнить предварительную программу деятельности ИСО ТК-37 и наметить порядок выполнения этой программы. Рассмотрению указанных вопросов было посвящено второе заседание ИСО ТК-37 в Вене 13—16 октября 1954 г. На втором заседании присутствовали: активные члены — Австрия, Англия, Германия, Индия, Италия, СССР[1], США; члены-наблюдатели — Югославия, а также 7 международных отраслевых организаций и Международный консультативный комитет по вопросам документации и терминологии точных и естественных наук при ЮНЕСКО (о нем см. ниже).

Секретариат ИСО ТК-37 предложил разрабатывать все пункты предварительной программы работы параллельно, поэтому все они были включены в повестку дня заседания. Заседание начало работу с рассмотрения основного вопроса: о принципах разработки терминологии. После длительной дискуссии, показавшей значительные расхождения во взглядах делегатов различных стран, были сформулированы следующие принципы: 1) в каждой отдельной области применения каждый термин должен обозначать только одно определяемое понятие, и наоборот: каждое понятие должно иметь для своего обозначения один определенный термин; 2) термин должен как можно точнее обозначать определяемое понятие; 3) термин должен быть кратким и простым.

Эти предложения были изложены в ответе Советского Союза на анкету ИСО ТК-37. Для дальнейшего обсуждения принципов разработки терминологии было признано целесообразным создать специальную рабочую группу № 1 в составе представителей Советского Союза, Германии, Австрии, Франции и Англии. Руководство группой было возложено на Германию.

Большой интерес у участников заседания вызвало обсуждение структуры одноязычных и многоязычных терминологических сборников. Рассматривался вопрос о порядке расположения терминов. Все делегации, кроме французской, признали, что термины должны располагаться в систематическом (логическом) порядке с добавлением алфавитного указателя для справок. Это решение полностью совпадает с точкой зрения КТТ АН СССР.

Значительные трудности возникли при обсуждении вопроса о типах многоязычных терминологических сборников. Итальянской делегацией было предложено деление этих работ по признакам широты охватываемого материала и способов фиксирования значений терминов:

Термины одной отрасли техники	1) совокупность терминов без определений или рисунков 2) совокупность терминов с простыми рисунками 3) совокупность терминов с определениями
Термины разных отраслей техники	4) совокупность терминов с определениями

hage (Гаага), 1942. Здесь описываются основные пути пополнения терминологической лексики голландского языка в современную эпоху и, что особенно интересно, приводятся наиболее важные словообразовательные модели для образования новых терминов: производных, сложных слов и словосочетаний. Хотя в книге и не характеризуются терминологические особенности отдельных отраслей техники, ее неоспоримым достоинством является то, что она в доступной для специалистов-техников форме наглядно показывает, как можно строить новые термины. Примечательно, что эта брошюра написана языковедом, а не терминологом.

[1] Решение о вступлении Советского Союза в число активных членов ИСО ТК-37 было принято весной 1954 г.; соответствующую работу от имени Комитета стандартов взял на себя Комитет технической терминологии АН СССР.

Это деление встретило многочисленные возражения большинства делегаций по различным мотивам, и было решено отложить его рассмотрение до изучения вопроса национальными организациями.

На заседании рассматривались также вопросы процедуры составления терминологических словарей и вопрос о правах и обязанностях ИСО ТК-37. Было принято решение создать рабочую группу № 2 для разработки предложений по этому пункту предварительной программы работ; в состав группы вошли представители Англии (руководитель), США, Франции и Австрии. Из-за недостатка времени вопросы условных и других международных обозначений (пункты 5 и 6 программы работы ИСО ТК-37) не были рассмотрены.

Второе заседание ИСО ТК-37 показало, что для выполнения принятой программы работы требуются большие усилия всех участников, направленные на обобщение имеющегося опыта терминологической работы.

Участие советских ученых в заседании явилось серьезной проверкой работы КТТ АН СССР. Положительная оценка советских точек зрения по различным пунктам повестки дня свидетельствовала о правильности общего направления работы КТТ АН СССР и показала, что принципы терминологической работы, разработанные в Советском Союзе, хорошо аргументированы и подтверждаются зарубежной практикой.

Рабочие группы вели свою работу в основном путем переписки и собрались вновь лишь накануне следующего заседания ИСО ТК-37. Рабочей группе № 1 на втором заседании ИСО ТК-37 был рекомендован в качестве материала для обсуждения проект германского стандарта: ДИН 2330 — «Образование понятий. Общие положения»[1]. Изучение этих материалов в КТТ АН СССР показало, что они страдают существенными недостатками. Поэтому в КТТ АН СССР было признано нецелесообразным использовать ДIIN 2330 в качестве материала для обсуждения; было решено подготовить документ, отражающий советскую точку зрения на основные принципы терминологической работы. Этот документ под названием «Основные положения КТТ АН СССР о понятиях, определениях и терминах» был направлен в секретариат ИСО ТК-37 для рабочей группы № 1[2]. Секретариат дал высокую оценку «Основным положениям КТТ АН СССР» и счел полезным разослать его для изучения всем членам ИСО ТК-37. В целях достижения согласованного решения на основе германского ДИН 2330 и советских «Основных положений» Австрия составила документ, касающийся одного из вопросов: принципов определения терминов.

На заседании рабочей группы № 1 были рассмотрены все три документа. Германская делегация согласилась с критикой ДИН 2330, содержащейся в советском документе, и высказалась за принятие австрийского проекта в качестве основы для дальнейшей работы. Англия и Голландия дали высокую оценку советскому проекту в целом и предпочли его австрийскому и германскому. Ввиду того, что австрийский проект учитывал основные тезисы советских «Положений», советские представители в целях ускорения работы согласились принять австрийский проект в качестве основы для работы по вопросу составления определений. Таким образом, советский проект принципов терминологической работы получил всеобщее признание.

В рабочей группе № 2 английский представитель проф. Каин также подготовил материал по методике подготовки терминологии, содержащий обобщение опыта Международной электротехнической комиссии. Обсуждение этого материала показало, что он нуждается в существенной доработке.

В период подготовки к следующему заседанию секретариатом ИСО ТК-37 проводилась подготовка материалов для обсуждения по отдельным пунктам программы работы. В сентябре 1955 г. в Брюсселе собралось третье заседание ИСО ТК-37. Состав стран-участниц несколько отличался от предыдущих заседаний: не были представлены США, Индия и Югославия; впервые были в числе участников страны народной демократии — Польша и Чехословакия. Приветствовавший делегатов генеральный секретарь ИСО Сент-Леджер обратил внимание на большие задачи, стоящие перед ИСО ТК-37, к деятельности которого проявляется большой интерес со стороны 26 стран—членов ИСО и более чем 30 международных организаций. Повестка дня предусматривала продолжение работы предыдущего заседания и рабочих групп. Заседание заслушало сообщение обеих групп и приняло решение о продолжении их деятельности.

В процессе предшествующей работы ИСО ТК-37 выяснилось, что среди его членов нет необходимого единства в понимании таких основных понятий, как «термин», «признак», «понятие» и др. Естественно, что это мешало успешному разрешению стоящих перед ИСО ТК-37 задач. Поэтому австрийская делегация внесла предложение установить в этой области единую и точную терминологию и представила свой вариант определений нескольких основных терминов на английском и французском языках.

---

[1] См. «DIN 2330 — Begriffe und Benennungen. Allgemeine Grundsätze», 1954.

[2] Положенные в основу этого документа принципы были вкратце охарактеризованы в указ. выше статье А. М. Терпигорева.

Было решено разослать этот материал национальным организациям для обсуждения; это было поручено рабочей группе № 1.

Обсуждение вопроса о типах многоязычных терминологических «словарей» вылилось в длительную дискуссию о видах соответствующих лексикографических трудов. Классификация таких трудов была предложена д-ром Е. Вюстером (Австрия) в виде следующей схемы[1]:

	Систематическое расположение	Алфавитное расположение
Одноязычные словари	Систематический словарь без определений	Алфавитный словарь без определений
	Систематический словарь с рисунками	Алфавитный словарь с рисунками
	Систематический словарь с определениями	Алфавитный словарь с определениями
	Систематический словарь с определениями и рисунками	Алфавитный словарь с определениями и рисунками
Многоязычные словари	Систематический переводный словарь без определений	Алфавитный переводный словарь без определений
	Систематический переводный словарь с рисунками	Алфавитный переводный словарь с рисунками
	Систематический переводный словарь с определениями	Алфавитный переводный словарь с определениями
	Систематический переводный словарь с определениями и рисунками	Алфавитный переводный словарь с определениями и рисунками

В соответствии с мнением советской делегации было отмечено, что хотя терминологическая работа и тесно связана со словарной, все же результатом терминологической работы является лишь «сборник рекомендуемых терминов» («vocabulary», «vocabulaire») в отличие от «словаря» («dictionary», «dictionnaire»), который является результатом словарной работы. Было решено продолжать дальнейшее изучение принципов составления терминологических сборников.

Рассмотрение вопроса об условных обозначениях в сборниках терминов неожиданно показало большое расхождение во мнениях. Для изучения многочисленных предложений была создана рабочая группа № 3, в которую вошли представители Германии, Австрии, Англии, Франции, Италии и Голландии. Так как третье заседание ИСО ТК-37, как и предыдущее, не успело подробно рассмотреть все вопросы повестки дня, то было решено, что основным видом работы должна явиться подготовка национальными организациями своих точек зрения, которые и будут обсуждаться на заседаниях Ко-

[1] Одноязычные и многоязычные сборники рекомендуемых терминов даны в рамках.

митета и его групп. Третье заседание ИСО ТК-37 показало, что за последние годы в разных странах не только развернулась практическая терминологическая работа, но и возникло новое научное направление — теория научно-технической терминологии. Высокая оценка советского документа «Основные положения КТТ АН СССР о понятиях, определениях и терминах», по общему мнению всех делегатов, выдвинула Советский Союз в число ведущих стран в развитии этого научного направления.

Важно отметить, что в послевоенное время возрос интерес к международной терминологической работе и в других отраслях знания. Международные организации, объединяющие специалистов разных отраслей естественных наук, также ведут работу по упорядочению и координации применяемой терминологии. На V Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1950 г. было установлено, что основной задачей этой организации в области точных и естественных наук является стандартизация научно-технической терминологии и издание многоязычных словарей по различным отраслям науки и техники. В соответствии с этой задачей в 1952 г. был создан и приступил к работе Международный консультативный комитет по документации и терминологии точных и естественных наук во главе с д-ром Хольмстромом. Начиная с 1954 г., комитет издает ежемесячный информационный бюллетень «Documentation et terminologie des sciences exactes et naturelles». В этом комитете выполнен ряд интересных исследований [1], а также выпущена библиография дву- и многоязычных словарей по различным видам точных и естественных наук [2].

В 1954 г. Консультативным комитетом был возбужден вопрос о желательном участии в его деятельности представителей Советского Союза. Эта работа была возложена на Академию наук СССР. Однако советские ученые до сих пор еще не принимают активного участия в работе комитета, хотя это представляет для нас большой научный и практический интерес.

В США в области отбора международно понятных слов с учетом их одинакового написания и произношения в различных языках проводит работу Ассоциация международного вспомогательного языка (IALA). Результаты ее деятельности стали публиковаться с 1951 г. [3] Это направление работы не имеет сегодня непосредственной связи с международной терминологической работой в области техники.

Международная терминологическая работа привлекла к себе внимание широких кругов языковедов. Перспективы этой работы послужили темой специального доклада на 7-м Международном конгрессе языковедов в Лондоне в 1952 г. [4]; они освещаются также в зарубежной периодической печати.

Международная терминологическая работа только начинается, и сейчас еще рано говорить о ее результатах и путях дальнейшего развития. Однако она имеет тенденцию к расширению. Активное участие советских ученых в деятельности ИСО ТК-37 явится полезным вкладом в это дело.

Н. К. Сухов

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РОДНОГО ЯЗЫКА В ТОКИО

В послевоенные годы в Японии проявляется огромное внимание к вопросам родного языка и письменности как со стороны широких общественных кругов, так и со стороны правительства. Об интересе общественности к этим вопросам свидетельствует, например, следующий факт: за 1954 г. в пятнадцати наиболее крупных газетах —«Майнити», «Осака-Асахи», «Токио-Нитинити», «Йомиури», «Токио-Таймс» и др.— было помещено около полутора тысяч статей и заметок по вопросам японского

---

[1] См.: J. E. Holmstrom, The language problem of science, «Research», vol. 7, 1954, may; «Report on scientific and technical translating and related problems», UNESCO, 1953 (литограф. изд.); C. Thoridnet, The semantic abstracting of documents and the use of the card file for terminological purposes (литограф. изд.), Paris, UNESCO, 1954.

[2] См. «Bibliography of interlingual scientific and technical dictionaries [UNESCO», 3-e éd., Paris, 1953 (1-e éd.— 1951, 2-e éd.— 1952).

[3] См., например, A. Gode, Interlingua-English [dictionary], New York, 1951 и др. работы.

[4] См. E. Wüster, Die terminologische Sprachbehandlung, «Studium Generale», Jg. 6, Heft 4, 1953.

языка и письменности. Наряду с этим в Японии издаются пятнадцать крупных журналов чисто лингвистического характера и несколько мелких; общелитературные журналы тоже помещают на своих страницах статьи по вопросам японского языка.

Активную языковую политику проводит и правительство. Так, сразу же после войны, в 1946 г. правительство отказалось от употребления письменного языка (отличающегося от современного литературного японского языка рядом грамматических форм, а также в значительной мере и лексикой), который до этого был обязателен для всей официальной документации: законов, циркуляров, договоров и т. п. Затем последовал ряд циркуляров, некоторые за подписью премьер-министра, другие по линии министерства просвещения, начиная с циркуляров о реформе орфографии и о лимитировании числа иероглифов (в 1946 г.) и кончая циркуляром об исключении из употребления ряда книжных слов (в 1954 г.). Давать подробное описание и оценку всех этих крайне интересных по существу актов регулирования развития языка и письменности здесь не место — это требует отдельной статьи. Здесь говорится о них постольку, поскольку такая языковая политика объясняет некоторые организационные меры правительства, а именно нижеследующие.

Во-первых, в июне 1949 г. при министерстве просвещения был учрежден Совет по родному языку, председателем которого является известный писатель, критик и публицист, лектор «Университета Васэда» Дзэммаро Токи, а вице-председателем — крупный специалист по японскому языку акад. Кёкэ Киндаити. Совету вменяется в обязанность «производить изыскания по вопросам, касающимся улучшения родного языка и подъема преподавания языка, а также относящимся к письму латиницей, и демократическим путем устанавливать языковую политику, а также, согласно потребностям, вносить соответствующие предложения в правительство». В декабре того же 1949 г. был учрежден Государственный исследовательский институт родного языка. В 1955 г. этот Институт опубликовал небольшой информационный обзор своей деятельности с момента основания. Этот обзор и некоторые издания Института позволяют составить о нем общее представление.

Несколько слов о материальной базе и структуре Института. С 1954 г. Институт помещается в отдельном двухэтажном здании общей площадью в 1066 м^2; рабочие кабинеты занимают 337 м^2, лаборатории 45 м^2, читальня 49 м^2, лекционный зал 96 м^2. В 1955 г. должно было закончиться (вероятно, и закончено) строительство несгораемого здания библиотеки со встроенными стеллажами. Штат Института состоит из 49 человек (научно-исследовательских работников 32, административных и технических 17). Институт подведомствен Министерству просвещения. Во главе его по административной линии стоит директор проф. Минору Нисио — специалист по японской литературе и педагогике, по научной линии — Консультативный совет из 28 членов, не состоящих на службе в Институте. В составе совета находим крупных ученых-лингвистов, возглавляет его акад. Янагита Кунио, крупнейший авторитет по японской диалектологии и этнографии. В Институте работает два исследовательских отдела: первый, состоящий из трех кабинетов — устной речи, языка в письменной фиксации и языка в местных районах, — и второй, состоящий из двух кабинетов — преподавания языка и языкового воздействия. Предполагается организовать третий отдел, в который должны войти кабинеты старого языка, современного языка и генеалогических исследований. Кроме того, имеется особый кабинет материалов.

Институт был учрежден «для проведения научных исследований по родному языку и речевой практике народа и для создания твердой базы при рационализации языка» (из указа об учреждении Института). В соответствии с этим задача Института состоит в исследовании японского языка «с целью сбора материалов, могущих послужить базой правильной языковой политики», т. е. способствовать установлению языковых норм, «стандартного языка» (хёдзюнго — понятие, соответствующее нашему термину «литературный язык»). Для этого прежде всего исследуется японский язык в его современном состоянии. Полученные материалы, помимо основного указанного выше назначения, должны лечь в основу словаря современного языка. Наряду с этим, поскольку «многовековая жизнь японцев на их территории, созданные ими идеи, история их культуры отражены и кристаллизованы в языке», Институт исследует японский язык в его историческом развитии с момента существования письменных памятников. Эти материалы должны лечь в основу исторического словаря японского языка.

Изучение современного языка ведется преимущественно эмпирическим путем, методами коллективно проводимых обследований устной речи и обработкой материалов этих обследований; письменные материалы обрабатываются приемами новейшей статистики.

Для реализации этих задач Институт располагает, во-первых, соответствующей новейшей аппаратурой, преимущественно американского происхождения: портативными магнитофонами, могущими работать без присоединения к сети, т. е. и внутри, и вне помещения, аппаратами для специальных фонетических записей (Sona-graph), для одновременной записи речевого потока нескольких лиц с возможностью последующего выделения речи любого из них (Analizer), для замедленного прослушивания

записанного (Sona-Streteher) и др., а также счетно-вычислительными машинами (типа Odhner X и Marchent) и т. д.

Во-вторых, при проведении языковых обследований устной речи Институт опирается на широкий языковедческий актив. Институт ежегодно назначает во всех крупных городах уполномоченных из числа местных специалистов, поддерживает связь с рядом школ в Токио и провинции в целях обследования процессов преподавания языка и, наконец, спорадически пользуется содействием других учреждений. Так, почти во всех обследованиях принимал известное участие Институт статистики, в некоторых — Институт этнографии, Государственный институт педагогики, Газетная ассоциация и др.

Осветим несколько подробнее работу кабинетов Института.

Объектом изучения «кабинета устной речи» является бытовая и публичная речь, т. е., с одной стороны, язык разговорной речи, с другой, — язык радиовещания, публичных выступлений и т. п. В 1952—1953 гг. этот кабинет провел ряд комплексных обследований устной бытовой речи в Токио и его окрестностях. Записанный на пленку материал в виде 80 катушек (одна катушка рассчитана на 30 мин.) был обращен в текстовую запись, а затем перенесен на карточки, пригодные для механической статистической обработки, и затем проанализирован в отношении интонации, структуры предложения, членения предложения на синтаксические единицы, характера лексики, частотности употребления и т. п. Результаты изложены в книге «Разговорный язык как он есть» («Данваго-но дзиттай»), вышедшей в 1955 г. В 1954—1955 гг. Институт проводил обследование, предметом которого были неустойчивые слова. Собранные 30 тыс. таких слов (среди них, разумеется, представлены и повторяющиеся) были подвергнуты анализу и статистической обработке, а выводы систематизированы по десяти видам слов, в соответствии с разного рода произносительными колебаниями и морфологическими вариантами. Кроме того, Институт собрал материал о том, как эти колебания осознаются и как они воспринимаются. Выводы в 1955 г. были оформлены в виде гектографированной рукописи.

Предметом изучения «кабинета языка в письменной фиксации» является и современный японский язык, преимущественно его лексика, и вопросы письма. Методы работы — анализ материала прессы путем занесения на карточки и последующей статистической обработки. Выводы систематизируются и публикуются. В 1951 г. была издана книга «Служебные слова и служебные глаголы современного языка, их употребление и примеры» (следует заметить, что «служебными глаголами» — дзёдоси— в японской грамматике по традиции именуется то, что в советском японоведении рассматривается как суффиксы глагольного спряжения, а к так называемым «служебным словам» — дзёси,— с нашей точки зрения, относятся и суффиксы склонения,так что материал этой книги не лексический, а чисто грамматический). В 1952—1953 гг. были обработаны 34 вида газет и журналов, вышедших за период с апреля до конца 1949 г. (выводы еще не опубликованы). В 1952 г. вышла книга «Словарь современной газеты», основанная на сплошной обработке материала газеты «Асахи-симбун» за май 1949 г. В 1953 г. издана книга «Словарь женского журнала», основанная на материалах одного женского журнала за весь 1950 г. В обеих книгах приводятся данные о частотности употребления слов и частные выводы о некоторых их типах. В 1954 г. было проведено комплексное изучение лексики прессы, а именно обработано 560 страниц журналов четырнадцати типов за один год, что дало около 230 тыс. знаменательных слов, которые были подвергнуты анализу в отношении частотности, значения, синтаксической роли и способа обозначения на письме. Выводы в 1955 г. еще не были опубликованы.

В целях изучения вопросов письма в 1952 г. был издан «Сборник материалов по окуригана́» (окуригана́ — часть слова, следующая за иероглифом и написанная кано́й, т. е. слоговой азбукой или вернее, сами знаки каны́, когда ею пишется окончание; полного единства в том, что относится к окончанию, подлежащему написанию кано́й, в японском письме нет). Для этого было обработано одиннадцать видов материалов общественного и частного характера за период с революции 1867 г., т. е за 80 с лишним лет. С 1953 г. объектом исследования является употребление иероглифов.

«Кабинет языка в местных районах» в четырех городах провел комплексное обследование речевой практики, в двух городах собрал данные об употреблении вежливых слов, в двенадцати пунктах провел комплексные диалектные обследования. В 1950 г. издана книга «Исследование языка Хатидзёдзима». На этом острове был изучен язык пяти деревень; изучалось соотношение диалекта и общего языка и характер их взаимодействия. В 1953 г. вышла «Речевая практика местного района», опирающаяся на обследование устной речи в Цуруока, проведенное совместно с Институтом статистики и этнографии и субсидировавшееся научно-экспериментальным фондом Министерства просвещения. При всех обследованиях привлекался местный языковедческий актив. В 1954 г. состоялся всеяпонский съезд активистов, проведенный с участием работников кабинета и некоторых членов Консультативного совета. Кроме того, составлен словарь рюкюского языка.

«Кабинет преподавания родного языка» исследует вопросы усвоения языка детьми и выявляет трудности этого усвоения. Исследованию подвергаются речь, слушание,

чтение и письмо у учеников начальной школы с шестилетнего возраста. Методы работы — наблюдение на уроках (как индивидуальное — за одним учеником на протяжении длительного времени, так и групповое — за классом в целом), проверки типа экзамена, специальные тесты и лабораторные исследования при помощи соответствующей аппаратуры (например, аудиометра для исследования отчетливости слышания, офтальмометра для регистрации движения глаз при чтении и т. п.). Попутно собираются данные о личных способностях и общей успеваемости, а также физическом состоянии учащихся, обследуются бытовые условия их жизни и различные факторы преподавания. В 1954 г. такие обследования были проведены в девяти городах (в одиннадцати школах). В том же году вышла книга «Языковая способность детей в период поступления в школу», а в 1955 г. «Экспериментальное изучение чтения» (анализ ошибок при чтении).

«Кабинет изучения воздействия языка» исследует языковое воздействие газеты и радио, т. е. так называемых «mass communication» («массовых коммуникаций»; американский термин, перешедший в японский язык). Однако фактически работа кабинета несколько выходит за эти рамки. Так, в 1953 г. было проведено большое обследование под названием «Соприкосновение молодежи с газетой, понимание газеты и ее влияние». В обследовании приняли участие Газетная ассоциация и Ассоциация научного изучения общественного мнения; на проведение этой работы министерство просвещения выделило субсидию в 610 тыс. иен. Объектом были школьники старших классов двадцати школ, из них шестнадцать в Токио и четыре в Акита (на севере острова Хонсю) общей численностью 5150 человек (3150 в Токио и 2 тыс. в Акита). Изучались следующие вопросы: 1) рост степени соприкосновения с газетой и развитие языкового понимания ее по годам обучения; 2) влияние способа изложения на понимание; 3) влияние чтения газеты (в связи с бытовым окружением) на формирование общественного поведения; 4) особо — понимание статей по международным вопросам. Подобное обследование учащихся средней школы было проведено в г. Тиба и в его окрестностях. В 1954 г. на основе собранных материалов была издана книга «Молодежь и газета».

В 1949 и 1950 гг. с помощью«кабинета изучения культуры радиовещания»Японской радио-ассоциации исследовалось отношение языка радиовещания к его пониманию, в 1951 г.— те же вопросы применительно к спортивным передачам, в 1952—1953 гг.— стиль «известий по радио», в 1954 г.— влияние радиовещания на язык детей.

«Кабинет материалов» занимается сбором, систематизацией и хранением литературы, а также ведает изданием трудов Института. Кабинет каталогизирует японскую научную литературу по японскому языку и японской письменности, общему языкознанию и преподаванию японского языка. Составляется систематический каталог для отдельных изданий и три каталога журнальных статей по этим вопросам — систематический, по журналам и по авторам. Кабинет составляет досье вырезок статей по указанным вопросам из пятнадцати газет, издает специальные библиографии (вышла в свет «Библиография изданий по языку, начиная с Мэйдзи», т. е. с 1867 г., и «Библиография изданий по языку с 1932 г. по 1949 г.»). Кроме того, кабинет издает общий информационный «Ежегодник родного языка», содержащий разносторонние данные о положении науки о японском языке и связанной с ним практической деятельности за истекший год. Первый такой ежегодник вышел в 1955 г.

Кабинет для удобства хранения и пользования микрофильмирует современные книги и старые памятники. В связи с этим Институт не нуждается в большом здании для своей библиотеки: площадь под строящимся зданием, о котором было упомянуто выше, всего 96 м². Разумеется, Институт располагает аппаратами для чтения микрофильмов (Micro-reader).

Кроме отдельных книг, Институт издает ежеквартально журнал «Гэнго-сэйкацу» («Речевая практика») и ежегодно отчет о своей работе (таких годовых отчетов к 1955 г. вышло пять).

Из этого краткого обзора видно, что Государственный исследовательский институт родного языка в Токио представляет собой учреждение, где ведется огромная работа по выяснению современного состояния японского языка во всех аспектах его существования. Масштаб этой работы, ее разносторонность и организованность являются порукой того, что материалы Института могут служить надежной базой для определения тех конкретных мер, которые должны быть приняты по линии преподавания языка, культуры речи и развития письменности, а также для научной разработки вопросов, связанных с японским языком. Эти материалы могут быть положены и в основу чисто теоретических исследований. Однако, как нам кажется, без глубоких теоретических обобщений они сами по себе недостаточны для определения основ языковой политики. Ведь для принятия конкретных мер мало знать, что есть, надо еще определить, что следует развивать и с чем надо бороться,— а это относится уже не к статистике, а к области теории языка и к области политики. Да и в самой работе Института — в первичном сборе материала и его последующей статистической обработке — должны сказываться определенные теоретические установки исследователей.

К сожалению, по информационным изданиям Института, которыми мы располагаем, о теоретической основе работы последнего судить трудно. Ясно лишь одно: проведение резкой границы между устной речью и языком в письменной фиксации.

Вызвано ли это обстоятельство только необходимостью, вытекающей из разной технологии сбора материалов, лежат ли в основе его чисто теоретические предпосылки или это определяется серьезным расхождением между устным и письменным языком — на все эти вопросы пока трудно ответить. Сами материалы, представляемые Институтом, помогут выяснить отсутствие или наличие такого расхождения и в последнем случае дать точную его картину. Это один из конкретных примеров того, как материалы Института могут содействовать разрешению чисто теоретического вопроса.

Н. И. Фельдман

НОВАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ *

1. Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]. VIII — М., 1955. Реформатский А. А. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке (стр. 3—23); Бромлей С. В. К истории места ударения в формах сравнительной степени в русском языке (стр. 24—41); Борковский В. И. Союзы при однородных членах в древнерусских грамотах (стр. 42—68); Шапиро А. Б. Некоторые вопросы теории синонимов (на материале русского языка) (стр. 69—87); Львов А. С. История слова *дело* в русском языке (стр. 88—100); Бурнашева С. А. Влияние русского языка на развитие словарного состава современного татарского литературного языка (стр. 101—119); Серебренников Б. А. Волго-окская топонимика на территории европейской части Советского Союза (стр. 120—134); Крейнович Е. А. Гиляцко-тунгусо-маньчжурские языковые параллели (стр. 135—167).

2. Записки [Науч.-исслед. ин-та языка, литературы, истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР]. 16. Язык и литература.— Саранск, 1955. Коляденков М. Н. Глагольное словообразование в мордовских языках (стр. 91—107); Цыганов Н. Ф. Существует ли в мокшанском языке суффикс видовой направленности *ин*? (стр. 108—111); Цыганов Н. Ф. О вокализме не-первого слога прогрессивно-ассимиляторного типа говоров эрзя-мордовского языка (стр. 112—124); Заводова Р. А. К вопросу о субстантивации прилагательных (стр. 125—132); Яковлева О. А. Значение слов «палец» и «перст» в древней Руси (стр. 155—162).

3. Краткие сообщения Ин-та востоковедения АН СССР. XVI.— М., 1955. Петров Н. А. Из архивных материалов академика В. П. Васильева о китайском языке (стр. 51—56); Воробьев-Десятовский В. С. Новые листы сакской рукописи «Е» (предварительное сообщение) (стр. 68—71).

4. Труды Отдела древнерусской литературы [Ин-та русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР]. XI.— М.— Л., 1955. Шарлемань Н. В. Заметки к «Слову о полку Игореве» (стр. 7—12); Егоров Н. М. Мышью или мыслью? (стр. 13); Югов А. К. Образ князя-волшебника и некоторые спорные места в «Слове о полку Игореве» (стр. 14—21); Данилов В. В. Некоторые приемы художественной речи в грамотах и других документах Русского государства XVII века (стр. 209—217); Берков П. Н. Из истории русской театральной терминологии XVII—XVIII веков («комедия», «интермедия», «диалог», «игрище» и др.) (стр. 280—299); Гранстрем Е. Э. О происхождении глаголической азбуки (стр. 300—313, с илл.).

5. Труды Среднеазиатского ун-та им. В. И. Ленина. Языкознание [Новая серия. Вып. LXIX. Филологические науки. Кн. 8]. — Ташкент, 1955. Коляда Г. И. Из истории русско-украинских друкарских связей в XVI—XVII вв. (стр. 3—36); Гулямов Я. Г. О падежных формах в ташкентском говоре (стр. 37—54); Ильин Д. Д. Некоторые проблемы поэтического словоупотребления (По наблюдениям над языком и слогом произведений М. В. Исаковского) (стр. 55—88); Протогенова Р. В. Инфинитив и его синтаксические функции в современном русском языке (стр. 89—99); Коляда Г. И. К вопросу о носовых гласных в древнерусском языке (стр. 101—115).

6. Труды [Сталинирского пед. ин-та]. II.— Сталинир, 1955.— На груз. и русск. яз. Барамидзе Р. Г. Поэтическая семантика грузинских агиографов.— На груз. яз. (стр. 155—171).— На груз. языке; Гаприндашвили Ш. Г.

---

* В настоящем перечне учтены продолжающиеся издания типа «Ученых записок» и «Трудов», вышедшие из печати преимущественно во второй половине 1955 г. (Продолжение. Начало см. ВЯ, 1956, № 1).

Об объективности внутренней закономерности развития языка (стр. 181—202).— На груз. яз.; Мегрелидзе И. В. Б. Руденко и его грамматика грузинского языка (стр. 203—210).— На груз. яз.; Мегрелидзе И. В. Числительные дидойского языка (стр. 211—222); Мегрелидзе И. В. Из дидойской диалектологии (стр. 223—242); Глонти А. А. Филологические очерки: а) Грузинские материалы в «Сравнительном словаре всех языков и наречий»; б) Атрибутивное сказуемое в грузинском; в ან и ვან частицы в грузинском; г) Топонимические материалы; д) Грузинско-русский словарь (стр. 243—312).— На груз. яз.: Айдарова В. Н. Борьба с иноязычными заимствованиями в поэзии Г. Р. Державина (стр. 333—348).

7. Труды Таджикского учительского ин-та им. С. С. Айни. Т. III.— Самарканд, 1955.

Цой А. А. В. И. Ленин о диалектическом характере предложения (стр. 15—30).

8. Ученые записки [Абаканского пед. ин-та]. Вып. 1.— Абакан, 1955.

Шаповалова Т. А. Формы существительных и прилагательных в «Российской грамматике» и художественных произведениях М. В. Ломоносова (стр. 84—129).

9. Ученые записки [Азербайджанского ун-та им. С. М. Кирова]. № 6.— Баку, 1955.— На азерб. и русск. яз.

Ибрагимов Д. Категория времени глаголов в русском и азербайджанском языках. Статья I (стр. 91—99).— Резюме на азерб. яз.

10. Ученые записки [Азербайджанского ун-та им. С. М. Кирова]. № 8.— Баку, 1955.— На азерб. и русск. яз.

Мирзоева М. В. Употребление времен в исторических трудах М. В. Ломоносова (стр. 67—79).— Резюме на азерб. яз.

11. Ученые записки [Башкирского пед. ин-та им. К. А. Тимирязева]. Вып. V. Серия филологическая. № 1.— Уфа, 1955.

Каншин И. А. Выражение членов предложения неделимыми сочетаниями слов (стр. 98—147); Киекбаев Д. Г. Вариантные слова, или сингармонические параллелизмы, в башкирском языке (стр. 148—150).

12. Ученые записки [Горьковского пед. ин-та им. А. М. Горького]. Т. XVI. Филологическое отделение историко-филологического факультета. — Горький, 1955.

Калинин И. А. О некоторых различиях в употреблении видов глагола (стр. 188—201).

13. Ученые записки Карело-Финского ун-та. Т. V. 1955. Вып. 1. Исторические и филологические науки.— Петрозаводск, 1955.

Пустынникова М. А. К вопросу о диалектической сущности предложения (стр. 134—147); Кривонкина М. Я. Работа А. М. Горького над лексикой публицистических статей советского периода (стр. 148—160); Морозова А. Г. Трактовка синтаксической категории сказуемого и обстоятельства в финском языке (стр. 161—167); Скуратова Н. И. Некоторые особенности в склонении существительных говоров северной части Заонежья (стр. 168—174); Пигин М. И. Причастное сказуемое в древнерусском языке, выраженное нечленным действительным причастием (стр. 175—201).

14. Ученые записки [Кишиневского ун-та]. Т. XVIII. Филологическая серия.— Кишинев, 1955.— На молдав. яз.

Борщ А. Т. Кафедра языка и литературы Молдавского государственного университета в Кишиневе (стр. 3—10); Корлэтяну Н. Г. Грамматическая категория падежа в существительных в современном молдавском языке (стр. 11—21); Бережан С. Г. Некоторые замечания по поводу молдавского инфинитива (стр. 23—38); Борщ А. Т. Основные моменты в развитии молдавской лексикографии (стр. 39—56); Осадченко И. Е. Высказывания К. Негруци о языке (стр. 85—89).

15. Ученые записки [Куйбышевского пед. ин-та им. В. В. Куйбышева]. Вып. 13. Филологические науки.— Куйбышев, 1955.

Гвоздев А. Н. Местоимение (стр. 197—211); Фролова С. В. Именное склонение в русской оригинальной бытовой повести XVII—XVIII столетий (стр. 213—232). Окончание. [Начало — вып. 5, 1942; продолжение:— вып. 8, 1947;— вып. 9,1948]; Дементьев А. А. Заметки по русскому словообразованию (стр. 233—254); Малаховский В. А. Несколько поправок к диалектологической карте русского языка (К вопросу о границах поволжского южновеликорусского «острова») (стр. 255—262, с картами-схемами); Скоблякова Е. С. Географическое распространение диалектных форм личных местоимений (стр. 263—273, с карт.); Фролова С. В. Об одной грамматической особенности древнерусского языка (стр. 275—283); Грингут Р. Г. Против смешения лексики и грамматики. (К вопросу о видовых оттенках французских глагольных времен) (стр.

285—299); Посёмина Л. С. Развитие приглагольного косвенного дополнения в английском языке (стр. 301—313).

16. Ученые записки [Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена]. Т. III. Материалы герценовских чтений 1955 г.— Л., 1955.

Руднев А. Г. О происхождении деепричастия (по памятникам старославянского и древнерусского языков) (стр. 107—109); Чагишева В. И. Употребление второго винительного падежа в русском литературном языке XVIII века (стр. 110—111); Кодухов В. И. Сложное предложение с придаточными дополнительными в языке комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (стр. 112—114); Якубович М. П. К вопросу о сложных предложениях с придаточными определительными предложениями (функции структуры «двух родительных падежей») (стр. 115—117); Гринкова Н. И. Областные слова в словарном составе современного русского языка (стр. 118—120); Егорова Т. А. К вопросу об отношении словообразования к грамматике (сочетания глагольных основ с пространственными наречиями и происходящими от них приставками в древнеанглийском языке) (стр. 132—134); Ильиш Б. А. О принципах выделения членов предложения (на материале современного английского языка) (стр. 135—136); Вилюман В. Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке (стр. 137—139); Афанасьева А. Л. К вопросу о собирательных существительных французского языка (стр. 140—141); Надэль Б. И. К вопросу о фракийском языке (стр. 142—143); Баландин А. И. Определительные предложения в обско-угорских языках (стр. 149—151); Молл Т. А. Фонемный состав и основные фонетические закономерности чавчувенского диалекта корякского языка (стр. 152—154); Константинова О. А. Категория имени существительного (по материалам говора полигусовских эвенков Байкитского р-на Эвенкийского национального округа) (стр. 155—158); Щербакова А. М. Будущее время в ненецком языке (стр. 159—161); Лебедева Е. Н. Простое предложение в маньчжурском языке сравнительно с эвенкийским (стр. 162—164); Жукова А. Н. Имя качественного состояния в корякском языке (стр. 165—166).

17. Ученые записки Ленингр. ун-та им. А. А. Жданова. № 200. Филологический фак-т. Серия филологических наук. Вып. 25. Русская литература.—Л., 1955.

Пиксанов Н. К. О языке «Горя от ума» (стр. 3—22); Борисова М. Б. Речевая характеристика образа в драматургии М. Горького (по пьесе «Враги») (стр. 132—165); Тотубалин Н. И. К истории слов «самодур» и «самодурство» (стр. 234—237).

18. Ученые записки [Львовского пед. ин-та]. Т. IV. Вып. первый. Филологическая серия.— Львов, 1955.— На укр. яз.

Кобылинский Б. В. К характеристике лексики поэтических произведений Т. Г. Шевченко (стр. 50—96); Редько Ю. К. Из наблюдений над языком произведений Павла Грабовского (стр. 97—116).

19. Ученые записки [Львовского ун-та им. Ив. Франко]. Т. XXX. Фак-т иностранных языков. Вып. 1.— Львов, 1955.— На укр. и русск. яз.

Задорожный Б. М. К истории готского глагола *wisan* («быть») (стр. 20—26).— На укр. яз.; Ринецкая О. Ф. К вопросу о славянской топонимике в немецком языке (между Одером и Вислой, XII—XVIII вв.) (стр. 42—52).— На укр. яз.; Обуховская И. И. К вопросу о месте прилагательного-эпитета в современном французском языке (стр. 92—101).

20. Ученые записки [Псковского пед. ин-та им. С. М. Кирова]. Вып. III.— Псков, 1955 г. Глускина С. М. К истории составных числительных в русском языке (стр. 111—134).

21. Ученые записки [Пятигорского пед. ин-та]. Т. 10. (Гуманитарные науки).— Пятигорск, 1955.

Моденская Н. Язык повести К. Симонова «Дни и ночи» (стр. 411—425); Шубин Э. П. К вопросу о сложном слове и словосочетании в английском языке (стр. 427—463).

22. Ученые записки [Ростовского н/Д пед. ин-та]. Вып. 4(14). Кафедра русского и общего языкознания.— Ростов н/Д, 1955.

Чесноков П. В. Понятие о суждении, вопросе, побуждении и логической фразе (стр. 3—21); Введенская Л. А. Работа К. Тренева над словом (Сравнительный анализ вариантов пьесы «Любовь Яровая») (стр. 23—49); Архангельский В. Л. Некоторые вопросы русской фразеологии в связи с историей ее изучения (стр. 51—86); Щеболева И. И. Общая характеристика вставочных конструкций в современном русском литературном языке (стр. 87—109); Хмелевская Т. А. Способы передачи чужой речи в говорах Цимлянского района, Каменской области (стр. 111—132); Балиева В. Б. Смысловые оттенки подчинительных союзов в современном английском языке (стр. 133—145).

23. Ученые записки [Ростовского н/Д пед. ин-та]. Юбилейный сборник (К 25-летию института).— Ростов н/Д, 1955.

Валимова Г. В. Об основных типах ответных предложений диалогической речи (стр. 159—182); Хмелевская Т. А. Выражение подлежащего и сказуемого в цимлянских говорах Каменской области (стр. 183—203); Балиева В. Б. К вопросу об относительном подчинении в английском языке (стр. 204—222).

24. Ученые записки [Рязанского пед. ин-та]. № 10. Кафедра литературы. Кафедра русского языка.— Рязань, 1955.

Лыткин В. И. Из истории некоторых русских слов, заимствованных финно-угорскими языками (стр. 115—134); Никитин В. М. Обстоятельство и определение в их соотношениях (стр. 135—164).

25. Ученые записки [Томского пед. ин-та]. Т. XIII.— Томск, 1955.

Кирий Г. К. Речь персонажей романа П. Павленко «Счастье» (стр. 199—212); Стеценко А. Н. Из истории сложноподчиненного предложения в русском языке (Условные конструкции сложного предложения в памятниках русской письменности XVI—XVII вв.) (стр. 262—304); Скосырева И. И. Сложноподчиненные предложения в произведениях И. А. Крылова (Временные предложения) (стр. 305—344); Ураев Р. А. Говор чулымских тюрков дер. Ежи [Асиновский район Томской обл.] (стр. 345—367); Шейкина А. А. «Уточнители» предложных групп в немецком языке (стр. 368—382); Каращук П. М. Место и значение префикса *un-* как словообразующего элемента прилагательных современного английского языка (стр. 383—398).

26. Ученые записки [Ужгородского ун-та]. Т. XIII. Серия историко-филологическая. — Львов, 1955.— На укр. и русск. яз.

Антошкин Н. С. Закарпатская грамота 1404 года (стр. 3—62); Дзендзелевский И. О. Наблюдения над лексикой украинских говоров Нижнего Поднестровья (стр. 63—114).— На укр. яз.; Рот А. М. К вопросу о склонении имен в финно-угорских языках (стр. 115—131); Алтайская В. Ф. Сложносокращенные слова в русском языке (стр. 133—169).

27. Ученые записки [Ужгородского ун-та]. Т. XIV. Диалектологический сборник.— Львов, 1955.— На укр. яз.

Задачи изучения украинских говоров Закарпатья (Вместо предисловия) (стр. 3—6); Дзендзелевский И. О. Наблюдения над системой числительных в говорах Закарпатской области (стр. 7—56, 12 карт.); Дзендзелевский И. О. Наблюдения над терминологией народной метрологии в говорах Закарпатской области (стр. 81—139, 2 карт.); Чучко П. П. Система гласных в говоре села Баранинец Ужгородского района (стр. 141—160); Бевзенко С. П. Лабиализация *ы* (*ы̊*) в говорах Закарпатья (к вопросу о характере древнеславянского *ы*) (стр. 161—167); Немчук В. В. Наблюдения над словообразованием существительных в говоре села Довге, Иршавского района (суффикация) (стр. 169—192); Николаенко З. Г. Рефлексация древних *о*, *е* и *ѣ* в говорах Любецкого района, Черниговской области (стр. 193—203); Бевзенко С. П. К характеристике синтаксических особенностей украинских диалектов. (Из лекций по украинской диалектологии) (стр. 205—219); Лелекач М. М. Памятники украинской письменности Закарпатья XVII — нач. XVIII вв. (материалы к исторической диалектологии украинского языка) (публикация) (стр. 221—234).

28. Ученые записки [Черкасского пед. ин-та им. 300-летия воссоединения Украины с Россией]. Т. VII. Серия историко-филологических наук. Вып. 2. — Киев, 1955.— На укр. и русск. яз.

Шелюто Г. А. Особенности общественно-политической лексики в публицистике Н. Г. Чернышевского (стр. 59 —91); Жовтобрюх М. А. Из наблюдений над системою гласных зауральских говоров русского языка (стр. 93—110).

29. Ученые записки [Шуйского пед. ин-та]. Вып. II. Фак-т языка и лит-ры.— Шуя, 1955.

Орлов А. И. К вопросу о языке персонажей комедии А. Н. Островского «Лес» (обращения в комедии Островского «Лес») (стр. 31—44); Литвинов М. И. Семантическая структура ремесленно-промысловой терминологии (по материалам словаря В. И. Даля) (стр. 59—97); Ворошилова Т. С. Из истории неполного оканья в шуйских говорах (стр. 98—105); Ворошилова Т. С. К истории *ъ* в шуйских говорах XVI—XVII вв. (стр. 106—117); Кибякова А. В. Сравнительный анализ фонематических звуков чувашского и русского языков, затрудняющих произношение чувашами русских слов (стр. 118—148).

СОДЕРЖАНИЕ

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов (Москва). О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии 3
Зд. Штибер (Варшава). Роль отдельных диалектов в формировании польского литературного языка 25

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Фр. Травничек (Брно). Заметки о «категории состояния» 46

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. С. Чикобава (Тбилиси). Несколько соображений о построении курсов по общелингвистическим дисциплинам 54
Итоги обсуждения курса «Современный русский язык» 70

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. П. Дульзон (Томск). К вопросу о связи языка и мышления 79
Н. Г. Корлэтяну (Кишинев). Конверсия в современном молдавском языке 84
В. А. Аврорин (Ленинград). Предикативно-притяжательные формы в нанайском и других тунгусо-маньчжурских языках 93

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Э. В. Севортян (Москва). Н. К. Дмитриев и советская тюркология . . . 101
Ю. Д. Дешериев (Москва). Значение научного наследия П. К. Услара для советского кавказоведения 107

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. С. Маслов (Ленинград). *A. Dostál*. Studie o vidovém systému v staroslověnštině 116
М. А. Бородина (Ленинград). О новом лингвистическом атласе Франции (сравнительно с атласом Жильерона) 124
В. А. Кочергина (Москва). W. *Ruben*. Einführung in die Indienkunde . . 131
А. Н. Кононов (Ленинград). *Э. В. Севортян*. Фонетика турецкого литературного языка 134
В. И. Лыткин (Москва). *E. Itkonen*. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen 138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. К. Сухов (Москва). Международная работа в области научно-технической терминологии 145
Н. И. Фельдман (Москва). О работе Государственного исследовательского института родного языка в Токио 152
Новая советская литература по вопросам языкознания 156

Редколлегия:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-05022 Подписано к печати 22 V 1956 г. Тираж 12100 экз. Заказ 238

Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 5. Печ. л. 13,7. Уч-изд. л. 17,1

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10